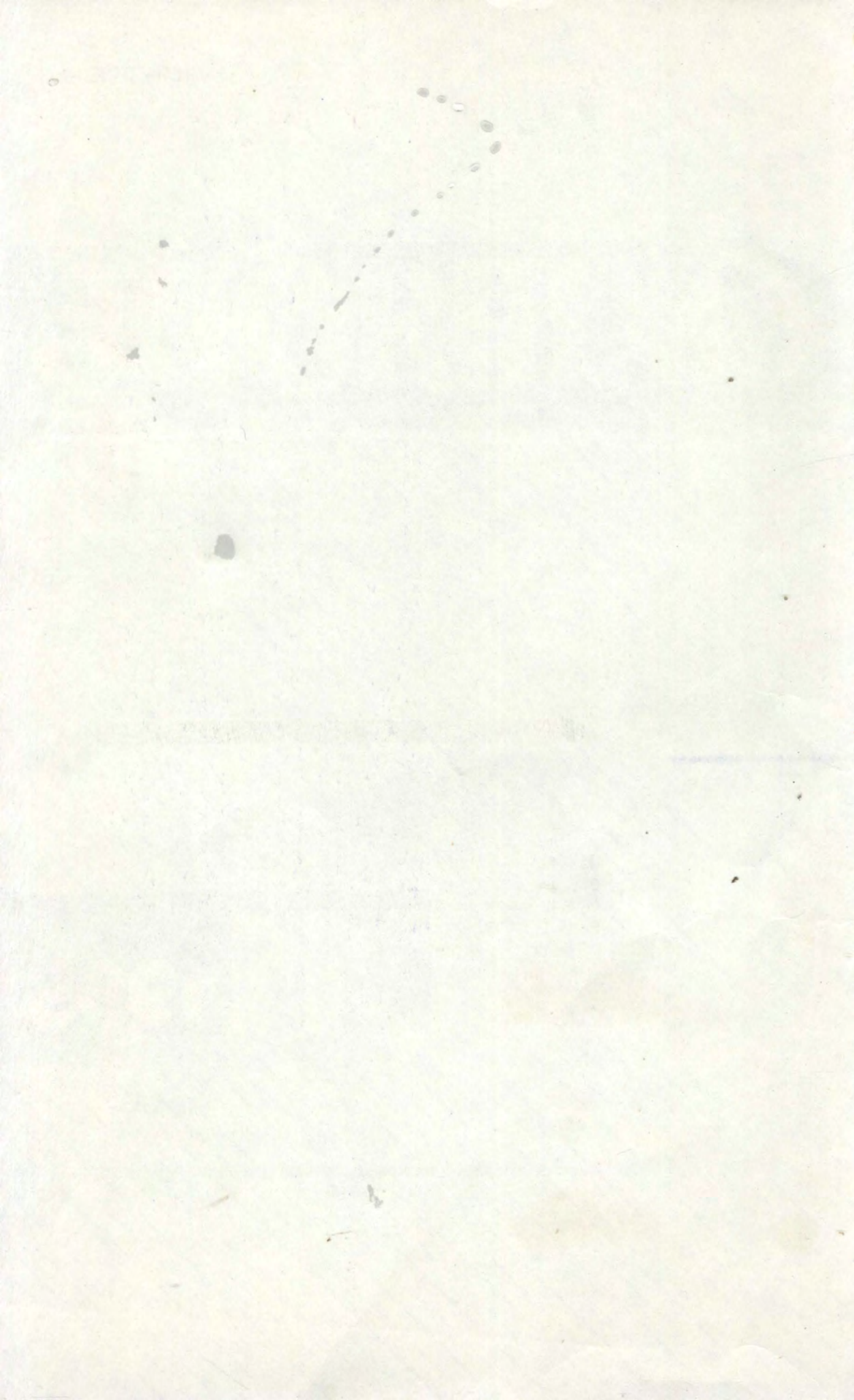


1999

Октябрь

Октябрь

11 1999



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1999

НОЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Николай КЛИМОНТОВИЧ. Последняя газета. Роман	3
Елена НАУМОВА. Между небом и землей. Стихи	63
Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Киносказка	67
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Дневник читателя	104

Галерея

Виталий ВУЛЬФ. Ангелина Степанова в конце века	132
Сергей КОКОВКИН. Марафон. Рассказ	143

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Примириться душа не может... Стихи Д. Г. Россетти в переводах Т. Кладо. Вступление и публикация Л. И. Володарской	151
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Игорь КЛЕХ. Поезд № 2. Путевой очерк	157
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Бывают странные сближения...»

Наталья МИХАЙЛОВА.

«Об Онегине далеко...» Английская киноверсия
русского романа **176**

Панорама

М. АБАШЕВА. **Эпилог и он** («Вольные рассказы» Олега Павлова). * Валерий ЧЕРЕШНЯ. **Смертный Эдип** (Владимир Гандельсман. Эдип). * Генрих ЛЯТИЕВ. **56-й том СС** (В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891—1922). * Александр ЛЮСЫЙ. **Буддизм по-русски** (Олег Шишкин. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж) **180**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ. **Авгиевы конюшни** **189**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **191**

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 28.09.99. Подписано к печати 21.10.99. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8420 экз. Заказ № 2258. Цена 24 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Николай КЛИМОНТОВИЧ

Последняя газета

РОМАН

Теперь можно, казалось бы, лишь пожать плечами: дерьма пирога, вычеркни эти несколько легкомысленных, неудавшихся лет, поднимайся, принимайся за старинное дело, как после завершившегося скучным разрывом нервного романа. Но в том-то и дело, что вся эта история оказалась серьезнее, чем можно было предположить, и моя жизнь, до того казавшаяся столь устойчивой, вдруг посыпалась, как домик из карт...

Глава I. ПОСТУПИЛ

1

Неприятность поджидала меня уже в конце первой недели, что пребывал я в новой роли. Нет, это не было связано с исполнением моих прямых обязанностей — здесь пока все шло гладко, если судить по известной ласковости начальства: я, что называется, *втягивался*; это была неожиданная для меня встреча, причем нос к носу, — встреча, мигом испортившая мне настроение. Знаете, как бывает: идешь в гости, предвкушая приятный вечер в компании милых тебе людей, и вдруг, едва войдя в комнату, где гости уж сидят за столом, первым делом видишь какого-нибудь едва знакомого малоприятного типа, которого никак здесь встретить не ожидал.

В четверг, едва я уселся за свой монитор в своем стеклянном загоне, как сразу же почувствовал непонятную тревогу. Так у меня случалось, коли дома, в кабинете, часиков в десять утра, убедившись, что с перистальтикой все в порядке, приняв ванну за чтением газет и откушав в ней же кофе, позавтракав, а там при зашторенных окнах, набив трубку и отключив свой телефонный аппарат, поставив рядом родную, с удобной крышкой, китайскую кружку крепкого чаю и нежно заправив в машинку свежий белый лист, заведя чуть слышно какого-нибудь Вивальди, композитора, так сказать, нашего поколения, и, занеся было руку, чтобы отшлепать уже придуманную, обкатанную в голове фразу, вдруг чувствуешь, что расположение в воздухе, как говаривал Гоголь, едва заметно изменилось; и точно, спустя секунду-другую из глубины квартиры раздается голос жены, занимающейся хозяйственными делами:

— Тебя к телефону!

Причем голос ее звучит выше, чем обычно, потому что жена кричит через коридор и две комнаты, и несколько раздраженно: она разочарована тем, что звонит не ее подруга и не ее коллеги, что было бы прекрасным поводом оторваться от постылой кухонной работы, а моя редакторша, которую жена к тому же по неведомым мне причинам недолюбливает, но к которой согласно моей инструкции меня должно звать...

Надо вам сказать, что по сторонам я с первых дней моей новой службы старался не смотреть. Приходил и сразу утыкался в экран. На то было несколько причин. Во-первых, за долгие годы я, как выяснилось, совсем отвык от людей. Во-вторых, с компьютером отношения у меня на первых порах были самые натянутые. В-третьих, круг моих обязанностей был обрисован мне крайне туман-

но, и я боялся оступиться. И, наконец, я оказался совершенно неспособен сосредоточиться, когда вокруг меня снова люди, галдели по телефону, без перерыва хлебали растворимый кофе и перекликались, как грибники. Так что я не сразу сообразил, что источник тревоги находится у меня под боком, слева. Наконец я обернулся — и мне мигом остро захотелось уйти и больше не возвращаться. За соседним монитором сидел человек, о возможности присутствия которого *здесь* я и помыслить не мог. Он тоже повернулся ко мне и с тошнотворной фамильярностью, хотя мы никогда не были даже приятелями, заорал, кажется, на весь этаж:

— Кирюха, не может быть! Ты-то что здесь делаешь?

2

Пора объяснить, впрочем. Со мною вот что стряслось: вы, конечно, будете смеяться, но я пошел служить в ежедневную газету.

Узнав об этом, один мой товарищ по цеху при встрече довольно злобно процедил:

— Пристроился, значит, к денежкам...

Позже другой, мне передали, говорил в ЦДЛовском буфете:

— Жаль, проданся Кирюха, был ведь талант.— А в лицо неумеренно расхваливал мой вполне заурядные газетные опусы, которые приходилось теперь кропать чуть не всякий Божий день. То есть был писатель, но скурвился, зато критик, брат, из тебя получился знатный.

Жена утешала:

— Ничего, Кирочка, в кои веки *поработаешь*.— Точно как теща, если попадала на меня, звоня по телефону по моему возвращению, скажем, из Малеевки, где я выжимал из себя ежедневно, утром и вечером, строк по двести, а то и по триста (видите, в газете меня уже приучили считать строками, а не страницами и листами), очень вежливо, не без нежности даже, интересовалась:

— Как *отдохнули*?

Моя же мать, когда я назвал ей сумму, которую мне предложили, сказала безо всякой дипломатии:

— Ну и славу Богу, сможешь теперь ни о чем не беспокоиться.

Дело в том, что моя *литература* перестала меня кормить. Последней каплей было, когда в одном из толстых издыхающих литературных журналов в *условных единицах*, как принято считать, мне заплатили за рассказ двенадцать с половиной. Да-да, двенадцать с половиной долларов за двадцать с гаком страниц прозы. Пятьдесят центов за страницу. Чуть больше цента за строку, которую я, быть может, день-другой вынашивал в голове. И много раз перedelывал.

Мою последнюю книгу, на которую, как водится, возлагались большие надежды, напечатало небольшое *коммерческое* издательство весьма приличным тиражом — и сразу в твердой обложке. Приученный в большевистское время подписывать типовые договоры, я и сейчас, почти не глядя, подмахнул контракт. Больше всего меня радовало, что я выторговал себе восемь процентов от отпускной продажной цены, да еще, идиот, радовался своей невероятной практичности, поскольку догадался оговорить геометрический рост этого процента в случае будущих допечаток тиража. Курам на смех, какие к черту допечатки, когда книги почти не расходятся! К тому же, воспитанный в благословенное советское время, я вовсе не волновался о том, *как*, собственно, буду свои денежки вырывать.

Пошли вполне приличные рецензии, звонки с радио, интервью в газетах, один иллюстрированный журнал дал рейтинг самых громких книг месяца и пропечатал мою третьей строкой — сразу после Бродского и Борхеса. Но на мои звонки издатель хладнокровно отвечал:

— Не идет, старик, совсем не идет, вот только что вернули из магазина все пять пачек...

Я мог ему верить или нет, но **проверить**, как оказалось, у меня не было ни малейшей возможности.

Более того, совершенно случайно выяснилось, что издатель ухитрился вдуть мою книгу какому-то англичанину (до тех пор меня переводили лишь в Финляндии и *странах народной демократии*, и на *чеки*, помнится, в советские времена я покупал в «Березке» *сапоги* жене и дочери). Контракта мне даже не показали, но издатель весело сказал в трубку:

— Мы же договорились: фифти-фифти, все, старик, в соответствии с Бернской конвенцией...

— Какая, в задницу, конвенция! — возопил я, вспомнив, кстати, смешной стишок:

Вот и не шиша,
если говорить о Швейцарии.

Взяв себя в руки, я поинтересовался, на сколько же тянет мое *фифти*? Пятьсот в английских фунтах, был ответ, но только, старик, такое дело, банковский перевод где-то затерялся, англичане же олухи, старик, сам знаешь, указали не те реквизиты...

Нет, я не знаю. Не уверен, что англичане такие уж простаки. У них была промышленная революция, а сама Британия считалась царицей морей. Они придумали бокс, как говаривал при случае Расплюев, а олухи не могли бы создать столь гармоничный вид мордобоя. Вот по поводу того, что я сам — последний кретин, здесь двух мнений быть не может...

И вот представьте себе: на одной чаше весов — цент за строку моей бесценной вдохновенной прозы, которая вскоре зазвучит на языке Шекспира и Джека Лондона, на другой — без малого доллар за строку писанины, которую я смогу гнать левой ногой, плюс долларовое жалованье обозревателя. Вы бы устояли? У вас, быть может, нет любимой жены на бюджетном финансировании, научной сотрудницы академического института, и хорошенькой дочки, ученицы гуманитарного лица, почти на выданье? Ну, не знаю, не знаю, я, во всяком случае, не устоял.

3

Отдел культуры (по аналогии, должно быть, с *парком культуры* или *домом культуры*), сотрудником которого — наряду еще с десятком человек дамского в основном пола — я оказался, писал все больше про музыку. И вот почему: все ведущие творческие работники, за полгода до моего прихода, новым заведующим отделом (предыдущий, с позором изгнанный, как я позже узнал, вместе со всей его командой, все больше упирал на скульптуру, будучи скорее всего монументалистом) были набраны по знакомству и оказались с одинаковым, в данном случае музыкальным, образованием. Они попали в газетные критики кто откуда, одни — из дышащих на ладан и вполне неизвестных широкой публике специальных музыкальных изданий, в которых, впрочем, продолжали числиться заместителями главных редакторов, но денег им там за неимением оных не платили, другие — из музея музыкальных инструментов, кто-то еще, а именно сам заведующий, и вовсе оказался инженером-акустиком, специалистом по основному своему профилю то ли по проектированию концертных залов, то ли по конструированию музыкальных шкапулок. Сотрудники — точнее, сотрудницы — отдела предпочитали, однако, чтобы их называли не журналистами, не дай Бог, не критиками даже, но — *музыковедами*, еще лучше — *культурологами*, но это уж самые амбициозные. Причем ни одна из них в те времена, когда живы еще остаются иллюзии юности и люди готовятся к славным свершениям, ни к какому сочинительству, по всей вероятности, себя не готовила, во всяком случае, к газетному.

Еще перед тем, как переступить редакционный порог, я прилежно *проработал*, как выражается один алкоголик в моем дворе (*прошлой зимой я проработал роман «Мать»*), и в этом есть, кстати, трогательная тяга к духовному усилию, а не к голому потреблению), так вот, я *проработал* подряд несколько но-

меров Газеты, которую до того в руках не держал: Газета предназначалась, как мне говорили, отечественному политическому и деловому истеблишменту, а я, не принадлежа ни к тому, ни к другому, читал по старинке «Известия» с «Московскими новостями», «Литературную газету», коли мое имя там упоминали, да изредка «Независимую», и то лишь потому, что несколько раз *выступал*, как некогда было принято говорить, на ее страницах с литературными *эссе*.

И вот теперь, разворачивая один за другим большие тонкие листы, я чувствовал томление, как во сне, если б мне приснилось, будто я не сдал еще выпускные экзамены по математике за десятый класс. Ладно, что я не понимал ровным счетом ничего в биржевых сводках, реляциях об изменении цен на топливо или о скачках котировок на фондовой бирже. Можно было не слишком пугаться и того, что, изучив *полосу сервиса* (что эта страница так называется, я узнал позднее), я тоже понял немного. Скажем, рубрика «Модный магазин» показалась мне вполне эзотерической, поскольку текст пестрел наименованиями каких-то аксессуаров, в основном, кажется, дамских, и этих названий, я справился, не было и в словарях. То же я мог бы сказать и о спортивной рубрике, но все это было полбеды: в конечном итоге и *офсайты с сетями*, и *от кутюр с бутиками* были равно далеки от моего профиля. Ужас был в том, что я решительно не понимал и всего остального.

Скажем, я мог бы скромно рассчитывать, что кое-как одолею еженедельный политический обзор. Слабую надежду на это оставляло то обстоятельство, что по вечерам я исправно клевал носом перед телевизором в то время, когда передавали новости, а значит, материя мне была косвенно знакома. К ужасу своему я обнаружил и в этом случае, что совершенно неспособен уловить нить. Начать с того, что текст был составлен крайне витиевато, как схоластический трактат. К тому же статьи так и пестрели цитатами, причем без ссылок, и я, считавшийся в кругу родных и близких достаточно начитанным, со стыдом понимал, что не в силах догадаться, кого цитирует автор в том или ином случае. Иногда мне мерещилось что-то смутно знакомое, из Антиоха, быть может, или из Кантемира, но не заниматься же штудиями в области российского стихосложения времен Екатерины, когда хочешь всего-навсего узнать, какую очередную глупость сморозил спикер нижней палаты. Да что Кантемир, автор — надо полагать, классический филолог по образованию, но ставший волею судьбы *политологом* — то и дело вводил в текст иностранные высказывания на языке оригинала. Чаще всего это были современные европейские языки, но случались латинские и древнегреческие выражения, а также извлечения из Торы и, кажется, кое-что на санскрите. Но и в тех случаях, когда в целом построение фразы было относительно прозрачно, иностранное вкрапление удавалось с грехом пополам уяснить, а цитата оказывалась так или иначе узнаваемой, велеречивый слог все равно заставлял меня трепетать; скажем, президента нашей страны автор всегда называл не иначе, как *верховный правитель*, что живо напоминало мне ни к селу ни к городу роман для подросткового возраста «Дочь Монтесумы», других политиков величал не по фамилиям, а нарекал непременно мифологически, сам возникал в контексте всегда в третьем лице — «как стало известно *экспертам Газеты*», — а обычную нашу водочку неизменно именовал *хлебным вином*.

Плохим утешением было и то, что рубрики «Ресторанная критика», «Светская хроника» и «Прогноз погоды» показались мне более или менее внятными, поскольку — и это было самое страшное мое открытие — материалы моего собственного *отдела культуры* тоже были мне не по зубам. Не считайте меня совсем уж крошечным кретином: там, где изредка говорилось о театральных премьерях или кинематографических новинках, я, хоть и испытывал некоторый дискомфорт от обилия посторонних интеллектуальных аллюзий, кое-что разобрать был в состоянии. Но дело в том, что подавляющее количество *культурных* материалов было посвящено, как я сказал, музыке, причем не Чайковскому или оркестру Лундстрема, но полемике внутри какого-то параллельного мира — мира авангардных звуков и концептуальных контрапунктов. Наверное, у

большинства моих коллег были в молодости академические поповолнения, поскольку писали они преимущественно на специальном *культурологическом* волапоке, в котором я, грешный, не мог понять ни звука. По-видимому, эти тексты слагались для круга единомышленников или оппонентов, однаково прикосновенных некоему тайному знанию (так мне казалось, во всяком случае), и оставалось лишь поражаться, сколь рафинирована наша новая финансовая и политическая элита, которой предназначалась Газета, коль скоро интересуется столь возвышенной и недоступной простому смертному русскому интеллигенту абракадаброй.

Оставалось утешаться тем, что хоть в музыке я действительно полный профан, но позвали меня все-таки не для дешифровки опусов моих новых коллег-культурологов, а писать о литературе. И оставалось уповать на Бога: быть может, мне удастся кое-как справиться с моей узкой, как я ее поначалу понимал, задачей — по мере сил информировать читателя о происходящем в художочной нашей текущей словесности, тем более что первое свидание с непосредственным моим начальником весьма меня ободрило.

4

Перво-наперво мне понравилось его мягкое имя Иннокентий, но главное — и это говорит, конечно, о моих неизжитых предрассудках, — его звучная дворянская фамилия. Конечно, фамилия могла быть благоприобретена предками моего заведующего в многосложные годы недавней российской истории с ее странными сплетениями судеб и многими переименованиями, но тихий голос, но сдержанные манеры, но толстые стекла очков и благожелательный, несколько косящий взгляд, сфокусированный с помощью линз и воспитания на собеседнике... В процессе разговора, по мере того как я все больше проникался к нему симпатией (в конце концов ввиду плачевных итогов моего первоначального ознакомления с содержанием Газеты только на его расположение и поддержку я и мог надеяться), мне стало казаться вполне естественным, что у него, столь явно интеллигентного, узенькие плечи и впалая грудь при довольно массивной нижней части туловища (я и сам никогда не мог похвастаться спортивным сложением). Быть может, поэтому в поисках дополнительного резерва мужественности он был одет во все черное: черные штаны, черная рубаха, черный пиджак.

Я доверительно поведал ему, что не имею опыта работы в газетах и, по правде сказать, никогда не намеревался в газетах служить, но зато был некогда штатным сотрудником одного журнальчика, а потом работал много лет внутренним рецензентом весьма солидных литературных изданий (именно это сомнительное ремесло литературного рецензента, устаревшее нынче, как навык плетения лаптей, и позволяло мне держаться на плаву даже в самые неудачные мои литературные годы). Он внимал, приветливо улыбаясь из-за очков, но — я поначалу не обратил на это особого внимания — в разговор не пускался и ответных реплик, если не считать таковыми ни к чему необязывающие междометия, не подавал. Впрочем, одну фразу он все-таки произнес. Он особенно сладко улыбнулся и тихо сказал: *«Мы так долго искали человека на это место»*. Увы, тогда меня не только не насторожила эта фраза, но скорее я почувствовал себя глупо польщенным. И тут же доверительно сообщил ему, что, вообще говоря, соглашаясь на это предложение, попадаю в весьма щекотливую ситуацию: я не критик, но прозаик и в каком-то смысле перебегаю на другую сторону баррикад. И что у меня есть много товарищей и коллег, о книгах которых... Что-то остановило меня в выражении его лица — будто ироническая ухмылочка скользнула по губам.

Коли он не показался бы мне таким милым, признаюсь, я вовсе не знал бы, как себя вести. Проговорив с минуту и вдруг спохватившись, что визави мой все больше помалкивает, я почувствовал себя болтуном, несущим околесицу, не имеющую отношения к делу. Я был смущен. Ведь за двадцать лет пребывания *на вольных хлебах* я решительно одичал на своем диване и разучился общаться

с начальством. У меня попросту не было необходимой практики — за неимением никаких начальников. Если не считать, конечно, начальника паспортного стола или ЖЭКа (своих многочисленных редакторов и заказчиков я в счет не беру, ведь я им не подчинялся да и почти не зависел от них в последние годы, поскольку пристойного гонорара они заплатить не могли и скорее это они зависели от меня). Теоретически я понимал, как важно в этом разговоре поймать грань между чувством собственного достоинства и доверительностью, и все боялся пережать в ту или иную сторону. Причем, боюсь, страх показаться недостаточно любезным заводил меня в область искренности.

Итак, я замолчал, и он молчал тоже, улыбаясь. Я прикинул, что он моложе меня лет на пять, и это тоже не облегчало моей задачи. В конце концов я не только был его старше; я простодушно полагал, что, если не считать его служебного места, занимаю более высокое положение в обществе, ведь у меня есть какое-никакое, но *литературное имя*. Это означало, что я должен был быть особенно с ним деликатен, и в иной ситуации я очень быстро поймал бы эту интонацию «как равный с равным», которая выносит за скобки разницу весовых категорий, что и не позволяет об этой разнице забывать. Тогда мои автобиографические пассажи выглядели бы вполне уместно, как если бы я поощрял доверием молодого коллегу. И, кроме того, мы были люди одного круга, и он тоже наверняка мечтал некогда не о том, чтобы сидеть в этой стеклянной будке хоть бы и в чине заведующего, но о более ярких достижениях.

Однако дело-то было как раз в том, что это вовсе не он пришел ко мне наниматься на службу, а я был в его кабинете просителем. Конечно, я мог попытаться дать понять, что, мол, в некотором роде делаю честь Газете своим согласием на сотрудничество, но чувствовал, что в данной ситуации такая интонация совсем неуместна. Ведь, как сказала бы моя дочь, ежику понятно, что от хорошей жизни писатели с именем в газету не нанимаются. Короче, положение становилось неудобным, а его молчание двусмысленным. И если б я не был уверен в его отменном дворянском воспитании, то эту милую улыбку и молчание мог бы счесть за скрытое злорадство или даже издевку. Вот до чего доводит кабинетное существование, сказал я себе, до какой степени мнительности. Кажется, он понял, что я совсем заплутал, и предложил мне показать, *как*, собственно, мне предстояло отправлять мои обязанности.

5

Еще года три назад, впервые попробовав работать на компьютере, я сказал себе, что старую собаку новым фокусам не выучить, и решил, что так до смерти и останусь при своей «Эрике». Не помню, кто именно, Бабель, кажется, говаривал, что самое мучительное для него — писать, а самое сладкое — править. Для меня самым теплым этапом работы всегда было разрезать машинописные листы и склеивать их по-новому (анальный характер, сказал бы фрейдист). Поэтому, когда мой приятель-компьютерщик продемонстрировал, как легко подобные текстовые коллажи делаются с помощью самой простой редакторской программы, мне показалось, что идет наступление на самые сокровенные и уютные, многолетне выверенные мои привычки, что над самим моим сочинительством хотят провести вивисекцию, и я, ужаснувшись, дал себе зарок и продал эту машину, фривольно называемую *пи-си*, за полцены.

Знал бы я тогда, что чувство мое было пророческим и никакая продажа не отвлечет от меня перст судьбы...

Итак, Иннокентий подвел меня к монитору и показал, как вводить в компьютер мое имя и присвоенный мне пароль. На экране верхней строкой высветилась моя фамилия, а внизу открылось чистое поле.

— Ну вот, это ваш персональный каталог,— сказал Иннокентий.— Здесь вы пишете свой материал. Потом перекидываете его мне, это вам покажут девочки, а я ставлю на полосу. Видите, как все просто?

Рядом действительно оказалась девочка лет двадцати.

— Это Вероника,— представил ее Иннокентий.

— Кирилл,— сказал я, в последний момент удержавшись, чтоб не добавить отчество: девочка, если б вовремя постараться, могла бы согдиться мне в дочери.

— Так вот, смотрите сюда, Кирилл,— быстро залопотала она несколько низковатым для ее лет и фигурки голосом, должно быть, от табака, причем ничуть не смутившись тем обстоятельством, что обращалась к пузатому, очкастому дядьке с седоватой бородой по нагрудный карман пиджака, автору десятка книг и члену двух творческих союзов.— Вы входите в свою директорию, как уже сказал Кеша, через вашу фамилию кириллицей и через шифр по латыни. Смена регистра вот здесь, через *контрол*. Предположим, вам надо озаглавить новый материал в персоналке. Вы нажимаете «эф три». Видите, здесь вы набираете ваш *тайтл* — и сразу же можете писать. Перебрасываете Кеше через «е» — видите, компьютер спрашивает: копировать или переместить? Нажимаем «копировать», иначе материал упадет в портфель. Так, что еще, ах да, у вас есть и прямой доступ в газету, поскольку вы — ведущий. Да-да, что вы так смотрите? Доступ есть только у зава и ведущих темы. Значит, вы можете писать и прямо в газете. Показываю: мы входим в завтрашнее меню. Ищем полосу через «пэ». Набираем двенадцать, это культура, видите? Если вы уже есть в оглавлении, то здесь будет стоять ваш *тайтл-ноль* и ваш *дэдлайн*. Вот и все, пожалуй,— заторопилась она, поскольку ее позвали к телефону.

Девочка крутанулась на вращающемся стуле и уже через секунду произносила столь же слитный и скорый монолог в трубку. Я смотрел на клавиатуру. Я не *врубался*, как выражается молодежь. Своими словами: я ни хрена не понял. И какую, Господи помилуй, *тему я веду*? Земную жизнь пройдя до половины, я даже не знал, как мне избавиться теперь от этого самого оглавления и вернуться к чистому полю, предназначенному для моих трудов. Такая вот терцина. Полужабытого английского мне хватило лишь, чтобы сообразить нажать кнопку **Esc**. Компьютер спросил меня: вы хотите выйти из газеты? Хочу ли я? Да я готов бежать отсюда без оглядки. Я нажал **Enter**. Передо мной опять возникло чистое поле, чему я отчего-то весьма обрадовался. «Ке фер? — автоматически напечатал я, отчего-то вспомнив Тэффи.— Фер-то ке?..»

Уже с облегчением покидая редакцию, я вдруг спохватился, что мне не только не хватило сообразительности понять, *как* мне действовать. Никто со мной не обмолвился ни словом о самом главном — *что*, собственно, я должен им писать.

Глава II. САНДРО

1

Итак: признаться, я не сразу нашелся. Наверное, у меня была довольно глупая от изумления физиономия. Мне бы сказать моему неожиданному соседу по редакционному купе, в свою очередь: мол, я-то здесь обзираю текущую русскую словесность, а вот что здесь делаешь **ты**? — не помню, кстати, чтобы мы с ним когда-нибудь были на «ты», но он опередил меня:

— А я веду светскую хроника. Пишу под псевдонимом Сандро. Работенка не пыльная, местами даже отвязная. Ну, да ты читал, конечно: субботняя страничка на одиннадцатой полосе. Я, старик, уж года полтора в Газете. Но пописываю и еще туда-сюда: в «ОМ», в «Матадор». А ты, понятное дело, у нас новичок...

Собственные имя и фамилия у него были самые забубенные. Звался он на деревенский манер Коля Куликов, что, на мой взгляд, для карьеры беллетриста совершенно убийственно в силу полной неусвояемости читателем подобного имени и большого количества однофамильцев. Отчего, надо полагать, он теперь и заделался *Сандро*; впрочем, он был совершенный русак, ничего кавказского, так что с таким же успехом мог бы назваться хоть Авелем, хоть Три-

станом. Кажется, он был вполне бездарным сочинителем, впрочем, объективности ради нужно сказать, что в ранние бесцензурные годы он накатал одну за другой несколько шустрых повестей, своего рода физиологических очерков с описаниями быта и нравов советской комсомолки (это был знакомый ему не понаслышке материал, он и в крошечные годы подвизался бойким очеркистом ведущей комсомольской газеты, причем специализировался не на моральной тематике, а шнырял все по *горячим точкам*, как это называется у работников масс-медиа), впрочем, его прозы я никогда подряд не читал. Знаю только, что эти его этнографические описания в недолгие времена всяческих разоблачений принимались на «ура»: сцены с комсомольскими богинями в финских банях, махинации комсомольских кооперативов и тому подобная беллетризованная журналистика, прослоенная автобиографического, должно быть, свойствами половыми сюжетами. Он нажил себе репутацию разоблачителя-либерала, на чем, думаю — хоть и неприлично считать чужие деньги, — хорошо заработал: все эти повестушки были тогда же экранизированы (я, грешный, всегда втайне мечтал о том же — даже единственная экранизация по тем временам давала сочинителю немалый шанс отдышаться), по одному или двум его прозаическим опусам шли пьесы в московских театрах — в его же инсценировках, и Коля Куликов долго ходил в *модных* авторах, даже ездил, по слухам, с лекциями в Гарвард, что, беря во внимание его, как мне мнилось, простоту, весьма забавно: на волне горбимании его переводили и в Америке слависты-энтузиасты. К тому же он считался у секретарш Союза писателей первым красавцем, слыл донжуаном, держался гоголем и был со всеми знаком. Можно сказать, и со мной тоже. Мы сталкивались с ним несколько раз в редакциях, и столько же раз нас представляли друг другу, причем Коля неизменно радостно восклицал: «Да мы знакомы!» — и, как сейчас выяснилось, действительно помнил мое имя.

Он был в ловком пиджаке, сверкающих штиблетах и рубаше-апаш, открывавшей его мощную красивую шею. Большинство сотрудников, с первого по третий этаж, в редакцию приходили, соблюдая, так сказать, *американский стиль*, в джинсах и свитерах, что, конечно, отражает лишь русское представление об Америке — попробуйте-ка в официальный тамошний офис заявиться на работу в таком-то виде, годящемся по тамошним представлениям лишь для воскресного пикника. Он был спортивно подтянут — не чета мне. Его борода была подстрижена до уровня трехдневной щетины, что давало возможность разглядеть крупные малиновые губы сластолюбца; прическа, насколько я могу судить, была модной, хоть и делала его — вкупе с серыми, подернутыми уже едва заметно возрастной рыбьей мутью, простонародно близко посаженными быстрыми и хитренькими глазами — неуловимо похожим на полковника ЦРУ из американского боевика — седоватый ежик с подбритыми висками; от него довольно явственно припахивало дорогим одеколоном — смесь запахов спермы и арбуза — и, кажется, коньяком. Вальяжность его говорила о довольстве — в любом смысле этого слова; впрочем, он производил впечатление общей собранности.

Ну да все это внешнее, пустяки. Главное же, что вызвало у меня изумление, едва я обнаружил Колю Куликова в Газете сидящим рядом со мною в *отделе культуры*, так это его, как говорится, идейная репутация последних лет, когда иссякли былые победы. Я не слишком разбираюсь в идеологических оттенках, но Коля в поздние годы *реформ*, я слышал краем уха, что называется, *полевел*, не был, конечно, записным коммунистом, но шился среди публики националистического оттенка, что, вообще говоря, вовсе не было удивительным, это вполне типично для любого литератора, чьи творения, так сказать, перестали конвертироваться и на европейские языки больше не переводятся, — и с чего бы тогда, собственно, продолжать ходить в западниках. Кроме того, он был все-таки советским литератором, «университетов не кончавшим», и что он делал в отделе, сплошь укомплектованном либеральными интеллектуальными культурологами, было решительной загадкой. Единственным объяснением

мог бы служить тот факт, что жанр *светской хроники* был навязан начальством Иннокентию, равно как и *спортивная хроника*, поскольку под крышу других отделов никак не влезал, а на роли светских и спортивных хроникеров *музыковедши* решительно не годились. Вот и пришлось, по-видимому, согласиться на Колю Куликова, к тому ж, если вдуматься, при его пронырливости и знакомствах, хорошо подвешенном языке и беглом пере это занятие было как раз для него.

— Рад тебя видеть здесь, — потискал он мое плечо. — Ведь в этой лавочке до сих пор я был один — писатель. Теперь нас двое, а это больше, чем единица...

Признаюсь, меня шокировало даже не то, что он все переиначивает Бродского, но что вот так запросто ставит нас, себя и меня, на одну доску: я все-таки о голых комсомолках в бане не писал, я числил себя по разряду наследников хоть Бунина, хоть Газданова да хоть бы и самого Набокова, но в рядах разгребателей авгиевых конюшен — социальных или эстетических — отродясь не состоял. Это откровенное предложение корпоративной солидарности я счел тогда лишним проявлением его дурного вкуса: как будто *зоной* пахнуло, так, наверное, в лагерях сбивались в кучки по принципу членства в творческих союзах... Кроме того, я испытывал к Газете известный пиетет, и меня резанула его небрежность: *лавочка*. И я лишь кивнул ему тогда, пробормотал что-то условно вежливое и уткнулся опять в свой монитор. Глупый снобизм, мне бы расслышать в последней его фразе своего рода предостережение. Не мог же я подозревать, что вскоре мне пригодится его солидарность. Очень пригодится.

2

Газета была, конечно, не государственной, но входила в издательский *холдинг*, принадлежавший то ли одному Банку, то ли нескольким, впрочем, это было тайной за семью печатями, и никто, кроме хозяев, не знал, откуда и куда льются газетные денюжки.

Холдинг был организован строго иерархически, как рыцарский орден.

Где-то в поднебесье, на пятом этаже здания, перестроенного некогда из советского типового НИИ, парили создатели и хозяева холдинга, поговаривали в Москве — долларовые миллиардеры, но это, думается, некоторая гипербола; так, в деревне, где я купил некогда дом на гонорар от одного-единственного очерка, одна бабка говорила о соседке: она миллионерша, у нее пять тысяч на книжке... Туда, за облака, простых смертных не пускали, так что за годы, проведенные в Газете, на пятом этаже я был единственный, кажется, раз.

Под небожителями, на четвертом, сидело весьма многочисленное даже по меркам давних советских изданий руководство Газеты, состоящее из нанятых работников (впрочем, как потом выяснилось, кое за кем было закреплено и некоторое количество акций холдинга, но не персонально, а за их креслами). При желании туда можно было сходить на экскурсию.

Мы сидели на третьем этаже. То есть весь *творческий* штат Газеты. Сидели в отгороженных один от другого стеклянными перегородками загонах: один отдел — один загон плюс застекленный же ящик для заведующего, *кабинет*. В каждом загоне штук по восемь мониторов, столько же кресел — по четыре вдоль двух столов, спинками одно к другому. Два телефона. Все прозрачно, американская система, нечего и думать распить здесь бутылочку. Не говоря уж о том, чтобы согрешить. Даме, чтобы поправить чулок (это образно, конечно, какие чулки у культурологов), нужно было дойти до туалета в конце коридора. К тому же в углах под потолком этого разграфленного перегородками зала были подвешены видеокамеры, с помощью которых люди из *секьюрити* наблюдали за происходящим, я, конечно, и об этом долго не подозревал.

На втором этаже были службы: оформительская, фотографическая, рекламная, существовавшие как бы независимо от Газеты, напрямую входя в холдинг, но обслуживавшие и ее нужды. А также отдел верстки, отдел *адресного*

рассыла (три-четыре скромные персоны, и никто не мог бы догадаться, сколь важен смысл этого подразделения для самого существования Газеты) и — самый загадочный — отдел *рирайта*. По-старому это бы называлось корректорской, но корректоры тоже имелись — отдельно. *Рирайтеры* же не были и редакторами в обычном смысле, и я долго пытался усвоить, в чем пафос их работы. Много позже я догадался, что их наличие никак было не объяснить голой производственной необходимостью, здесь был расчет психологический, а деятельность *рирайтеров* носила в каком-то смысле метафизический характер: впрочем, мне еще очень многое предстояло узнать.

На первом этаже помещались информационная служба, служба компьютерного обеспечения, отдел кадров, охрана, а вот о том, что было в здании еще и два подвальных этажа, один над другим, я тоже узнал много позже...

Я говорю обо всем этом так подробно потому, что на первых порах устройство Газеты воплощало для меня воочию, сколь изменился окружающий мир. Когда двадцать лет назад я работал в штате журнала «Юный природовед» — по образованию я тоже не Лев Толстой, но биолог, точнее, антрополог, и поскольку с юности пописывал, то сразу после университета стал подвизаться в журналистике, ну да это уж был ем поросло, — так вот, письменные столы в нашей крохотной редакции, каждый из которых был закреплен за тем или иным сотрудником, очищались от завалов бумаг только в случае, если нужно было нарезать колбасы, чтобы закусить портвейн «777», или посадить машинистку (диванов по крайней тесноте и бедности в «Природовед» не было).

За два десятка лет, что я провел на собственной кушетке в своем кабинете, летом — в дощатой пристройке нашего деревенского дома или по нанятым зимним дачам и Домам, что называется, *творчества*, предаваясь этому сладкому и не всегда платоническому в смысле заработка процессу, все вокруг, как выяснилось, не стояло на месте. И вот: ни одного клочка бумаги не оставалось к началу нового рабочего дня на столах на третьем этаже Газеты. И колбасу никто не резал, ибо никто здесь не выпивал. И не было больше машинисток, поскольку каждый сотрудник категорически печатал свои сочинения самостоятельно на клавиатуре компьютера, и сочинения эти автоматически попадали на общий сервер...

Впору обронить слезу по давним временам, когда не было общих сетей. И, к слову, мне это было бы вполне по чину, поскольку в свои сорок два я оказался едва ли не самым старым во всей редакции, Коля Куликов и тот был моложе меня года на два. Сидя за чашкой кофе в очень пристойном, со свежими пирожными из кулинарии при ресторане «Шанхай», которые мне потреблять, к слову, решительно противопоказано, с дорогими бутербродами — цены здесь были вполне пропорциональны редакционным жалованьям — баре, я предавался ностальгии, вглядываясь в спящее мимо молодое племя. Нельзя сказать, чтобы оно мне было вовсе не знакомо, дочери в следующем году будет семнадцать, но разительные изменения во всем были налицо: обилие юных девиц-корреспонденток с длинными ногами и задорными попками под едва приметными юбками, девиц, какие в мое время могли сидеть в редакциях лишь в качестве секретарш; и обилие вполне умытых юношей с университетскими, судя по одухотворенности лиц, дипломами, чисто одетых, заступивших вместо помятых журналистов моей советской юности — в мешковатых пиджаках с жирными воротниками и со следами многолетнего редакционного пьянства на физиономиях; наконец, весьма буржуазного вида дорого и просто одетые средних лет дамы, каких не встретишь на улице, — видимо, с *четвертого этажа*, — ничем не напоминающие утомленных редакционных женщин былых времен, обремененных беготней по магазинам и бесконечной правкой безграмотных рукописей, и галантно с ними раскланивающиеся господа в дорогих пиджаках и башмаках и сотовыми телефонами в руках...

С сожалением покидая буфет и направляясь к своему монитору, я заворачивал в туалет, и здесь тоже ничто не напоминало не только предыдущую эпоху, но и окружающую действительность: идти до кабинки приходилось по полу,

в котором можно было поймать собственное отражение; вода из бачка омывала нутро темно-коричневого унитаза благоуханной пеной; над рядом умывальников с медными кранами во всю длину стены красовалось высокое зеркало; а стоило протянуть руку, как тебе на ладонь падали ароматные капли заморского жидкого мыла. Суша ладони под исправным, бесперебойно подающим теплый воздух автоматом, я не без чувства удовлетворения глядел в зеркало на свое обрюзгшее в последние годы лицо с недавно появившимися мешками в подглазьях — от предутренней бессонницы — и подмигивал сам себе. Мне нужно было ободрение — хоть собственное. Мол, все не так плохо, дружище. Я вспоминал замечание одной молоденькой журналистки, интервьюировавшей меня недавно для какого-то глянцевого молодежного издания. Она спрашивала о моей нынешней деятельности в Газете без ханжества моих коллег по Союзу; и я с готовностью ей объяснил, что и во всем мире писатели сплошь и рядом ведут колонки в ежедневных газетах, и это считается в порядке вещей. Она прислала мне номер с этим интервью. Свой вопрос относительно моего нынешнего положения она снабдила ремаркой: мол, известный прозаик Кирилл К. теперь работает литературным обозревателем Газеты. И в скобках поставила простодушное: *везет же людям*.

Да-да, мне повезло. Чувствуя себя готовым к бою, с облегченным мочевым пузырьком, с чистыми руками и еще не совсем остывшим сердцем я еще раз подмигивал своему отражению: что ж, может, и действительно все сложилось не так уж плохо. А литература не убежит, куда она денется, литература. Сегодня я являюсь высокооплачиваемым сотрудником самой солидной из новых буржуазно-либеральных газет страны. По-старому, это почти то же самое, как если бы я сделался заведующим литературным отделом «Правды».

3

Тогда я говорил себе, что должен быть собран, а писательскую фанаберию стоит забыть на время. Ведь я торил новый для себя путь газетного литературного обозревателя на собственный страх и риск. Единственное, на что мне указали, так это на правило Газеты, согласно которому для появления любого материала на ее полосах требуется *информационный повод*. Посему я завел себе календарь, где отмечал различные литературные даты: юбилеи российских и международных сочинителей, а то и просто круглые сроки, истекшие со дня появления в печати того или иного шедевра, — и поскольку в отличие от иных сфер бытия в литературе обычно ничего не случается, разве что помрет кто-нибудь, то каждую из этих дат при желании можно было считать достаточным *информационным поводом* для высказывания, что тоже мне было объяснено, хоть это и казалось в известной мере натяжкой. В конце концов, наивно полагал я, зачем обманывать себя и других, не легче ли, коли внятного *повода* не находится, просто публиковать то, что забавно и хорошо написано. Но, как я быстро усвоил, в *отделе культуры* старательно делали вид, что соблюдают эту установку начальства незыблемо, хоть и интерпретировали ее на собственный лад, исходя из соображений не столько удобства, но некоей стратегии, о наличии которой я простодушно не догадывался попервоначалу, еще ничего не зная о своего рода *идеологии* Иннокентия и окружавших его дам.

Первым делом, путившись в это авантюрное плавание, я обошел маленькие книжные магазинчики — для знатоков, в которые и до того время от времени наведывался. Странное дело — при том, что книг печаталось все больше, рецензировать оказалось практически нечего. Не выдавать же за новинки трактат Марка Аврелия или сборник «Предупреждения» Дмитрия Александровича Пригова.

Позже-то я наострил, конечно, писать вообще о чем попало, что стали присылать мне из редакций и издательств, или вовсе о том, что листал перед сном дома или в полудреме в гамаке на даче, позаимствовав у жены или дочери. Но, пускаясь на дебют, я почитал свою новую миссию весьма ответствен-

ной и серьезной, пропорционально заработной плате, и, стремясь честно отработать пайку, пытался отыскать хоть пару книг, о которых, по моему разумению, следовало бы оповестить читателей Газеты. Но не о дамских же романах и бульварных глянцевого книжонках писать рецензии: даже *проработав* с карандашом в руках несколько последних номеров «Книжного обозрения», я убедился, что и там все больше рекламируют здешнюю самопальную бульварщину.

Увы, я давно прошел стадию живого некорыстного интереса к пишущему вокруг. Толстые журналы я бросил читать еще во времена, когда они, как сговорились, стали печатать давно известное всем еще из самиздата, от «Реквиема» до бесконечного «Красного колеса», от которого и в тамиздатовском исполнении сводило скулы и ломило кости: прочитайте-ка лежа на диване тысячу страниц микроскопическим шрифтом набранного текста — оставленных почти нетронутыми мемуаров Гучкова с Милюковым, прослоенных довольно пресными, хоть на фоне страстей плагиатного Григория, половыми приключениями героя по имени, кажется, Воротынцев... Потом самиздатский портфель иссяк и тиражи упали. И в опустошенное журнальное пространство, оставленное старшим поколением, на мутной волне крушения старого мира проникла новая поросль, цепко увившая всякий свободный пятак этих руин своими стелюющимися побегими. Обладая схожими замухрышистыми фамилиями, они и текстами своими были неотличимы один от другого, писали орнаментально, метафизично, темно и скабрено. Читать все это было выше всяких сил. То, что нынче почиталось за новизну, было уже на моей памяти обкатано и переварено в подпольной московской словесности и теперь выглядело сущим ученичеством. Прежние поколения такого сорта продукцию не могли при всем желании вынести дальше кухни, чему немало помогала цензура, новые же получили возможность тиражировать все это с колес, что отбросило текущую словесность в пубертатный период. Нечего было и думать рецензировать их сочинения вот так, с налета. Тем более что в обозе этой новой оравы следовали критики из числа друзей и знакомых, с энтузиазмом курившие ей фимиам в критических разделах тех же изданий. У них, по-видимому, сложилось уже нечто вроде секты или даже сосуществующих нескольких сект, заполонивших оставленные вождельные журнальные пространства, подобно тому как шайка скваттеров захватывает брошенный, еще не остывший дом.

Я консерватор, каюсь. Я искренне, пусть и старомодно, полагаю, что издавать боевые клики юного сексуального гона есть непременно фаза созревания, но от нее очень далеко до покойной ясности и вольной простоты. И что это верная примета всякого смутного времени, когда юные бунтари объявляются гениями, едва напечатав первый эпатажный рассказ. И хорош бы я был, примись на старости лет в качестве литературного критика всерьез говорить об этой лабуде. Да ведь и правду сказать страшновато: каково в глазах нового поколения записаться брызгой и ретроградом?..

Конечно, до того, как стать *обозревателем* Газеты, я продолжал почитать кое-какие книги: Гоголя, мемуары, Тита Ливия с Ключевским, но никак не беллетристические сочинения моих коллег по перу, соотечественников и современников, и в этом шел, кажется, ноздря в ноздю с нашим массовым читателем. Что, кстати, довольно нерасчетливо для сочинителя, ибо, как сказал однажды кто-то из моих старших циничных коллег по цеху, у тех, кто пишет хуже тебя, можно при случае разжиться свежими идеями, с которыми сами они не справились, — и приводился в пример тот же Набоков, слямзвивший сюжет «Лолиты» у Куприна. Впрочем, в чтении мне нужен никак не сюжет, но толчок; достаточно искры, одной странички или даже одного-единственного абзаца, заставляющего меня вздрогнуть и бежать к столу, и не того же ли ищет любой пишущий, дающий себе труд переверачивать чужие страницы?.. Однако новое мое положение заставило меня пересмотреть привычки и опять превратиться на

старости лет в литературного пай-мальчика, и я теперь аккуратно *следил за новинками*, то и дело слюня палец.

Прошел я и еще один путь: внимательно изучил месячный календарный план, который мне аккуратно присылали из Дома литераторов и который я до того выбрасывал, не разрывая конверта. Я вник в расписание всяческих мероприятий и творческих вечеров, на которые прежде мне и в голову не пришло бы идти, разве что обидчивый знакомый позовет на свой бенефис. Среди анонсов клуба книголюбов имени Е. И. Палтусова — убей Бог, если я слышал хоть единожды это громкое имя — представления романа Елены Новой «Ласки махаона», изданного ТОО «Просвет», творческих вечеров поэта Синильникова, прозаика Трудкина, драматурга Пейджержевского, переводчика Иванова, имена которых мне тоже ничего не говорили, оздоровительных сеансов супругов Огневых (билеты в кассе), собрания дамского литературного клуба и встречи с редакцией журнала духовной лирики «Икарус», наконец, под водительством человека, чье имя всем было хорошо памятно — в годы оны он был одним из самых активных цэдээловских стукачей, — было объявление о собрании по случаю юбилея фантаста Беляева. Делать было нечего, на этот вечер я и заглянул. И по окончании первого отделения наградил себя за этот подвиг обедом в дубовом зале писательского ресторана, доживавшего тогда свои последние дни. Замечу, ресторанный обед из четырех блюд я мог себе заказать только теперь, благодаря Газете, раньше же жался в буфете, как и положено малоимущему беллетристу. Я мог нынче позволить себе под грибочки и запотевший графинчик водочки, даже если и был за рулем: теперь у меня хватило бы денег и на случайную встречу с автомобильным инспектором, коли тому пришло бы в голову покуситься на мою малопривлекательную для дорожных флибустьеров в погонах бледно-бежевую, вполне поносного цвета, битую «Таврию».

Что ж, начнем с нейтрального Беляева, решил я. Помянуть его казалось логичным хотя бы потому, что в этом самом «Книжном обозрении» было пропечатано, что, не сговариваясь, одновременно пять-шесть столичных и периферийных издательств выбрасывают на рынок его собрания, пользуясь, должно быть, отсутствием наследников и ориентируясь на рыночный спрос. Я видел здесь повод поговорить о причудах массового читательского вкуса, но испытывал все-таки сильные сомнения — тема ли это для рафинированного *отдела культуры* Газеты?

4

Но Иннокентий эти сомнения развеял и поощрил меня: что ж, это забавно, напишите строк сто двадцать *с выносом*. И он как-то странно подхихикнул, потер ладони и даже, кажется, подмигнул из-за стекол очков. Этот самый *вынос* сначала не на шутку меня напугал, и я засомневался, справлюсь ли с заданием, пока та же хриплоголосая грациозная Вероника не объяснила мне, что вынос — это всего лишь энциклопедическая справка, которая помещается при статье в отдельной рамке...

От отроческого чтения фантаста Беляева у меня осталась в памяти лишь какая-то сама по себе, без туловища, говорящая голова и сдобное тесто, попершее отчего-то по улицам больших городов. Этого было для Газеты явно мало-вато, и я стрельнул у соседей по лестничной площадке объемистый том с изображением запутавшихся в водорослях кораблей на обложке, причем быстро выяснилось, едва я прилег на кушетку, что я путаю авторов «Аэлиты» и «Ариэля». Из предисловия советских лет я выудил и подробности биографии фантаста (которые и пойдут в *вынос*, решил я), дожившего под Ленинградом, как оказалось, до самой блокады. Сочинитель пропал без вести, а дом его оказался сожжен, и вместе с автором и домом исчезли и все его бумаги. И я позавидовал такому, чисто художническому, концу, потому что он оставляет надежду у оставшихся, что и дом, и архив просто перенеслись в другое место мира, и автор и сейчас продол-

жают сочинять в тесной каморке, служившей ему кабинетом, под потрескивание в печке сосновых дров.

Вот дивно, думал я, шурша страницами, когда не от мира сего сочинитель, чудаки и графоман, поденно пишет и пишет, чтобы уберечь семью от голода, в какие-то сомнительные журнальчики для юношества, а из-под его пера выходит странная фреска. Что ему, живущему посреди большевистской России в продуваемой балтийскими ветрами неприятной переименованной бывшей столице павшей империи, что ему южное Саргассово море, где хищные водоросли цепко обнимают и душат в объятиях потерпевшие крушение чужие корабли? Эти плененные умирающие бриги и каравеллы, каких он никогда не видел, со сгнившими парусами и ревматическим такелажем, с корпусами, разъедаемыми временем и солью, не автопортрет ли самого автора, бедного фантазера, и его соотечественников, отправившихся было из насиженного места в чудесное плавание, но угодивших как раз в самое болото земли, увязших в мировом тесте, захвативших их в пожизненный полон?

А эта причудливая коммунально-барачная жизнь, что ведут пленники этого жуткого моря, почти призраки в своем плавучем городе погибших надежд, с непонятной животной настойчивостью силиющиеся воспроизвести иерархию и условности мира, в который им больше никогда не вернуться, — уж не пародия ли это? А его романтические герои, бестелесные счастливицы, вечно обреченные на сладкий сон счастливого финала, — им никогда не проснуться. Эдакий советский Андерсен, узнавший печальную участь вещей и наивно зашифровавший свои прозрения. Его демонам надмирным и демонам подводным равно не суждено уплыть-улететь от земной участи; им увязнуть в мировом тесте вместе со всякой сухопутной тварью... Сквозь дрему я успел отметить, что товарищ Беляев отчего-то ненавидел газеты. Буквально в каждом его сочинении, где дело происходило в некоей порочной буржуазной загранице, именно от продажных газет исходили всяческая мерзость и вонь, а его благородные герои именно с этой стороны отчего-то ожидали особенно гадостных неприятностей.

5

В следующий четверг Коля Куликов настиг меня в редакционном баре. Он бесцеремонно, как это было принято некогда в пестром зале ЦДЛ, подсел к моему столику и произнес фразу, показавшуюся мне несусветной:

— Хорошо ты им вставил, старик.

Кому это — *им*? И что я такое *вставил*, я никому ничего не вставлял.

— Я прочитал твою статью, Кирюха. Про Беляева. Класс, да и только. Верно, эти самые погибшие корабли — советская коммуналка, романтическая и тухлая одновременно, разросшаяся до размеров страны. Но они-то, эти заумные снобы, и по-русски-то говорить не умеющие, — ума не приложу, как они **это** напечатали?... Поздравляю, считай, ты ступил на тропу войны. Впрочем, твое счастье, что в литературе этот ходячий Пейзаж После Битвы с Собственными Комплексами ничего не смыслит. Так что некоторое время в запасе у тебя есть...

Он продолжал болтать, исподволь указывал на того или этого, входящего или выходящего из бара, сыпал именами и должностями, я механически оглядывался, кое-что примечая, на самом же деле пребывая в состоянии оглушенном. О ком он отозвался столь непочтительно, я вообще не понял. Не о милейшем ли Иннокентии? Но обращаться за разъяснениями не стал, мне претила развязная манера собеседника. И другого я не мог взять в толк: что он имел в виду, говоря о *тропе войны*?

Тут к нам подошел, по-медвежьей переваливаясь, милый толстячок в пенсне и свободной клетчатой рубашке навыпуск. Он все время улыбался и вежливо пожал мне руку, когда нас представили. Звали его Эдик, Эдуард, а фамилия у него была совсем псевдонимная — Цедрин, и оказался он ни много ни мало заместителем главного редактора Газеты. Обращаясь к Коле Куликову, он тут же

принялся рассказывать какую-то историю:

— Я же всегда говорю, не надо принимать всерьез то, что мы пишем в нашей Газете. Посуди сам: ко мне приехали знакомые из Франции. Куда их вести — ума не приложу, не в Дубовый же зал к вашим алкашам. И тут вспомнил, что накануне в нашем разделе «Ресторанная критика» читал про какую-то новую французскую ресторацию, куда устриц доставляют из Парижа самолетом. И какие-то там наварченные блюда — названий не упомянуть. Единственно, что меня насторожило, цены тоже вполне парижские, то есть в среднем раза в два ниже, чем в наших кабаках. Я эту самую «критику» проштудировал, на зубок выучил пяток названий салатов и горячих блюд, ну, думаю, утру я нос моим французам. И мы заранее договариваемся, что заказываю я. И вот приходим мы в этот самый кабак. Прямо скажем, неказистый, скатерти, правда, чистые, но чтобы так и повеяло дорогой изящной простотой — тоже было бы натяжкой утверждать. Подходит официант — один. Без перчаток. Подает меню, карту вин. Но я, как завсегдатай и знаток, заказываю, не глядя: мол, на закуску такой-то салат, не помню уж, как его звать, на горячее то-то, потом то-то, пить будем то-то... Замечаю, официант смотрит на меня с каким-то странным и очень недобрим выражением. Я еще что-то там вякаю, он молчит, но как-то набычивается. «Ну что, — спрашиваю, — все понятно?» «Ты куда пришел?» — он спрашивает. «Туда-то», — говорю, радуясь, что французы не понимают по-русски. «Ну, если туда-то, — советует он и наклоняется к моему уху, — то смотри в меню и не выпендривайся».

— Он так сказал? — удивился я.

— Очень просто, — встрял Коля-Сандро, — ресторан этот бандитский, открыт для отмывки денег. Заказал рекламу, наша девочка и расписала по полной программе. Чистая джинса.

— Тише, тише, Николая, нас могут услышать! — Эдуард подмигнул и отправился дальше, мило переваливаясь. Он тут же подсел еще к одному столику и, кажется, принялся рассказывать ту же историю. Он походил на дежурного весельчака, каким всегда отведено место в любом штатном расписании, но никак не на начальника.

— Пересидел трех главных редакторов, — сказал Коля, глядя Эдуарду вслед. — И знаешь почему? Вовремя оказался у истоков, начинал с Хозяином... — Он ткнул пальцем в потолок. — Его привозит шофер каждый день ровно к десяти, он садится за компьютер в своем кабинете и играет до обеда в детские игры. Любит говорить, что в работу Газеты не вмешивается, поскольку его главный лозунг — «не навреди». И ведь верно — начальство чаще всего только мешает работникам делать дело... — Тут Коля посмотрел мне в глаза и добавил ни к селу ни к городу, но серьезно: — А ты теперь просто старайся как можно дольше делать вид, что ты — свой.

Меня даже передернуло от его непрошенного совета. Похоже, он всерьез решил взять надо мной шефство. И я подумал, на него глядячи, с полузабытой с возрастом грустью о людях, что это он чужой здесь, совсем чужой среди этой интеллигентной публики, и ему, должно быть, очень одиноко.

Глава III. КОНСТАНТИН ТОЛСТОЙ

1

Но совсем скоро мне пришлось убедиться в справедливости некоторых слов моего неожиданного коллеги — я вдруг влип в историю. Историю на первый взгляд глупую, пустяковую, яйца выеденного не стоит, но меня расстроившую донельзя. Виноват в ней был граф Алексей Константинович Толстой. Любимый мною и почитаемый нежнее Тютчева с Фетом.

Как там у Козьмы Прутковка: *иной певец подчас хрипнет*. Похоже, со мной это случилось чересчур скоро. Впрочем, писал я не о настоящем графе, но о

«красном» Толстом, а уж мой любимец как-то сам собой пришелся не к месту на язык...

Но прежде чем пожаловаться на судьбу, расскажу подробнее об упоминавшейся уже службе *рирайта*, с нее все и началось.

Руководила этой таинственной службой дама, производившая с первого взгляда впечатление сногшибательной красоты, — брюнетка лет тридцати пяти Оля Асанова. Она была неправдоподобно сложена — у нас в России сказали бы — *совсем как француженка*, и справедливости ради согласимся, что и среди неуклюжих с толстыми икрами француженок изредка случаются худенькие, точеные женщины с очаровательными ногами, нежным очерком маленькой узкой груди, неуловимой нежности изгибом тонкой, высокой шеи, изысканными руками и плечами, ювелирными ушами, и при этом сложенные настолько пропорционально, будто их делали по логарифмической линейке. При том, что она была маленького роста, она не казалась кукольной — из-за выверенности пропорций, — хотя была, конечно, миниатюрна. У нее было худое строгое лицо, оставляющее впечатление мрачного совершенства; такие лица в России никогда не считались красивыми, помните, у Толстого, о маленькой княгине: на первое место мы ставим женщину *милую*. Зная за собой недостаток этой самой *милости*, искупая его, она много улыбалась, чуть кривляясь, а с мужчинами, которые представляли хоть малейший для нее интерес, кокетничая, играла девочку, и это жеманство ее портило, хотя, наверное, и приносило не единожды успех: глупцам должно было льстить, что такая роскошная девочка как бы ложится по-собачьи на спинку и притворно поднимает лапки вверх.

Но все это первые впечатления.

Приглядевшись и прислушавшись к ней, можно было обнаружить, что, во-первых, она весьма умна, что никогда не делает женщину слишком счастливой. Во-вторых, если и культурна, то в смысле сугубо буржуазном — обучена языкам, вкусу и манерам, — но никак не в русско-интеллигентском: скажем, о книге одного из самых мощных нынешних мировых авторов, заложенной ею посередине и соответственно лишь до середины дочитанной, она могла сказать — *плохой роман*, а по поводу одного из лучших наших поэтов военного поколения, ныне покойном, — *зачем о нем писать, его же никто не читает*. Короче, в ней было вполне мецканское неуважение чужого таланта и творческого усилия при пусть и умело скрываемом, но чрезвычайном высокомерии. К тому ж она была невероятно нервной особой — не в смысле чуткости или чувствительности, но именно болезненно нервической, курила по две пачки «Кэмэла» в день и впадала иногда в какую-то дрожь. Наконец, она была чемпионкой интриганства и, кажется, человеком патологического тщеславия. Добавлю еще, чтобы к этому больше не возвращаться, что способностей она была средних, ни к какой форме самостоятельного творчества не пригодной, но, как все женщины, обладающие букетом вышеперечисленных черт, страшно амбициозной. Что называется, *всегда все знала лучше всех*, хотя редко когда была способна внятно объяснить, что же такое она знает.

Все ведающий Сандро рассказал мне позже и о ее, как это называется, *личной жизни*. Отец ее был членом Союза художников средней руки, но умел заработать и не был богемцем. В ранней молодости она вышла замуж за чело- века много старше ее и ничем не выдающегося, работала переводчицей в каком-то НИИ, родила двоих, что ли, детей и подрабатывала репетиторством. Прозаически развелась, поделив с бывшем мужем крохотную двухкомнатную квартиру. И вдруг взлетела: попала в Газету и стала жить со своим одно- классником-музыкантом, для полноты легенды — влюбленным в нее со школьной скамьи, сделавшимся к тому времени международным класса дири- жером, евреем, конечно, но по имени, как ни странно это звучит, Макар. Этот самый Макар был женат на скрипачке, но ушел к Асановой, отчего-то так и не разведясь, купил ей и ее детям квартиру в Сивцевом Вражке, так что жила

она, так сказать, в блюде, как бы наложницей, но в холе,— Макар был очень богат...

Вы скоро поймете, отчего я говорю об Оле Асановой так подробно — она, безусловно, сыграла роль злого гения в моей газетной судьбе.

2

Порядок был таков: сдаешь материал Иннокентию часов в пять — в шесть был предел, дэд-лайн, нарушив который ты уже становился преступником, и, как я не сразу узнал, тебя подвергали штрафу, вычитая деньги из зарплаты. Иннокентий ставил материал на полосу, и в каталоге номера против этой статейки возникала буква **Р**. С этого момента автору вменялось сидеть дурак дураком и тупо ждать, пока кто-то в отделе *рирайта* не сподобится приняться за чтение его опуса. Если таковой энтузиаст находился, то рядом с первым **Р** возникало второе, а также в той же строчке — фамилия *рирайтера*. Коли претензий к автору не было, то рано или поздно появлялось третье **Р**, то есть материал оказывался окончательно сдан в номер, и можно было со спокойной совестью шагать домой.

Но это был идеальный вариант.

Во-первых, служба *рирайта*, зевая и потягиваясь, принималась за работу хорошо к семи, а то и к восьми — они подчас трудились за полночь, и торопиться им было ровным счетом некуда. Но, главное, по мере чтения, как правило, у них возникали вопросы к автору, и тогда со второго этажа звонили нам на третий и просили такого-то спуститься. Этого рода вызов последовал для меня впервые лишь к концу третьего месяца моей новой службы, быть может, потому, что попервоначально мне никто ничего толком не растолковал, и я сбегал из редакции, как только Иннокентий принимал мою статейку. Только много позже я спохватился, что делаю что-то не так. И было несколько странно, что никто мне не подсказал, что поступаю я против правил. Много позже я сообразил, что мои добросердечные коллеги лишь молчаливо позволяли мне набирать штрафные очки: мол, катишься мимо кассы на санках — и в добрый путь.

Надо сказать, с непривычки я разволновался. Коллеги смотрели на меня, ухмыляясь. «Ну вот, познакомьтесь с нашим рирайтом», — сладко протянула *культуролог* по имени Настя Мёд, грудастая умная дама, звезда *отдела культуры*, писавшая, безусловно, живее и злее всех остальных, — протянула, мне показалось, не без злорадства. В волнении отправился я на второй этаж.

В таком же, как наш, загоне сидели полдюжины мальчиков и девочек аспирантского возраста и вида. Прежде всего меня поразило выражение их лиц — у всех как одного донельзя высокомерное. Ни тени доброжелательности не скользнуло ни по одной физиономии, даже оттенка простой вежливости, когда я неловко представился и объяснил, что меня, мол, вызывали. Они, будто сговорившись, держались неприступно, как государственные чиновники некоего враждебного отдельному гражданину ведомства, и это странно контрастировало с их обликами — интеллигентно-еврейскими преимущественно, нежными, чуть не светящимися, какие бывают у хорошо выкормленных и мытых, добротнo образованных отпрысков приличных семейств.

Меня поманил лысоватый юноша лет двадцати пяти с круглой головой, бесцветными глазами навывкате и с пробивающейся сквозь напускную небрежность врожденной застенчивостью. Говорил он очень тихим голосом, тщательно не глядя мне в глаза. Но говорил вещи совершенно наглые — за мою долгую писательскую карьеру ни один редактор со мной так никогда не разговаривал. Он указал на мой текст, который был высвечен перед ним на мониторе, и вкрадчиво спросил:

— Вы что, действительно почитаете советского Алексея Толстого прстойным писателем?

Признаться, я поначалу решил, что ослышался. Я искренне полагал, что дело этого плешивого юнца не полемизировать со мной по поводу моих литера-

турных взглядов и пристрастий, но устранить какие-то нестыковки или — чем черт не шутит — стилистические ошибки, коли таковые обнаружатся.

— И потом,— продолжил он уже совершенно невозможным тоном,— вы действительно полагаете, что это вот слово,— он ткнул чистым правильным ногтем в текст,— именно так и пишется?

Я долго не мог понять, о чем он. Тогда он поставил над нужным словом звездочку. Там было написано «в предверии». Я пропустил второе «д». Кровь прилила к лицу: вместо того чтобы просто поправить описку, он счел нужным вызвать меня к себе и, как щенка, ткнуть мордой в лужу... И тут я услышал за спиной ласковый женский голос.

— Вы читаете текст Кирилла, Андрюша? Не надо, я сама его уже прочла.

Я обернулся. Это была она, Оля Асанова. Я впервые ее видел и был сражен. Впрочем, я слышал в отделе несколько двусмысленные отзывы о ней — мол, вы еще не знакомы с Асановой, у вас еще все впереди — и был настроен настроенно. Но сейчас ее невероятно ласковая улыбка поразила меня. К тому же, не будучи знакома со мной, она уже звала меня по имени нежнейшим женским голосом. Мне в этот момент как нельзя кстати была поддержка, и она протягивала мне руку. Она смотрелась столь обворожительно, что я не удивился бы, коли мы оказались бы с ней на облаке.

— Пойдемте же.— Она чуть коснулась моего рукава. И я лунатически отправился за ней в ее стеклянную будку.

3

Как я сказал, статья моя была писана не о блистательном авторе «Царя Федора Иоанновича», а о «красном графе». Причем абсолютно не помню, в какой связи, должно быть, что-нибудь юбилейное. Помню лишь, что я там позабавился, сравнивая сестер из «Хождений по мукам» (с фантазией название, хороший вкус был у «красного графа») с чеховскими тремя сестрами, а Буратино с Хлестаковым. За этот первый квартал своей службы я уже вошел во вкус общего стиля Иннокентиевого отдела — стиля парадоксальных сближений, тотальной иронии и того, что в молодежных кругах принято называть *стебаловом*... За многие мои опусы в Газете той поры мне теперь стыдно. Стыдно перед многими милыми и талантливыми людьми, о вещах которых я писал подчас с несвойственной мне разухабистостью, будто был не писателем, а амбициозным *культурологом* или — еще того хуже — одним из модных молодых литературных критиков, ради красного словца не жалевших никакой репутации. В таких случаях говорят: бес попутал. Но это слабое оправдание, хотя был бес, был, да не один — много бесов. Ну да это к слову...

Мы расположились у нее в кабинете. Она на своем месте за столом начальницы, на котором красовались в керамической миске большая кисть винограда и несколько груш — был отнюдь не фруктовый сезон,— а я напротив.

— Там в тексте,— запинаясь, начал было я,— одно слово... описка... надо исправить...

Я держал глаза опущенными долу и заметил под ее столом миниатюрные с белой опушкой теплые замшевые башмачки — на ней же были милейшие туфельки, *сменная обувь*, как говорили некогда в школе,— и почему-то не мог отвести взгляд от этих трогательных башмачков.

— Пустяки. Хотите кофе?

Я хотел.

— Возьмите грушу.

Я покорно взял.

— Сигарету? — Она придвинула мне свою пачку. Тогда я старался курить поменьше, сигарет вовсе не покупал, а набивал трубку, но только дома в кабинете. Трубка удобна тем, что гаснет. И пока ты ее чистишь, набиваешь, раскуриваешь вновь и вновь — хорошо думается. Сигареты же летят одна за одной, написал странички три, глянь — пачки как не бывало... Я поблагодарил и закурил ее «Кэмэл».

— На ваское у кого есть виды, — всё улыбаясь и очень живо, с милыми гримасками и хмельно для меня, промолвила она. — Вы ведь знаете, субботний наш номер делается особо. Так вот, я хотела бы с вами посоветоваться...

Ее слова прозвучали музыкой: до сих пор никто в Газете ни о чем со мной и не думал советоваться. Хотя могли бы, наивно мнилось мне, посоветоваться хотя бы о том, как должна выглядеть моя литературная рубрика.

— Как вы думаете, Кирилл, вы могли бы писать для субботнего номера — ну, для начала раз в месяц — что-то вроде литературного портрета? На полосу. Так сказать, литературный герой месяца... — И не давая мне слова вставить, подвигая чашку растворимого кофе и шоколад: — Подумайте, прошу вас. Оплачиваться эта работа будет, разумеется, отдельно...

Я обещал подумать, хотя мог бы согласиться тут же. С восторгом и бесплатно. За удовольствие хоть раз в месяц ее видеть. Но все-таки, хочу отдать себе должное, в ее неимоверной ласковости что-то меня настораживало: я, так сказать, не улавливал сути сюжета. Будто желая объясниться, она произнесла:

— Я многое читала у вас. Не все, наверное, но то, что читала... — И она закатила глаза, как если бы дегустировала вино из подвалов Версаля, даже причмокнула.

Авторы глупы и тщеславны, и я сразу полюбил ее еще крепче — навек. Когда мы прощались, она встала проводить меня. Застенчиво крутя пуговицу на моем пиджаке, молвила:

— И знайте, я всегда помню, что вы мужчина, что вы большой писатель...

Я сделал какую-то нелепую стеснительную отмашку, что должно было подчеркнуть мое смирение и скромность.

— Нам хорошо будет работать вместе, вот увидите, — заключила она и подала мне маленькую узкую ручку, которую я не решился в тот раз поцеловать.

— Кирилл, — позвала она, когда я уже покинул ее кабинет. Она стояла в дверном проеме, подавшись вперед и выгнув спинку в низком наклоне, обняв косяк двумя руками. — Все, что вы пишете для Газеты, я теперь буду читать сама... — И она крутанулась, как шаловливая гимназистка, на худой стройной ножке, другую в милой, изящной туфельке поджав в колене... Что ж, в первую же нашу встречу она умелыми нежными пальчиками прошлась по всей моей бесхитростной душевной клавиатуре, как будто скоренько сделала лечебный массаж — изнутри. Впрочем, я не мог взять в толк, отчего она, руководя отделом рирайта, так печется о субботнем выпуске. Мне она этого объяснить не желала.

4

За удовольствия, как знает любой мужчина, надо платить. И расплата не заставила себя ждать. На следующий же день Иннокентий, едва завидев меня, попросил зайти к нему в кабинет. Как только я сел напротив, он поднялся из-за стола и закрыл стеклянную дверь в коридор, чего никогда прежде не делал. Перед ним на столе лежал сегодняшний номер Газеты, развернутый на той полосе, где была моя статья о «красном» Толстом — с *выносом*, то есть она *открывала блок*, была снабжена портретом героя и помещена на полосе сверху: по здешним понятиям это было для автора престижно.

Прежде чем начать говорить, Иннокентий глотнул воздух, едва заметно покраснел, и кадык у него дернулся. Ясно было, что ему самому трудно и стыдно было произносить то, что он собирался мне сказать.

— В последнее время, — начал он, чуть заикаясь, — вы делаете много ошибок, Кирилл... Вы как-то назвали Мамардашвили — Зурабом. Но Зурабом зовут Церетели. Мамардашвили звался Мераб, ошибка непозволительная...

Он не смотрел мне в глаза — точно так, как вчерашний юнец из *рирайта*. И замолчал. Я молчал тоже, ожидая, что он скажет дальше. Я вдруг задался вопросом, отчего это он, мальчик из хорошей семьи, интеллигент, му-

зыковед и эстет, заделался начальником. Ведь у нас в России в начальники идут совсем другого склада люди. Мне тут же вспомнились слова Сандро: *пейзаж после битвы с собственными комплексами*. И у меня как-то нехорошо жалось сердце — в неприятном предчувствии, как бывает, когда вдруг спохватываешься, на тот ли поезд ты сел... Я сделал одну ошибку, вдруг отчетливо, как будто прочитал это напечатанным, понял я, роковую ошибку — я предал свой образ жизни *в погоне*, как говорили в прежние годы, *за длинным рублем*. Я еще ни разу не сказал это сам себе с такой безжалостной отчетливостью, как в тот момент, глядя на уводящего в сторону глаза одетого во все черное дворянина Иннокентия. Ведь когда я соглашался на это предложение, у меня были сомнения, были, были. Но я всячески рассеивал их теми или иными доводами, мол, и во всех странах Запада... Мы же пока оставались на Востоке.

— И теперь... Вот посмотрите,— и тонкой бледной рукой, высунув ее из черного рукава, Иннокентий двинул ко мне газетный лист,— здесь подчеркнуто.

Я не торопясь, подавляя внутреннюю дрожь, достал очки, посадил их на нос и склонился над газетной страницей. «Как говаривал его тезка, настоящий граф Константин Толстой...» — прочел я и обмер. И тут же понял, как это вышло. Строча этот материал, я все время остерегал себя, как бы не описаться, не перепутать Алексея Константиновича с Алексеем Николаевичем. Получилось как в старом актерском анекдоте про гонца из Пизы.

— Я вынужден,— произнес Иннокентий, мученически морщась,— понизить ваш оклад.— И добавил: — Извините, но у меня тоже есть начальство.

Мне даже стало жаль его. Как же надо стремиться к карьере, чтобы при его воспитании — ему же не могли в его приличной семье не говорить с юности о чести — быть таким сервильным. Мне вдруг ни к селу ни к городу представилась сценка: его, плохо сложенного косоглазого хлюпика-заику, бьют крупные второгодники, подкараулив в раздевалке после урока физкультуры. За что? Не только из классовой ненависти. Скорее всего он был ябедой и трусом, маменькиным сыночком. Наверное, кидал исподтишка из своего окна гнилые сливы на стол для пинг-понга, поскольку его никогда не принимали во дворе играть со всеми, заставляя пропускать очередь? Или не давал никому списывать контрольные по алгебре и французскому?.. Я посмотрел на него внимательно. Глупости, конечно, мстительные фантазии.

— Извините меня, ошибки непростительные, верно.— Я произнес это как мог холодно.— Но это всего лишь описки, оговорки...

— Оговорки остаются ненапечатанными, а наши описки — это **навсегда**.— И, снова сглотнув, он закончил: — Это вам обойдется в двести тысяч.— И покраснел.— Ежемесячно.

Я пожал плечами — это была едва десятая часть моей нынешней зарплаты,— откланялся и вышел вон. Я глупо повторял про себя: гонец из Пизы, гонец из Пизы. Я был взбешен. Где же был этот говенный хваленый *рирайт*, для чего, собственно, он нужен, как не для того, чтобы именно такие описки и исправлять! Но Оля! Что же вы-то, Оля, сплеховали с этим самым Константином? И этот Андрюша, знающий, видите ли, как пишется слово «преддверие», но пропустивший этого самого Зураба. И потом, что это значит: *в последнее время вы делаете много ошибок?* Их только две. И почему о Зурабе мне никто до этого ничего не сказал. И что это за *последнее время*, коли я работаю здесь без году неделю?..

Быть может, я бормотал что-то вслух. Или вид у меня был чересчур взмыленный, а морда покраснела от возмущения и стыда. Так или иначе коллеги как одна повернулись ко мне, нагло заложив ногу на ногу и выставив свои культурологические колени. Я взял пальто со своего стула — не успел даже повесить на вешалку,— развернулся и пошел по коридору прочь из редакции. Мне хотелось думать в этот момент, что я ухожу навсегда. Очень хотелось.

Когда я увидел Сандро в Дубовом зале, я неожиданно для самого себя обрадовался ему. Сидя здесь уж часа полтора — один, — я стал постепенно пропитываться горьким и сладким чувством покинутости миром, каковое у женщин предшествует непременно слезам. И под которое мужчинам так хорошо пьется в одиночестве. Это чувство не имеет ничего общего с жалостью к себе, но предшествует возможности отстраненного взгляда на себя и собственную жизнь — увы, самые точные и смелые результаты такого анализа улечиваются наутро вместе с хмелем... Я помахал Сандро рукой, он махнул мне в ответ, но подошел не сразу, с кем-то еще о чем-то говорил, наклоняясь то к одному, то к другому столику, и целовал руки пожилой, крашенной хной, с диким макижем, в черном гипюре даме.

Наконец он добрался и до меня.

— Садись, садись, что тебе заказать? — приветливо спросил я. Я уже добил свой графинчик водки, и был, наверное, сильно подшофе, не чая с кем-нибудь поговорить.

Он принял мое приглашение как должное, ничуть не удивившись!

— Узнаешь? — показал он через плечо на гипюрную даму и назвал фамилию поэтессы, которая, как я полагал, была совсем из другой эпохи и давно должна была бы умереть. И меня удивило, что он знает не только людей нашего поколения, но — казалось — всю здешнюю литературу. Поскольку я был в состоянии несколько воспаленном, то у меня мелькнула мысль — не общается ли он и с потусторонним миром, вызывая духов ушедших в небытие сочинителей.

— Тебя Люда обслуживает? — спросил он.

— Х... ее знает, — отвечал я и сам себе удивился: я редко матерюсь, всегда полагал, что это удел юнцов и людей, не слишком уверенных в себе. — Наверное, она, — добавил я, как будто отличал здешнюю Люду от здешней же, скажем, Зои.

Сандро махнул рукой, тут же подошла официантка, широко улыбаясь своему человеку; он остановил меня жестом, велел наполнить мой графин, тащить еще тарталеток, зелени и маслин, а себе заказал коньяка.

— Что, они тебя уже достали? — спросил он, усмехаясь и вглядываясь в меня.

— Ты уже знаешь? Ну да это все пустяки, глупейшая случайность и накладка... — И я тут же выложил ему всю историю как на духу. Причем старался изобразить происшедшее в занимательном духе, с прибаутками, сейчас мне действительно все это казалось уже лишь недоразумением.

Но Сандро, меня слушая, ни разу не улыбнулся.

— Это не пустяки, — сказал он, — и не случайность. Я тебя предупреждал, что они будут особенно за тобою сечь. У них принято новеньких, коли они не вписались сразу, хорошенько потоптать. Это первый наезд.

Принесли водку и коньяк, и мы, не откладывая, чокнулись.

— Ты хоть однажды писал в Газете о своем человеке? По заказу или по чьей-то просьбе...

Я искренне удивился.

— Нет, конечно. Писал о знакомых, но скорее нелицеприятно...

— Ты хоть раз выпил с ними? — спросил он, закусывая маслиной.

— Но мне никто и не предлагал. И потом, с чего бы мне с ними выпивать? Там в основном дамы. К тому же мы ведь почти незнакомы...

— Предложить должен был ты. Принести хоть бутылку шампанского. Так полагается.

— Но в редакции запрещено пить.

Сандро не стал комментировать это мое заявление, лишь ухмыльнулся.

— Ты оставался там хоть раз позже десяти?

— Нет, — пожал я плечами. — Зачем мне было там оставаться?

— Тогда ты знал бы, что в Газете творится по вечерам... Наконец, ты мог бы хоть напроситься с ними в ресторан, они раза два в месяц ходят в ресторан всей компанией. Я же говорил тебе: ты должен стать своим.

Мне было очень странно все это слышать. Мне отчего-то казалось, что сам дух нынешней вольной эпохи индивидуализма, бесцензурной раскрепощенной культуры и неравенства в достатке исключает фамильярную компанейщину советских редакций былых времен с их уравниловкой, общередакционными праздниками, коллективными отмечаемыми днями рождений и пьяным случайным развратом. Как видно, я ошибался, и изменить людей труднее, чем конституцию.

— Послушай,— сказал Сандро, будто читая мои мысли,— журналиги и есть журналиги. Они всегда будут сплетничать, завидовать и доносить друг на друга по начальству. Они неудачники и неудачницы. И их бесит чужая самодостаточность. Все эти люди, которые работают в отделе культуры, эти дамы под сорок, эта Настя Мёд и как там ее — Галя Свиаренко, этот музыковед Руже и сам их начальник, они что, довольны своей участью? Они те, кем мечтали быть?

Признаться, я не думал об этом.

— Так вот,— продолжал он с неприятно кольнувшей меня назидательностью,— они не довольны своей участью. Еще несколько лет назад никому из них и в голову не пришло бы, что они, такие рафинированные и тонкие, цвет российской музыковедческой мысли и интеллектуальная надежда нации, будут служить в Газете и каждый Божий день бежать на службу. Чего хотят те, кто не доволен собой и судьбой? — Он выдержал паузу.— Правильно, они хотят одного: чтобы их полюбили. А ты их не любишь. Ты ведешь себя высокомерно,— заключил он с некоторой даже обидой.

— Высомерно? — изумился я, сам себе всегда казавшийся эдаким скромнягой.

— Ты, пусть невольно, подчеркиваешь, что они тебе неровня. Они посылают тебе меседж: полюби нас. А ты пропускаешь это мимо ушей. За это они и будут тебя выдавливать. За то, что ты не хочешь быть одним из них. За то, что в глубине души ты уверен: твоя работа в Газете — дело временное. Думаешь, этот жопастый Кеша сам придумал понизить тебя в должности? Нет, конечно, это решил *коллектив*, эти бабы вертят им как хотят. К тому же он — несостоявшийся гаремщик, не Дон Жуан, конечно, соблазняющий баб на свой страх и риск, но именно гаремщик, использующий служебное положение. И когда выбился в начальство, почти со всеми из них переспал...

— Да? — удивился я.

Забавно: эдакий гарем из феминисток. Кроме того, трудно было представить себе упакованного в черное косоглазого интеллигента Иннокентия в роли Казановы. Какого бы то ни было запаха флирта в Газете я вообще никогда не чувствовал. Поначалу даже удивлялся этому, вспоминая сущий бардак в давней советской редакции «Юного природоведа», и сам же Сандро заметил как-то по этому поводу, что, мол, там, где делают деньги,— там не до траха. Помнится, я еще удивился, какие такие здесь *делают деньги*, коли все получают фиксированный оклад.

Но в главном он был прав. Конечно, я говорил себе много раз, что эта самая Газета — лишь на время. Что отсижусь в ней, пережду тяжелые времена и вернусь в свой домашний кабинет, на свой писательский диван... Мы еще раз чокнулись. То и дело подходили к нашему столу знакомые и полужанкомые литераторы, некоторые целовались с Сандро, но даже те, с кем были у меня всегда самые дружелюбные отношения, кланялись, казалось мне, несколько отчужденно и холоднее обычного, и уж не в том ли было дело, что я заделался критиком в этой самой проклятой Газете. Что ж, от воронов отстал, а к павам не пристал... Хотя я и был уже здорово пьян, но поймал себя на том, что, кажется, во мне обнаруживаются симптомы самой обычной паранойи.

— Мы ведь строгаем с тобой свои статейки с повышенной скоростью, — продолжал фамильярно Сандро. — И не удивительно, что делаем ошибки: я тут обозвал главу Московской думы Самсоновым, тогда как он оказался Платоновым. А одного кремлевского понизил из помощников в советники. Или наоборот, мне-то один черт, я в этом и разбираться не хочу. Но ведь в редакции, как в деревне, все делается известно. Вот, скажем, твоя симпатия Асанова. Уверен, даже и приметь она этого самого Зураба — оставила бы. Ведь она за твоей спиной потешается: мол, если так неграмотны нынешние литераторы, то чего же ждать от «экономистов» или «политиков»...

Мне стало жарко: быть может, я не был бы так уязвлен, даже узнав об измене жены. А Сандро безжалостно продолжал:

— Я-то тебя понимаю: мы не уважаем газетный труд, для нас это лишь постылая да и стыдная поденщина...

— Но послушай, — взбеленился я, не столько задетый его менторским тоном, сколько раненный коварством возлюбленной, — а для тебя твоя светская хроника — только халтура? Понимаю, ты не вставишь ее в собрание сочинений, но...

— Это жанр, — довольно холодно прервал меня Сандро. — И мне пришлось вслепую нащупывать его законы. Ну да не о том сейчас речь, как-нибудь об этом отдельно поговорим. Есть другая сторона, — невозмутимо продолжал он, опять наливая: мне — водку, себе — коньяк. — Они уязвлены еще и потому, что считают себя выше тебя, а получаешь ты столько же и занимаешь престижную должность...

Тут я не смог скрыть самого искреннего и глубокого удивления, что лишней раз доказывало правоту Сандро.

— Да-да, что такое, с их точки зрения, средней руки сочинитель рассказиков да повестушек? Ты ведь не задавал себе такой вопрос.

Я не задавал. И кивнул, хоть мне вовсе не понравилось, в какую строку литературной таблицы о рангах он меня записал.

— А я дольше прожил с ними и спрашивал себя об этом. Так вот, мы с тобой, два более или менее известных писателя, печатающиеся и за границей, мы для них — пустое место. Во всяком случае, с тех пор, как оказались с ними на одной доске в Газете. С их точки зрения, и сочинитель симфоний, и исполнитель концертов — лишь поставщики материала для их интерпретаций. Лишь они, культурологи, музыковеды и ценители, обладают всей полнотой знания. Лишь они пополняют мировой Архив культуры.

— Да-да, — пробормотал я, — на Архив мне сегодня Иннокентий, кажется, намекал. — Я припомнил, как с пафосом тот произнес — **навсегда**. Но тогда я не сразу *врубился*.

— Они! А вовсе не так называемые «творцы». Мы с тобой, сочиняя оригинальные тексты, привыкли относиться к литературной критике, как к обслуге. Нам кажется, что критики на нас паразитируют: не сочиняй мы, им не на чем было бы танцевать свои унылые критические танцы. Но они-то, они-то думают совсем иначе. Они-то считают, что некий гипотетический будущий исследователь культуры нашего времени бросится читать в первую голову именно их опусы, где уже все сказано и истолковано. А если уж окажется очень въедлив, то, быть может, и поинтересуется кое-какими оригинальными образцами. Из исследовательской скрупулезности, быть может, и откроет книжечку какого-нибудь беллетриста интересующего его времени. Быть может, это будет Кирилл К. А может быть, Николай Куликов...

Я взглянул на Сандро прямо. Я не предполагал, что могу услышать от него нечто подобное. Он был много умнее, чем я полагал. Как говаривал Бунин, русский литератор думает о чем-либо лишь в том случае, если ему нужно об этом предмете написать. Сандро — просто думал. Вот оно, высокомерие, сказал я сам себе, с какой это стати хоть на секунду я возомнил себя умником, а его — простоком...

А он закончил:

— Поэтому мало того, что ты высокомерен. Ты к тому же и не имеешь права на высокомерие — с их точки зрения. И будь спокоен, они сделают все, чтобы указать тебе твое настоящее место... Пойми, милый, в Газете крутятся большие деньги. И даже мы с тобой получаем в десяток раз больше, чем получают люди в любой другой московской редакции. А где деньги — там борьба, и нужно уметь держать удар...

— Что за чушь?! — воскликнул я. — Не на ринг же меня позвали!

— На ринг. Впрочем, — небрежно, как если бы ему наскучил разговор, обронил Сандро, — твое место не самое хлебное...

Я опять сделал вид, что не понимаю, на что он намекает. Меня окончательно развезло и понесло на проповедь. Я говорил, что нет страшнее заблуждения, чем куца мысль, будто человек человеку волк. Живи просто, живи мудро и гляди в глаза ближнему своему. И если мы пойдем друг друга, восклицал я, много громче, чем следовало, то мы победим войны и болезни и самую смерть по-прем... А мы все воюем друг с другом, повседневно вызывая на бой, и тут я совсем закручинился.

— Вот именно, — только и заметил Сандро. — И будем воевать...

Надо ли говорить, что в этот вечер я напился самым постыдным образом; кричал, кажется, на весь ресторан, что я дворянин, а значит, христианин во многих поколениях, и хоть я и не крещен, но многие поколения моих предков ходили к причастию, и что я призываю присутствующих покаяться...

Сандро выволок меня из ресторана и загрузил в такси, хоть я и рвался, кажется, за руль. Машина моя осталась притуленной у ЦДЛ, а я не помню, как ввалился в дом, и жена не на шутку испугалась: так я напился в последний раз, кажется, на банкете в день защиты ею диссертации, приревновав ее к бывшим сокурсникам, которые, кстати, меня и напоили... В довершение всего меня долго рвало в уборной. Стоит ли говорить, что опухший, отмокнув в ванне, выпив крепчайшего чая и приняв аспирин, маясь похмельем и горчайшим чувством вины и стыда, я лишь к полудню собрался, добрался до ЦДЛ на такси, сел за руль и, жуя жвачку, покотил в редакцию, мучаясь стыдным страхом наказания за вчерашний прогул и ожидая новых служебных неприятностей. То, что мне говорил вчера Сандро, я не мог припомнить связно, но знал, что говорил он самую что ни на есть истинную правду.

Глава IV. БЕРУТ

1

Впрочем, мне хотелось думать, что живу я теперь барином. На самом-то деле, как я начинал понимать, барином я жил прежде — полунищим барином с богемными причудами, вольными привычками и возможностью распоряжаться своим временем как заблагорассудится. А теперь не слишком успешно осваивал самое обычное мелкобуржуазное прозябание...

Жена и прежде никогда не интересовалась моими заработками: где и сколько я получил гонорара. Впрочем, я никогда ничего от нее и не скрывал, докладывал, когда удавалось что-нибудь существенное срубить, и выдавал деньги на хозяйство. А сколько оставалось у меня — это ее никогда не трогало, главное, чтоб все были сыты и обуты. Впрочем, она знала, что я не склонен к мотовству и если ей не хватает денег, она всегда может найти сотню-другую в старом портмоне в среднем ящике моего письменного стола. Так что и прежде в финансовых вопросах она была очень деликатна, а теперь, когда суммы выдачи многократно возросли и, главное, стали регулярными, и вовсе потеряла к этой стороне жизни какой-либо интерес. Впрочем, однажды, в полусне, сладко потянувшись ко мне и прильнув, она пробормотала:

— А все-таки как хорошо, что у нас есть теперь стиральная машина...

И эта ее произвольная реплика меня насторожила.

Я купил себе компьютер с CD и колонками, с видео, и слушал музыку барокко прямо в кресле за своим письменным столом, и под нее гнал свои бесконечные статьи и рецензии. Теперь я сочинял дома — для Иннокентия плюс раз в месяц то, что называла Асанова «портрет», в субботний номер. С этими самыми «портретами» вышло много мороки, но об этом позже, пока, коли речь зашла о деньгах, скажу лишь, что гонорар от одного субботнего номера раз в месяц с лихвой покрывал те убытки, что нанес мне «Константин Толстой». Но даже то обстоятельство, что теперь я ходил на службу с собственной дискетой, а не сидел за монитором посреди общего гвалта, сияясь хоть что-нибудь сообразить, не слишком облегчало мою участь.

Я стал уставать.

Нет, это не была физическая усталость, но всякий раз, когда предстояла поездка в редакцию, мне приходилось пересиливать себя. Проводил я там пусть и почти ежедневно, но всего-то часа два-три, однако сосуществование с коллегами, холодно сдержанные встречи с Иннокентием, общение с несносными малышами и мальшками из *рирайта*, наконец, вызывающее оскомины ставшее дежурным кокетство с криводушной Асановой меня самым настоящим образом изматывали и доканывали.

Это была усталость, так сказать, метафизического свойства, как если долго гребешь на лодке против ветра на моем деревенском озере: я могу сидеть за веслами целый день, не уставая, однако когда налегаешь, но не движешься, это давит скорее не на мышцы, а на психику. Дошло до того, что я с неподдельным тоскливым ужасом переступал редакционный порог и с невероятным облегчением пулей вылетал за дверь, ни минуты лишней не задерживаясь в Газете. Я теперь с изумлением приглядывался к жене, которая шла в свой академический институт, как на праздник. Правда, ей там практически не платили денег, мало и нерегулярно выдавая «на булавки», и присутственный день у нее был лишь раз в неделю, но это был истинно радостный день для нее: она любила свою работу, группу молодых диссидентов и аспирантов, коей руководила, свои микроскопы, пробирки и реторты, от которых меня со студенческих лет воротило, — она микробиолог и училась некогда на соседнем отделении того же биологического факультета тремя курсами ниже меня.

Мне же деньги теперь как раз платили с дивной регулярностью. Я впервые получал раза в четыре больше, чем требовалось на ежемесячную жизнь нашей маленькой семьи. Я мог делать подарки жене и дочке. Вдобавок к стиральной машине — с *отжимом и сушкой* — я приобрел роскошную голландскую широченную кровать взамен давно промятой полутораспальной нашей тахты; жена силком заставила меня завести два новых костюма, полдюжины итальянских рубаш, несколько пар приличных штиблет для разных случаев и даже три шелковых галстука, которых я отродясь не носил, — я никогда не придавал значения одежде и проходил всю свою писательскую карьеру в шнурованных говнодавах, в вельветовых с потертостями и отвислостями штанах, майках, свитерах и куртках. Наконец, я был волен теперь хоть всякий день ужинать в ЦДЛ, но даже на это у меня зачастую не оставалось сил после редакции.

Мой теперешний режим свелся к следующему. Утром я дома набрасывал очередной материал. Садился в машину и ехал в объезд, минуя пробки в центре, через Крылатские холмы, мимо гребного канала на другой конец Москвы — мы живем на Юго-Западе, редакция же располагалась вблизи Речного вокзала. Там я перегонял сочиненное дома в свою «персоналку», правил, кое-что добавлял, перебрассывал Иннокентию, ждал *рирайта* и, дай Бог, в восемь по пустым уже центральным улицам гнал домой. И, только выключив зажигание и откинувшись на спинку сидения у себя во дворе, я понимал, что смертельно, по-звериному устал. Возраст, говорил я себе, но дело было не в возрасте, конечно.

Я перестал читать что-либо, кроме того, о чем мне предстояло писать. По вечерам я подчас засыпал перед телевизором, поставив перед собой бутылку бурбона (да-да, я теперь вполне мог позволить себе пить любимый мною «Джек

Даниэл»). Жена на мои ставшие практически ежедневными возлияния смотрела все с большей тревогой, а потом и с раздражением, и я завел обычай уходить в кабинет, забирая пузырь с собой, включать компьютер и смотреть с его помощью идиотские кассеты, которые я тоже брал в Газете, — там сотрудникам предоставляли и этот вид обслуживания. Все чаще я и засыпал в кабинете на кушетке, под пледом, не раздеваясь. И однажды жена с угрюмым видом постелила мне на эту самую кушетку постель. «Если уж ты спишь здесь, то хоть спи не как пес, а по-человечески», — сказала она.

Короче, даже руин не осталось от моих былых привычек. Теперь мне приходилось вставать много раньше прежнего, в ванне читать вчерашний номер Газеты, причем всякий раз я приходил в раздражение, видя, как выправили мою статью: то ли *рирайт* после моего ухода — они часто прибегали к такой подлой тактике, — то ли в отделе, не сказав мне об этом ни слова. Ни о каком сочинительстве, разумеется, нечего было и думать. В первые месяцы я еще уповал на свою силу воли и дисциплинированность — со мной в жизни ни разу не случилось, чтобы я задержал обещанный кому-либо текст хоть на сутки, и я всегда гордился своим профессионализмом, — уповал на то, что стану вставать раньше и первые часа два раннего утра буду посвящать ежедневно своей литературе. Какое там! Во-первых, я сова и утром всегда соображаю слабо. Во-вторых, кулурузный бурбон никак не рассчитан белыми англо-саксонскими протестантами для потребления стопарями в неразбавленном виде. Поэтому и к девяти мне стало трудно подниматься, и я все чаще испытывал неведомое мне прежде чувство похмелья.

И еще одно. Бывало и раньше, что я просыпался перед рассветом в нашей спальне и час-полтора лежал с открытыми глазами, слушая покойное, размеренное посапывание жены и прикидывая, как я поправлю то, что написал накануне вечером, что выкину, что добавлю, а что переставлю местами. По легким занавескам ходили предрасветные тени, и, бывало, я вдруг ухватывал из предутренней мглы какое-то нужное словцо и подавлял в себе желание сейчас же, бо-сиком, побежать в кабинет и заменить им то, которое казалось неточным. Снова засыпая, я все счастливо твердил про себя это словцо или оборот, обещая себе не забыть их, но, как правило, все забывалось, а потом, следующей ночью подчас всплывало опять...

Благословенные и безмятежные, вдохновенные блаженно-скудные времена... Теперь предутренняя бессонница носила куда более коварный и крутой характер. Я просыпался один на узкой и жесткой кушетке, и мне не хватало воздуха. Я слышал и чувствовал, как пульсирует в груди сердце и толчками, с покалыванием, будто с натугой загоняет кровь в аорту; мне становилось страшно. Я зажигал свет, наливал себе глоток бурбона и закуривал — я опять стал покупать сигареты. Не отступала мучительная навязчивая мысль: я живу не так, как должно. И настигало сознание собственной бездарной ничтожности. Меня вовсе не утешало теоретическое знание, что я вступил в плохой мужской возраст — в полосу разочарований в себе и конвульсивных попыток что-либо изменить, лелея тайный план спасения. В эти мутные часы мне представлялось, что я прожил жизнь зря, проиграл ее и профукал. То, что раньше казалось пусть частного значения, но победами, теперь представало в ином свете: жалкие потуги, никому не нужные километры бездарных строк; какой ты к черту писатель, говорил я себе, ты литературный критик второго сорта, даже не *культуролог*, неудачник, журналюга в английском твиде и новых австрийских башмаках. И мне оставалось лишь ненавидеть Газету, презирать себя и, случалось, глотать слезы в темноте.

Почему я тогда, проработав в Газете еще только первые пять-шесть месяцев, не ушел оттуда куда глаза глядят? Все очень просто: в доме появились деньги, и мои жена и дочь не широко, но плавно тратили их. И тратил их, конечно, я сам. Это с одной стороны. С другой, за эти месяцы в Газете я не напи-

сал ни строки — ни строки, страшно сказать! — никакой иной, кроме как газетной, продукции, и у меня ничего нигде не было, что называется, «на подходе», а ведь прежде я более или менее регулярно печатался. Все гонорары за прошлые свои вещи я уже получил и прожил, даже те полтысячи фунтов от английского издателя моей последней книги дошли-таки до меня, но новых поступлений не предвиделось. И вот еще что: в конце концов мы с женой могли бы существовать очень и очень скромно, не привыкать, но в этом году дочь кончала школу и за ее дальнейшее обучение в Международном университете, куда она уже ходила на подготовительные курсы, предстояло в будущем платить, и немало. Мою развалюху-машину тоже надо было содержать, а если подходить практически — то срочно менять. Тестю я обещал этим летом построить на его дачном участке баню. Жене — купить наконец шубу вместо ее потертой дубленки. И давал несколько раз по несколько сот долларов матери на лечение. А летом, когда дочь сдаст вступительные экзамены, погрозился отвезти всю семью на пару недель на Корфу...

Впрочем, все еще можно было похерить — и баню, и Корфу, и шубу. И закатиться в Малеевку — пусть даже теперь ее оккупировали по большей части сотрудники Сбербанка, устраивавшие там по уик-эндам собачьи свадьбы. И жена поняла бы меня. Но я, соскочив с привычной резьбы, испытывал уже страх перед будущими своими возможными литературными начинаниями. Проще говоря, я не знал — о чем мне теперь писать. Все больше затягиваясь в новую для меня, так стремительно меняющуюся жизнь, я, как эмигрант, не мог схватить код происходящего вокруг.

Мало того что прежний ход моей внутренней жизни оказался разрушен, но и облик окружающего мира, образ среды, в которой я привык жить, — все стало расплываться и уходить из-под рук. Мои недавние товарищи, с которыми когда-то в молодости мы вместе бурно начинали, воевали на полузапрещенных литературных вечерах, а позже штурмовали редакции, как-то незаметно и без остатка растворились; вдруг оказалось, что на Рождество, когда мы с женой традиционно звали моих литературных друзей «на гуся», придут только ее коллега с мужем, одна давняя ее подруга, старая дева, и мой школьный друг Миша, художник-компьютерщик, с которым мы в прежние времена и виделись-то раз в пару лет.

Рушился прежний мир.

Один мой товарищ по ранним рассказам и эскападам съехал в Германию, получив какой-то грант, но так и не объявился на родине, а всплыл через год в Нью-Йорке — он когда-то занимался альпинизмом и теперь мыл стекла небоскребов, купив в кредит дом в Нью-Джерси. Другой мой давний приятель, издавший с полдюжины книг прозы, забияка, гитарист и бретер, как-то в дым пьяный подошел ко мне в ЦДЛ, обнял за плечи и пробормотал со слюной: «За что тебя ценю, Кирюха, так это за то, что ты *остался в профессии*». И прослезился; сам он на пару с женой руководил теперь туристическим агентством. Другой мой близкий и любимый товарищ, милейший парень и талантливейший поэт, автор к тому же изящнейших литературных эссе, от жены, напротив, ушел и пристал к художественной галерее, принадлежавшей его любовнице. Сам он теперь не мог своими писаниями заработать ни гроша...

Хотелось бежать. Иногда мне приходили в голову вовсе вздорные мысли: сочинить, скажем, детектив, — впрочем, я отлично понимал, что и для писаний сочинений такого рода нужен особый талант, которого у меня нет. Как говаривал Белинков: нельзя забывать, что глупость — это **такой** ум. Помнится, в самые крошечные и маразматические годы позднего Брежнева мы с еще одним моим коллегой раздобыли где-то заказ на сочинение сценария представления для сельских агитбригад. Мы были нищие, веселые и наглые, но выполнить этот заказ *как надо*, с высоким профессионализмом прирожденных халтурщиков, конечно же, не могли. Единственное, что я помню, так это четверостишие, сочиненное мною:

В аплодисменты зеркальных зал
 Вслушайся — даль безбрежна!
 Всем и каждому слово сказал
 Лично товарищ Брежнев!

Стоит ли говорить, что гонорара за эту издевательскую фигню мы не получили, но *оттянулись*, как говорит моя дочь, славно. К слову, этот самый мой приятель тоже сгинул с литературного небосклона и выпал из моего поля зрения, хотя начинал громким романом и парой пьес, шедших какое-то время в провинции; кажется, редактирует нынче какой-то компьютерный журналчик...

Некуда было бежать. И, конечно же, дело было вовсе не в Газете. Газета была лишь симптом. Газета сама проросла на новой почве и принялась махрово цвести в новом воздухе совсем непохожей на прежнюю эпохи. И выбора не было: нужно было или принимать новые правила игры, или идти в управдомы.

3

Впрочем, правила, по которым жила и цвела Газета, мне мало-помалу становились все яснее. Я приглядывался исподтишка к своим коллегам и все больше поражался тому, насколько они невротизированы. Как-то среди бела дня в отсек вошла, не сняв еще шубы, Галя Свиноаренко, крупная высокая женщина-культуролог с всегда будто заплаканными серыми глазами и с округлыми и мягкими, как лапы тюленя, ногами и руками, вошла и громко сказала:

— Представляете...

Все повернулись к ней.

— Представляете, — повторила она с несколько даже иронической гримасой, но вместе и с изумленной полуулыбкой, — меня сейчас толкнули в метро. Хозяйственной сумкой. Ударили по ногам. — И, продолжая все так же смутно улыбаться, она стала медленно наливаться слезами. Видно было, как у нее распухает лицо, а влага все никак не шла из глаз, она как бы плакала внутри, и смотреть на это было почти невыносимо. Незаменимая Вероника тут же увлекла ее прочь, в туалет, должно быть, и через четверть часа эта самая Свиноаренко, зажав в кулаке носовой платок, уже сидела за своим монитором.

Хорошо, это дама, у нее могла быть в этот день менструация и сотня еще самых разных женских огорчений: она давно разошлась с мужем, одна воспитывала дочь, к тому же на руках у нее была старая мать-пенсионерка, и она была единственный кормилец в семье. Но в другой раз я наблюдал и вовсе душераздирающую сцену: музыковед Роже, молодой по поведению человек лет тридцати восьми, с торчавшими дыбом, как у Эйнштейна, рыжими кудрявыми волосами, писавший пресно, но очень дотошно — *отслеживал* концертную жизнь, — работал в тот день за соседним монитором. Вдруг он стал как-то странно икать, я взглянул на него раз, другой, но ничего необычного не заметил, разве что разлившуюся по его физиономии красноту: он упирался взглядом в экран, на котором был какой-то текст, и при этом странно вздрагивал и пучился. Я стал опасаться, что этот тоже сейчас зарыдает или его хватит удар, но он вдруг прыснул от смеха. Он старался сдерживаться, прикрывал рот ладонью, однако смех распирал его, и, наконец, он откинулся на спинку кресла и громко захохотал. Воровато оглянувшись, он заметил, что на него озираются коллеги, и попытался собраться, но хохот рвался у него изнутри.

Кто-то спросил:

— Что ты там нашел такого смешного?

Но он уже не мог говорить. Он бешено хохотал, и я подумал, что впервые вижу, как человек натурально на глазах окружающих сходит с ума. Ему дали воды, он все прикусывал то собственный язык, то край стекла, и вода стекала по его курчавой бородке. Наконец, ему удалось несколько глотков и он стал понемногу затихать. А вовсе опав, с диковатым удивлением огляделся вокруг. Похоже, он не понимал, что с ним произошло.

И еще один случай. Я был в кабинете Иннокентия — он просил что-то изменить в моей очередной статье, — когда на улице раздался один за другим два выстрела. Я тут же приподнял пластиковые жалюзи, чтобы выглянуть наружу, но Иннокентий вдруг тонко выкрикнул:

— Не подходите к окну!

Я даже вздрогнул от этого его крика: он всегда держался с тем ненатуральным спокойствием, какое пытаются соблюдать люди, склонные к истерии. И уже тише, когда я отпустил жалюзи:

— Разве можно подходить к окну, когда стреляют?

Я подивился таким его навыкам.

— А что, у вас здесь часто стреляли? — спросил я.

— Бывало, — согласился он неохотно.

И тут я вспомнил, что однажды, еще до моего сюда прихода, у входа в Газету кто-то взорвал бомбу — правда, дело было ночью и никто не пострадал. А в своей *персоналке* я как-то обнаружил инструкцию по, как сказали бы прежде, *гражданской обороне*, но не стал ее читать, — быть может, среди прочего там содержалась и рекомендация не прилипать к окнам, коли внизу началась пальба.

И этого было достаточно, чтобы понять, как далеки от реальности были мои первые благодушные впечатления от редакции Газеты. Однако о самом страшном случае я еще не рассказал. Был обычный рабочий день, когда вдруг по коридорам забегали люди с четвертого этажа все с теми же сотовыми телефонами в руках, в которые они что-то кричали на бегу. И было странно видеть этих вальяжных самоуверенных господ столь переполошенными. Вскоре под окнами завывала сирена «скорой помощи», и все сотрудники ринулись на второй этаж. Зарывшись общим безумием, поспешил туда и я. Оказался, сидя прямо перед компьютером, от сердечного приступа скончалась подчиненная Асановой — девушка лет двадцати пяти. Это была самая симпатичная сотрудница в *рирайте*, тихая и безответная. Впрочем, она *читала экономистов*, так что по службе я никогда с ней не сталкивался, только поглядывал не без отцовского умиления на хрупкую ее фигурку, на кругленькое бледное личико в веснушках вполборота, всегда повернутое к монитору, на пепельные, уложенные вовсе не по моде, а зачесанные за уши, гладкие легкие волосы, схваченные дешевой заколкой. Единственное, что я знал о ней, так это то, что рядом с ее клавиатурой всегда стояла доверху полная окурков пепельница. Я даже помню марку сигарет, какие она курила, — «Житан».

4

Теперь мы регулярно ужинали с Сандро — обычно по четвергам, это был его единственный присутственный день в редакции, когда сдавался субботний расширенный номер, а значит, и его светская полоса. Он тоже бывал вынужден сидеть до восьми и на свои светские рауты в этот день уже не попадал. Иногда мы оказывались в ресторане Дома журналистов, но чаще в странном духане «У мамы Зои», где подавали дешевый и по-домашнему приготовленный грузинский корм. Ибо наш Дубовый зал прикрыли на реконструкцию, и в писательской среде ходили слухи, что ЦДЛовское начальство ресторан попросту продало каким-то туркам и мы не увидим больше своего клубного пристанища как своих ушей. Это тем более походило на правду, что проданными оказались и Дом творчества в Голицыне, и частично — в Малеевке, и все коттеджи в Переделкине, и еще Бог знает что, — причем весь этот грабеж осуществляли новые «демократические» власти в Союзе, за которые, помнится, я сам в либеральной эйфории некогда двумя руками голосовал на писательском пленуме...

«У мамы Зои» — презабавное местечко. Тесный зал в подвале без окон с деревянными лакированными столами и резными тяжелыми стульями убран по углам и по потолку гирляндами искусственных, кладбищенского вида цветов. На стенах висит какая-то несусветная живопись: с грязноватыми подпала-

ми мопс, девушка с вялым виноградом, довольно натурально выписанный вареный, судя по красной шкуре, рак и пара пейзажей неаполитанских свойств. В прихожей, впрочем, есть и стыдливая березка, задвинутая в тень вешалки. После девяти в зальчике, в котором стоят густой дым табака и плотный запах острой, жирной пищи, появляются напоминающие персонажей Пиросмани два немолодых музыканта, один с гитарой, другой с аккордеоном. И начинаются, конечно же, нескончаемые «Сулико» и «Тбилисо». Здесь, как ни странно, уютно, довольно чисто и очень спокойно. Контингент посетителей тоже довольно забавен: случаются клерки в пиджаках и галстуках, но эти больше днем, в обеденное время; захаживает студенческая молодежь, причем ведет себя на удивление смирно, запивая огненные хинкали пепси-колой; случаются средних лет пары, причем, подозреваю, в большинстве случаев супружеские или по крайней мере с солидным любовным стажем, решившие поужинать вне дома; но больше всего, как ни странно, здесь бывает небогатых иностранцев обоего пола, похожих на западных славистов-стажеров. Громких кавказских компаний не слышно — если и идет грузинский пир, то, как правило, в отдельном кабинете.

Мы с Сандро — под этим именем его знают и в этом духане — уж ходим в завсегдатаях, и грудастая широкобедрая абхазка Нана в черных чулках, едва завидев нас, сразу же несет боржом и холодную водку, а там тащит всякой закуски по порции: сациви, лобио зеленое и красное, жареные баклажаны с чесноком, пхали, капусту по-гурийски, зелень, сулугуни, лаваш и раскаленные хачапури и ачму. Поразительно, но и здесь Сандро ухитряется встречать знакомых: то какую-то пожилую немку, то благообразную пару под шестьдесят, то грузина вполне бандитского вида, оказывающегося на поверку аджарским драматургом. И всем он меня неизменно представляет, и мы обмениваемся визитками и с немкой, и с супружеской парой, и даже с аджарцем — неизвестно на кой черт.

Здесь мы никогда не спешим, никуда не торопимся. Мы вспоминаем молодость, общих знакомых, говорим о судьбах российской словесности, а ближе к десерту — о женщинах, причем Сандро наперечет знает всех бывших и нынешних светских львиц и столичных куртизанок. Но большая часть времени этих мужских застолий на круг оказывается так или иначе посвящена Газете, как ни стремимся мы соблести негласный сговор и не говорить о ней к ночи.

Но Газета нас не отпускает, и мы всегда неумолимо сползаем к ней. Газета незримо держит нас за горло: что поделать — кормилица. Ведь и расплачиваемся мы за этот пышный стол, за шашлыки и долму, за водку и «Енисели» к кофе деньгами, что выдали нам в отечественной валюте в бухгалтерии Газеты согласно ведомости под расписку и в долларах в конвертах, которые раз в месяц извлекает из сейфа в своем кабинете Иннокентий, — *черным налогом*, — и о содержимом этого сейфа не должна знать налоговая инспекция.

5

— В Газете не бывает напечатано ни одной неоплаченной строки, — говорит Сандро.

Я его не совсем понимаю.

— Всё — джинса.

Я уже догадываюсь — о чем он, но сомневаюсь в его словах.

— Это невозможно, — говорю я, — нельзя же купить, скажем, биржевые сводки.

— Запросто, — говорит Сандро, наливая. — Предположим, некий брокер хочет продать алюминий. Или асбест. Что тебе больше нравится?.. — Яжимаю плечами. — Что он делает, прежде чем объявить на торгах свою цену? — продолжает Сандро, подвигая ко мне сациви. — Он звонит своему знакомому в Газету и просит его указать в сводке такую-то сумму. И на другой день с Газетой в руках разговаривает с клиентами. Все просто.

— Но... — Я, признаться, поражен. Одно дело, когда заинтересованными лицами оплачиваются заметки в рубриках «Модный магазин» или «Ресторанная критика» — оплачиваются, разумеется, нелегально, деньги дают корреспонденту из рук в руки, и, как говорит Сандро, в отделах заведующие собирают с подчиненных дань. Но сводки котировок на бирже — это все-таки нечто иное, это документ, и здесь легче легкого обнаружить подтасовку...

— Как раз в биржевых сводках очень трудно поймать кого-нибудь за руку. Да и кто будет ловить? В конце концов это всем выгодно. Кроме покупателей, конечно, но в конце концов их никто не заставляет так слепо верить печатному слову.

— Хорошо, — говорю я, — но объясни мне, как можно брать взятки, работая в отделе уголовной хроники или, скажем, ведя рубрику «Спорт»?

— Очень хлебные разделы, — говорит Сандро, сладко жмурясь. — Возьмем «уголовку». Заметь, от того, как расставлены акценты в статье о том или ином деле, подчас зависят и настрой следствия, и решение суда. Но вот тебе самый свежий и убойный пример. Некий юноша, студент престижного вуза и сын крупной шишки в кремлевской администрации...

— Я, кажется, читал об этом.

— Вот-вот. Этот самый сынок шел через парк и ударил ножом десятиклассника, который попросил у него закурить. И убил его, в порядке, так сказать, самообороны. Десятиклассник был в компании, которая отмечала на лавочке начало весенних каникул. И все как один его одноклассники показали, что их товарищ вовсе не напал на студента, а только окликнул его: мол, сигаретки не будет? И, когда тот остановился и полез в карман, подбежал к нему, ожидая получить сигарету. А получил нож в брюхо. А что об этом было написано в Газете?

— Там история выглядела иначе, — припомнил я. — Кажется, речь шла о том, что на этого самого студента напали хулиганы.

— Это еще не все. По факту убийства было, разумеется, заведено дело. На студента. Но в Газете было написано, что студент как раз признан органами дознания пострадавшим, а обвиняется убитый.

— Так бывает? — спросил я.

— Если папа заплатил, то бывает. — Казалось, Сандро нравилось выступать в роли прожженного и всезнающего циника. — А с Газеты какой спрос: корреспондент перепутал.

— Но Иннокентий! — вскричал я. — Иннокентий-то не берет!

— Во-первых, этого мы не знаем, — философски парировал Сандро и макнул кусок лаваша в соус от сациви. Потом любовно обернул этот кусок укропом, петрушкой, кинзой и отправил в рот. — Впрочем, ему и не нужно брать. Здесь дело чуть тоньше. Он и его команда, если ты заметил, обслуживают определенный круг «своих» композиторов и музыкантов. И ругают всех остальных. Или просто игнорируют, что есть та же брань. Объясняют они это, конечно, эстетическими пристрастиями. Но ведь они осуществляют неприкрытое лоббирование определенной группы. И перекрывают кислород «чужим». И вот представь себе: разворачивает какой-нибудь олигарх Газету теплым деньком на веранде своей виллы в Барвихе. Он давно заработал, и ему хочется быть культурным. Конечно, он не понимает музыковедческого бреда, что несет какая-нибудь Настя Мёд, но сечет, что такой-то и такой-то в мире музыки — фигуры престижные и первого ряда. Если из недели в неделю ему это повторять, а потом прийти и попросить спонсировать какой-нибудь фестиваль, то — чем черт не шутит — он, глядишь, и раскошелится. А музыкант, в свою очередь, при случае замолвит кому надо слово за свою медовую критикессу, и вот она уже аккредитована на фестивале в Вене или Дюссельдорфе или читает курс лекций о современной русской авангардной музыке в Сорбонне. Так и вершатся судьбы искусства, а заодно и сотрудников отдела культуры. Тебе бы взять их методы на вооружение, — сказал он неприятным тоном, — отобрать издательства, которые имеет смысл опекать, не обижать авторов, которые могут оказать-

ся полезными... А ты ведь ведешь себя храбро, ничего-то не боишься, режешь правду-матку, пока умные люди пользуются своим положением и пьют чистую водичку, коли довелось сидеть у ручья...

— Дорогой мой,— сказал я как можно скептически,— не по летам уж льстить и подстраиваться. И, кроме того, я все-таки не критик, я лишь свой писательский взгляд окрест бросаю...

— Ну-ну! — Сандро улыбнулся всеми своими белыми крупными зубами. И я вдруг подумал: свои ли у него зубы? Или это столь искусно сделанная металлокерамика? Он же тем временем, наполнив рюмки, продолжал мое образование: — Тут на Иннокентия работала одна начинающая музыковедша-стажерка. Очень хотелось ей зацепиться в Газете, так что она всю старалась. Но — молодой горор, обо всем, конечно, собственное мнение. И угораздило ее попасть на концерт Макара, сожителя Асановой, он и концертов-то в России почти не дает. И вот эта девица со всей бескомпромиссностью юного темперамента решила развенчать, как ей казалось, чрезмерно и несправедливо раздутую репутацию маэстро. Мол, холодноват, механистичен, вдохновение подменяет умением нравиться публике... Конечно, статейка была перехвачена в отделе рирайта и тут же отправлена в корзину. Иннокентия вызвали на четвертый этаж и, кажется, устроили головоломку. А девочка вылетела из редакции на следующий же день, так и не закончила свою стажировку: Асановой лучше не становиться поперек дороги.

Я любовался этими картинками нравов, которые так сладко и смачно живописал Сандро. Я не слишком-то доверял ему, полагая, что ради искусства красноречия он сгущает краски. И, конечно же, не стал интересоваться, берет ли он сам деньги с тех, о ком пишет в этой самой своей светской хронике. Он прочитал мою мысль.

— Ты не обращай внимания, как нежна со мной та же Вероника?

Я, конечно, обращал и даже втайне завидовал Сандро, что на него, почти моего ровесника, до сих пор льстятся молоденькие девушки.

— Нет-нет,— сказал Сандро,— это отнюдь не бескорыстная симпатия. Она всякий раз просит меня вставить в мою хронику хоть пару строк об открытии нового бутика или о празднике в каком-нибудь ночном клубе. Умоляет: Коленка, хоть пару строк! И отчего-то воображает, будто я не понимаю: за эти несколько строк она уже получила с бутика или от клуба две-три сотни зеленых.

— И ты ей ничего не говоришь?

— У молодых девушек обычно небольшие оклады. Но значительные расходы,— ответил Сандро. О своих заработках этого рода он, естественно, не проронил ни слова.

Глава V. ГРАФ САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР

1

— По вашу душу,— произнесла Вероника, иронически подхихикнув, и протянула мне телефонную трубку.

Надо сказать, это было принято в отделе: сидишь за своим монитором, телефон дребезжит, не уставая, то зовут одного, то зовут другого, то вдруг какая-нибудь неизвестная девица начинает пространно объяснять, что их галерея, или студия, или ночной клуб, или дом культуры были бы рады пригласить представителя Газеты на вернисаж, или на показ мод, или на концерт. «Роже, это тебя»,— говоришь ты злорадно и съешь тому трубку — пусть разбирается, коли это по его концертной части. Хотя ты вполне мог бы и сам послать девицу к чертовой бабушке. Роже прижимает трубку ухом к плечу, не отрываясь от монитора и продолжая молотить по клавишам, а расчухав, в чем дело, что-то отвечает гневно, бросает трубку и грозит тебе кулаком. Такие милые цеховые шутки. Так что по интонации Вероники я уже понял, что она приготовила мне подвох.

Но то, что я услышал, было вовсе несусветно. Женский голос с кавказским акцентом произнес:

— Баку говорит. Нефтяная компания «Чурбáн-Чуркá»,— так это приблизительно прозвучало.— Соединяю вас с господином Турсун-Заде.

И тут же возник в трубке шершавого звука бас, заговоривший на таком чудовищном русском, что продаться к смыслу было затруднительно. Отчетливы были лишь повелительные интонации.

— У вас какой адрес?— так можно было понять первый вопрос.

— У меня?— подивился я.

— У вас,— подтвердил он.— У вашей редакции.

— Ах, редакции!— вздохнул я с облегчением.— Наш адрес на последней полосе газеты. Внизу. Меленько.

Бас помолчал.

— Через полчаса к вам приедет наш человек. Черный «мерседес пятьсот». Встретьте его. Вам все объяснят.

И бас повесил трубку.

Я было стал озираться, ища поделиться с кем-нибудь из коллег столь забавным недоразумением, как заметил, что рядом со мной стоит Иннокентий.

— Теперь уж старайтесь, Кирилл,— молвил он, двусмысленно ухмыляясь.

Как он узнал — даже при том, что в Газете специальные люди прослушивали все редакционные телефонные разговоры,— как он узнал с такой скоростью о содержании этого странного разговора? Вероника!— сообразил я.

Через полчаса я стоял у подъезда редакции, чувствуя себя дурак дураком. Чурбáн-чуркá, если по-тюркски. Лишь чувство приличия заставило меня выйти: неудобно, все-таки человек едет ко мне из самого Баку на «мерседесе», а я поведу себя невежливо и не выйду к нему навстречу. Кроме того, что скрывать, я был заинтригован.

Черный «мерседес» подъехал минута в минуту. Из задней двери не без грации выполз лощеньй господин усредненно южной наружности, в шелковом с блестками костюме сицилийского сутенера и обернулся ко мне. Он был спортивен на вид, хоть и сед на висках. Он кивнул, и шофер вынес на вытянутых руках высокую тяжелую стопу книг с золотым обрезом, формата и внушительности Брокгауза и Эфрона. Учтиво улыбаясь, господин знаком повелел шоферу передать стопу мне. Я машинально принял этот груз на руки.

— Граф Салиас де Турнемир,— сказал гость светски и почти без акцента.

Наверное, я уже допился до белой горячки, о каковой опасности в последнее время регулярно предупреждала меня жена. Хоть я и надеялся, что она преувеличивает.

«Виконт де Бражелон»,— хотел было представиться я в ответ.

— Здесь,— положил он холеную смуглую руку с белыми ногтями и огромным золотым перстнем на указательном пальце на стопу книг, из-за которой я его едва видел,— два экземпляра полного собрания сочинений графа Салиаса. Один — в подарок лично вам. Другой для работы.— И тут в голосе его послышались ноты почтительного страха.— Господин Турсун-Заде хотел бы, чтобы выход в свет этого издания нашел отклик на страницах Газеты. Он надеется.— И посланник глянул на меня значительно.

Едва уловимо наклонив голову, он развернулся, сел на заднее сиденье «мерседеса», и шофер мягко тронул с места. Я остался стоять посреди улицы с этим самым Салиасом на руках, и мне почудилось, что из окон третьего этажа смотрят на меня ухмыляющиеся лица коллег.

Все тут было загадочно.

Какое отношение нефтяная компания имеет к графу Салиасу де Турнемиру? И отчего такой издательский шик: в последний раз полное сочинение этого «русского Дюма», как лъстиво называла его прижизненная критика, выходило — я навел справки — до революции. Может быть, дедушка господина

Заде был побочным сыном сочинителя-графа? Или интрига еще тоньше: скажем, секретарша господина Турсуна обожает арабские сказки и исторические романы из времен Екатерины? И пересказывает их шефу на ночь, как Шахрезада?

Но как бы то ни было — при чем здесь я? И на что, собственно, этот самый Заде «надеется»? По-видимому, я должен отрецензировать издание. Что ж, в конце концов где Беляев — там и Салиас, и я вполне могу написать об этом неусветном собрании, оповестив о его появлении в свет нашу элиту бизнеса, финансов и политики, хотя, конечно, ей, элите, это — по хрену рубашка, как говорили в моей молодости в нашем студенческом кругу...

— Проси больше,— сказал Сандро, когда я в четверг поделился с ним этой историей. Сказал, явно потешаясь.

— Больше чего? — спросил я.

— Денег, Кирюха,— сказал Сандро,— денег. И перестань наконец строить из себя непуганого идиота.

— Но я не беру денег,— пробормотал я, чувствуя, однако, какое-то странное сосание под ложечкой.

Со мною произошло невероятное: я впервые в жизни неожиданно для самого себя испытал приступ алчности. Да-да, я почувствовал, что нечаянно вступил в чертоги Али-Бабы. И мне предлагают много злата. Это было мучительное чувство, грозящее раздвоением личности. С одной стороны, я понимал, что, если получу эту взятку — взятку, конечно, как иначе это назвать: поощрение, гонорар, подарок, благодарность? — я никогда в оставшейся жизни не смогу сказать, что **не брал**.

Какой тяжкий труд, оказывается, нести бремя соблюдения заповедей твоих, Господи! И, скажем, не красть. Ведь я, взяв деньги с этого самого Заде, именно что украду. Украду у того же Иннокентия, скажем, потому что фактически использую его доверие. У жены, которой я никогда не смогу признаться в том, что совершил...

Но с другой, с другой стороны: **все так поступают**, если, конечно, верить Сандро и собственным глазам. Как там цинично он приговаривает: «Сидеть у ручья да не напиться?» Не надо драматизировать, **take it easy**, это всего лишь презент, награда за хорошо сделанную работу.

Дурак, говорил я себе, в твоём возрасте столь легкие задачи взрослый человек должен бы давно для себя решить. Брать или не брать — это все-таки не «быть или не быть». Но в том-то и дело, что до сих пор подобная дилемма никогда передо мной не вставала: мне попросту никто никогда ничего не предлагал «взять»... Видно, я еще не достиг необходимой степени просветления, когда мудрец без раздумий отличает добро от зла...

Обо всем этом я суетливо размышлял, читая по диагонали невероятно скучные романы «русского Дюма», плохо выстроенные и дурно писанные. И именно в тот момент, когда я занес руку над клавишами, чтобы отстучать выходные данные этого издания и приступить к рецензии,— вот именно тогда мне бы раскурить трубку, выпить глоток «Джек Даниэл» и послать к черту этого самого Заде вместе с графом де Турнемиром. Но рука опустилась на клавиши, и рецензия пролилась, как фривольная песенка. А уж что написано пером...

Рецензия на новое полное собрание сочинений графа Салиаса де Турнемира — рецензия пера литератора Кирилла К.— появилась на страницах Газеты уже через три дня после получения литературным обозревателем этого самого собрания.

Через день после выхода рецензии та же Вероника с видом загадочным вручила мне маленький с кокетливым вензелем конверт. Уж не гонорар ли это от Заде, подумал я, ужасаясь, что вручили мне его прямо в редакции, и сомневаясь, надо ли брать конверт в руки, оставляя на нем отпечатки пальцев.

— Что вы удивляетесь-то? — сказала Вероника.— Вас приглашают...

По вскрытии в конверте действительно обнаружилось приглашение с вьетками, довольно высокопарно на мой вкус, в светском стиле, составленное. Меня просили прибыть тогда-то по такому-то адресу по случаю дня рождения Иннокентия: мол, такая-то и такой-то будут искренне рады видеть вас...

Должен сказать, что с Иннокентием к тому времени отношения у меня стали уже самые формальные. Собственно, мы и не разговаривали вовсе: я избегал обращаться к нему с какими-либо вопросами и никогда не заходил в его кабинет. Он же, что бывало очень редко, сам подходил ко мне, если у него были какие-либо указания. То есть «просьбы», как он неизменно выражался,— впрочем, он любил разгуливать в проходе между мониторами, наклоняясь то к одной, то к другой своей *культурологине*,— разгуливать с видом совершенно павлиньим. Так что приглашение это не могло меня не удивить. Правда, я решил, что оно носит дежурный характер. Что и подтвердилось, когда я с каким-то альбомом в качестве подарка и с бутылкой коньяка явился, чуть опоздав, по назначенному адресу: культурологини как одна — плюс Роже, конечно,— были в сборе.

Встретила меня хозяйка дома — на удивление славная, чистотой лица и приветливой серьезностью напомнившая мне мою жену. Я даже подивился, насколько приятной женщиной оказалась Иннокентиева супруга. Она была, разумеется, музыкантшей, что-то из духовой секции, мне хотелось бы, чтобы это оказались свирель или флейта, но выяснилось, что играет она на гобое... Хозяин поставил принесенный мною коньяк на широкий, уставленный разнообразными бутылками стол и спросил с приторной светскостью: виски, коньяка, джина-тоника?.. Я согласился на виски, мысленно ругая себя за свой нелепый жест: зачем я приперся с собственной бутылкой? Тут же оказались и два швейцарца; Иннокентий представил нас, при этом сказав мне: вы можете общаться на французском, английском, итальянском... Мысленно послав его к чертовой бабушке, я на своем ломаном английском объяснил гражданам альпийской республики, сколь хорош наш хозяин в качестве шефа. На этом запас моей светскости и лингвистических познаний был исчерпан, и, боюсь, швейцарцам я не показался слишком любезным.

Это был фуршет по-европейски. Совершенным европейцем выглядел Роже, обычно ходивший вахлак вахлаком, но на сей раз прибывший в бабочке, хоть и без смокинга. В каком-то ослепительном платье, обтягивавшем ее убедительные формы, была Настя Мёд. Чуть отставала от нее в поползновениях на галантность Галя Свиноаренко, впрочем, она и всегда бывала чуть неуклюжа. Порхала Вероника на обтянутых серой лайкрой худых длинных ляжках — именно на них, потому что только ляжки и бросались в глаза. Было и еще несколько дам, работавших в отделе: милая улыбчивая грузинка, очень худая, высокая и горбоносая, писавшая о балете; а также сорокалетняя девушка по имени Лера Каримова, телевед, если можно так сказать, отличавшаяся удивительной стройности фигурой и ногами — по-видимому, так хорошо сохранившимися именно в силу ее стародавничества,— обычно ходившая по коридорам Газеты в немыслимо коротких для ее возраста юбках, с разведенными чуть в сторону руками и ладонями, выгнутыми вовне крылышками, как бы изображая Дюймовочку,— при том, что лицом она явно не вышла. Мне было жаль, но Сандро отсутствовал, хотя ему-то здесь, среди альпийцев и олимпийцев, было самое место.

Впрочем, лиц мужского пола, не считая, конечно, безвредных швейцарцев, Роже и меня, не наблюдалось: Иннокентий, как я начал давно догадываться, втайне не переносил мужчин, тем более красавцев, и Сандро выручало, что его рубрика находилась в ведении отдела культуры лишь номинально. Как заметил бы по этому поводу записной юнгианец, Иннокентий сопротивлялся идентификации со своей анимой... Несколько позже, извинившись занятостью *по номеру*, прибыл Эдуард Цедрин, и это, конечно, был жест в сторону Инно-

кентия — в Газете очень серьезно блюли субординацию. Цедрин выдал общий поклон, а потом подходил то к одному, то к другому из гостей и наконец добрался до меня. У него была милая манера: если он собирался сказать приятное — впрочем, неприятного он никогда и не говорил,— как бы грозить вам пальчиком. Вот и теперь, погрозив мне, он, чуть наклонив голову и как бы заглядывая сбоку из-под пенсне, сказал:

— Читал вас в прошлом номере, Кирилл. Очень хорошая *работа*.— Интонация его была такой, будто сейчас он прибавит «батенька», как Ленин из анекдотов.

Речь шла как раз о моей рецензии на Салиаса, сдобренной рассуждениями о массовой литературе рубежа веков. Рецензия была самая проходная, полторы мысли, не мог же я травить Али-Бабу интеллектуальными изысками а-ля Настя Мёд, так что оценка Цедрина была лишь формальным комплиментом. Забавно было только то, что он, как всегда, и эту пустяковую заметку назвал «работой». Впрочем, наша юная речь почти не различает оттенки омонимов. Во-первых, «работа» — это труд вообще: «надо работать». Затем «работа» — это оценка труда, не разделяющая процесс производства и конечный результат: так говорят, скажем, крестьяне о поставленной избе или сложенной печи — «ладная работа». На советском волапюке слово «работа» приобрело еще и значение «служба», а в лагерном варианте возникло и множественное число — «выводить на работы». Можно сказать «работа», имея в виду конечный продукт: так говорят, скажем, о картине на выставке или о научной статье. Цедрин, кажется, употреблял это слово именно в последнем его значении — «работа» в смысле статья, рецензия, газетный материал. Это был высокий стиль, и такое словоупотребление косвенно сигнализировало о том, как высоко он ставит журналистский труд, придавая вообще говоря крайне незначительному тексту — двум сотням строк, написанным в один присест по «информационному поводу» — статус творческого свершения. То есть и он был солидарен с *культурологами*: они ведь тоже были убеждены в ценности своих газетных *работ*, хотя, быть может, это было защитное. Они и меня, беллетриста, чернорабочего культуры, пытались приобщить к ордену посвященных, но после того как выяснилось, сколь я безнадежен, спнули без сожаления за борт. Вот от Сандро с самого начала не ждали ничего. Он был своего рода ассенизатор, делающий черную работу (в первом значении), которую и делать-то надо лишь как дань тупому и неповоротливому миру: ну как приходится же печатать в Газете гороскопы, прогноз погоды и программу телевидения, уступая слабостям человеческим...

Я мог сколь угодно долго предаваться такого рода умствованиям, посасывая виски, поскольку *мероприятие* — слово, кстати, вполне загадочное, но в данном случае, как будет видно дальше, вполне подходящее — было чопорным, натянутым и откровенно скучным. Впрочем, прошло часа полтора, и я отметил, что даже один из швейцарцев, *как это ни смешно*, прилично наклюкался. Позже, когда Сандро вывел меня как-то на прием, я заметил, что и самые статусные кормленные иностранцы бросаются к фуршетному столу даже проворнее, чем наши соотечественники, должно быть, думал я, в силу отсутствия комплексов и возможности вести себя, как Бог на душу положит, раз они — в России. Они, как саранча, опустошали столы, и Сандро со свойственной ему цинической прямотой утверждал, что на халяву с одинаковым энтузиазмом жрут и бомж с Казанского вокзала, и вашингтонский сенатор...

Выпив, люди Иннокентия, что называется, стали раскрываться с *другой стороны*. Скажем, мать семейства Свиаренко оказалась не промах поддать. Дюймовочка Лера вдруг заговорила без остановки, причем сразу со всеми. Руже бегло болтал на французском, не отступая ни на шаг от иностранных гостей. В довершение всего Настя Мёд запела а капелла русские романсы голосом силы по крайней мере Галины Вишневской — у нее вдруг обнаружилось драматическое сопрано, и стало ясно, что она в юности ошиблась факультетом консерватории.

Стоит ли говорить, что я опять напился. Мне стало внятно *дольней лозы прозябанье*. Видя этих людей в *неформальной обстановке*, я вдруг решил, что они — **не интеллигенты**. Это показалось мне в тогдашнем моем состоянии величайшей высоты и тонкости открытием. Они *предатели*, мнилось мне, предатели своего класса. (Самое забавное, что в некотором смысле я и сейчас, в *окончательном* моем положении, думаю то же.) Они предали русскую интеллигенцию со всей ее сектантской нетерпимостью, но и с высокими прозрениями, способностью к самопожертвованию и неумением понять и принять *других*, непрактичностью в деньгах и делах, но и умением работать, со всей ее прелестью и истерикой,— променяли на мелкобуржуазную толерантность и конформность. Они пыжились казаться *интеллектуалами* западной европейской складки — вот кем они пыжились быть. Однако сказано: будь холоден или горяч — твердил я про себя, *лакируя* виски текилой,— но не тёпл. Они променяли свое призвание к воспаленному русскому служению и странничеству на общеевропейскую тусклую культурность, говорил я себе, говорил, совсем как Достоевский...

Когда человек осознает нечаянно, что он оказался вне своего класса и круга, перед ним встает выбор: он или тушуетя и подстраивается, или становится культурным героем. Коктейль мексиканской текилы с шотландским виски, безусловно, подталкивает ко второму. И я преисполнился решимости рассказать грузинке, которая мне давно приглянулась, о своем открытии.

Кажется, я пересказывал ей содержание сборника «Вехи». Говорил о вечном споре западников и славянофилов. Причем она с неподражаемой иронической мягкостью осведомилась, к какому лагерю отношу я сам себя. Пришлось объяснить, что взгляды человека меняются, в зависимости от поворотов Истории. Что я всегда считал себя либералом и придерживался ценностей космополитических. Но сейчас, видя, что творится вокруг — и тут, кажется, я повел рукой окрест,— я все больше ощущаю себя консерватором. Да что там Истории, вещал я, за один день человек может из правого сделаться левым и обратно. *Слава Богу, Бога нет, слава Богу, есть пять*, процитировал я незабвенного Женю Харитонову. Это удивляет меня самого. Но в одном я убежден: идет тотальное наступление на исконный интеллигентский образ жизни и склад мысли. На мою личную систему ценностей, если угодно. И я не могу не противиться этому...

— Но вы не коммунист? — опасливо осведомилась она.

— Что вы! — с жаром и вполне серьезно запротестовал я, не чувствуя в ее словах насмешки.

— Вы такой... ностальгический,— заметила грузинка, пряча улыбку за фужером шампанского, который поднесла к губам.

— Нет-нет, это не ностальгия, хоть и верно сказал поэт: что прошло, то будет мило...

Тут я выпил еще текилы и совсем зарпортовался. Я повествовал о прима-те духа, мерзостях рынка и тупиках либерализма. Когда окончательно запутался, то, чтобы выйти из положения, я предложил ей руку и сердце. При этом я честно сообщил ей, что женат вот уже без малого двадцать лет, но заверил, что это не имеет никакого значения. Она смотрела на меня, как мне казалось, с живым интересом. Быть может, она думала о том, какие метаморфозы может творить с человеком алкоголь. Она ведь знала меня вот уже почти год — пусть шапочно — как мрачноватого бородатого тучного близорукого господина лет на пятнадцать старше ее, ваяющего какие-то тексты из такой далекой от балета области, как отечественная словесность... Истолковав ее изумляющий взгляд в свою пользу, я устремился с жаром целовать ее руки, которые от меня деликатно убирала. Потом, кажется, я пустил одинокую слезу. Наверное, от острого и пронзительного понимания, что после долгой моей неприкаянной жизни нашел-таки наконец свое счастье в виде лица грузинской национальности женского пола, понимающего меня лучше меня самого. «Счастье мое, нам будет так хорошо

и спокойно вместе», — шептал я. А может быть, мне лишь казалось, что я разговариваю шепотом...

Как я добрался до дому — помню смутно. Знаю лишь, что, когда проснулся одетым на кушетке в своем кабинете, не получил в постель ни ритуальных утренних поцелуев жены и дочери, ни положенной чашки крепкого кофе эспрессо.

5

— Он меня уволил, — сказал я, когда нам принесли водку и боржом и мы выпили по первой. Боюсь, как я ни старался, это прозвучало драматически. — Вчистую. Что называется — без выходного пособия.

— Все по порядку, — попросил Сандро.

Я попытался рассказать все по порядку. Буквально через два дня после этого самого дня рождения Иннокентий позвал меня к себе в кабинет и сказал без обиняков:

— Кирилл, кажется, мы с вами не сработаемся.

На сей раз он не дергал кадыком, не краснел и не опускал глаз. Держался он очень уверенно, с начальственной нагловатостью. Быть может, для него был чересчур велик авторитет отца, подумал я мельком, и теперь он стремился властвовать, потому что прежде слишком много подчинялся. Как-то, помнится, еще в розовый период моего дебюта в Газете, мы сидели в его кабинете. И он обронил в шутку по поводу, кажется, Свиначенко: всегда мечтал командовать взрослыми женщинами. Фраза знаменательная. Впрочем, случившаяся здесь же Настя Мёд быстро отреагировала: это проходит, Кеша. Ой, нет, Настя, не проходит...

— Займитесь теперь вплотную своими субботними «портретами», — сказал он мне вдогонку.

Вот это и было наглостью. «Портреты» были вне его компетенции, и он мог бы удержаться от советов — чем мне впредь заниматься. Быть может, я с детства лелеял мечту собирать в парках и скверах пустую посуду на свежем воздухе. Но самое поразительное, что я испытал облегчение. Истинное, бесприемное облегчение, что, быть может, объяснялось моим эгоизмом, безответственностью и малодушием. Теперь мне не нужно будет исполнять его идиотские указания, а главное — главное, мне не нужно будет являться в эту постылую редакцию чаще, чем раз в месяц. Ведь самостоятельно я не смог бы найти в себе сил что-либо круто изменить. «Прыгнуть в горящую пропасть, чтобы найти там себя», — как выражаются дзен-буддисты. Я почти парил, отгоняя от себя мысль, что терял в заработке как минимум четыре пятых. Да-да, мой доход в Газете теперь уменьшался почти в пять раз...

— И это всё? — спросил Сандро.

— Всё. Но ты знаешь, у меня будто гора с плеч. Засяду-ка теперь за новую повесть.

И тут Сандро сказал с неприятно-пренебрежительной интонацией:

— Эта твоя коллизия между писательством и журналистикой — чисто русская.

С какой это стати он вдруг опять заделался западником.

— Но я русский писатель, — гордо парировал я. — Кроме того, газетные материалы одноразовы, как презервативы, тогда как литературные произведения предполагают многократное использование...

— Хотя всякий кузнец ненавидит свой молот. — Он притворно расхохотался и стукнул меня по плечу. — Маркс, между прочим.

Я тоже кисло ухмыльнулся. И мы не забыли выпить еще по рюмке.

— М-да. Надо полагать, свою роль сыграл в этом деле граф Салиас. По-видимому, кто-то донес, что ты взял за эту рецензию взятку.

— Во-первых, я ничего не брал, — сказал я, чувствуя, что краснею. Краснею потому, что брать-то не брал, но, кажется, **готов был взять**. И одна эта го-

товность заслуживала наказания.— И, кроме того, ты же сам говоришь, что в Газете так принято.

— Срать тоже принято,— сказал Сандро с намеренной простонародной грубостью, которая всегда меня в нем коробила,— но никто этого не делает при всем честном народе. Для этого есть сортир...

И мне на миг показалось, что теперь, когда я падал с коня, он отнюдь не сочувствует мне. Как там у Ницше: падающего еще толкни...

— Впрочем, Салиас лишь предлог, конечно. Здесь есть и что-то другое.— Сандро погрузился в размышления. А потом потребовал, чтобы я изложил ему, что происходило у Иннокентия на дне рождения.

Едва я дошел до грузинки, он громко закричал:

— Ну вот! — И даже хлопнул ладонью по столу.— Вот именно!

— Что? — не понял я. Но испытал столь нехорошее чувство, будто этот и без того постыдный эпизод собираются показать по телевизору.

— Вот результат того, что ты не смотришь по сторонам, сочинитель фигов, и не видишь того, что творится у тебя под носом. Эта самая грузинка — текущая любовница толстожопого. Это знают все в отделе и далеко за его пределами. Поздравляю, ты попал в точку. Засадил в самое очко.

Он будто злорадствовал. Мне стало и вовсе не по себе. Но уже через час, после пол-литра водки, мое настроение пошло на поправку. Тем более что Сандро, благородная все-таки душа, как мог утешал меня. За наше общее с ним здоровье он произнес длинный тост.

— Всё это фигня,— так патетически начал Сандро.— Дело не в деньгах. Ведь сами по себе деньги не растлевают, растлевает способ их зарабатывания. Их этот способ уже растлил. Из людей, в которых теплился огонь познания истины, они превратились в буржуазных интеллектуалов-начетчиков.

— Ты говоришь моими словами,— пробормотал я. А сам подумал: я перестал любить жену, как любил прежде. Я перестал благоговеть перед дивной юностью нашей дочери. Я стал дерьмом. И все это сделали деньги Газеты, заработанные несправедливо для меня путем, уводящим прочь от призвания.

Меж тем Сандро продолжал:

— Они встроены в систему, работающую как часы, буржуазную систему добывания, и они винтики в ней. Мы же вольные люди, богема, цыгане, герои, потому что мы одиноки и сами по себе. Здесь принципиальная разница. Разные социальные и психологические плоскости. В конце концов они представляют массовую культуру. Пусть массовую интеллектуальную культуру, ведь их элитарность — тоже товар. Мы же в любом случае — штучны! Вне зависимости от качества нашего товара, которое, кстати, ничем не измеримо. Все дело в достоинстве и артистизме проживания жизни...

Он долго еще вдохновенно говорил. Но вдруг прервался и спросил:

— А, кстати, этот твой Али-Баба так и не объявился? — И сам за меня ответил: — Нет, конечно.— И закончил наш ужин таким трюизмом: — Ибо вдыхающему каждый день запах нефти, этого жидкого дерьма земли, чувство благодарности неведомо.

Глава VI. «ЧЕРТ, ВОЗЬМИ!»

1

Этих самых «портретов» я успел наваять штук пять. Был среди героев известный автор предгорных саг, был эмигрант, бытописатель московских, шестидесятых еще годов, интеллектуальных кружков, превращавших в клуб то курилку в Ленинке, то пятачок у ближайшего пивного *тычка*. В таком духе. Это были никакие не «портреты», а литературные *эссе* на заданную тему. Работа, кстати, довольно сладкая и куда ближе сердцу, чем рецензирование Салиаса с Беляевым. И все бы хорошо, когда б не Асанова, некогда меня на эту деятельность и подвигнувшая.

Пока я продолжал трудиться в отделе Иннокентия, первые три-четыре сочинения этого рода она напечатала, что называется, с колес. Но едва я был изгнан из среды культурологов, начались проблемы. Прежде прочего радикальным образом изменился ее тон в обращении со мной. Она уже не подобострастничала и не заигрывала, но говорила довольно жестко, порой даже раздраженно. Свои игры «в девочку» она теперь адресовала другим, скажем, недавно снятому очередному главному редактору Газеты, который отчего-то продолжал неизменно являться к десяти на работу и с таинственными целями весь день околачивался в ее кабинете или поблизости. Занятно, что он сидел и ждал ее и тогда, когда ее не было.

А не бывало ее теперь постоянно. Приходилось и мне часами ждать. Иногда к нам присоединялся шофер Асановой, ибо теперь, передав руление *рурайтом* другой даме и «редактируя субботу», она располагала индивидуальной машиной с водителем. Этот самый шофер был бессловесным малым, смиренно выслушивавшим ее указания, и, как можно было понять, возил на дачу ее детей, с дачи ее маму, хотя был, как совершенно случайно выяснилось, кандидатом физико-математических наук. И коли шофер был здесь, то и она, очевидно, шастала где-то по начальству на верхних этажах или пила кофе в баре, *беседуя*, что могло длиться часами.

Валандаясь без дела по редакции Газеты, я заглядывал с часовыми промежутками в ее кабинет и неизменно заставал под креслом подошвами враспырку штиблеты смещенного главного редактора — штиблеты баксов так за девятьсот, его согбенную, будто в тяжком раздумье, спину, обтянутую пиджаком, тянущим долларов эдак на тысячу двести, его лысину, обрамленную жестким черным волосом, не тронутым сединой, — отчего бы ему было сидеть; а за его плечом мерцал экран монитора, в который он не отрываясь тупо глядел. На экране красовалась одна и та же картинка, скажем, «меню» очередного субботнего номера, и что этот дурень на ней разглядывал часами — неведомо.

Поначалу я грешным делом решил, что у него с Асановой односторонний и страстный роман. Однако потом сообразил, что они, видно, вместе что-то «варят», вступив в сговор, но смысл интриги мне был, разумеется, недоступен, против кого и за что они дружили, со стороны было никак не понять. Но это было так: Асанова, мощно всплывая все вверх и вверх, наступала то на одну спину, то на другую голову, и эти свои интриги называла неизменно «проектами»: одним из них — удачным, как видим — и был «субботный».

Ну да это черт бы с ним, оставь она меня в покое. Но неожиданно изменились «условия контракта», причем в сторону для меня наименее приятную.

«Портрет» всегда планировался на последнюю субботу месяца. Но Асанова вдруг выдвинула требование, чтобы я предоставлял ей готовый материал уже на исходе второй недели. Потом начиналось самое изнурительное: все последующие дни проходили в нудных и сумбурных с ней спорах по поводу тех или иных моих оценок. Ее все время отвлекали, она выбегала, мы начинали сначала, потом звонил телефон, и она опять забывала, о чем речь. Так продолжалось до поздней ночи, она, кстати, никуда не торопилась, пока я наконец не выдерживал и просил перенести собеседование на завтра... Насчет какого ни возьми отечественного автора у нее было свое особое литературоведческое мнение. Она, конечно, с ужимками играя в скромность, приседала в реверансах и уверяла, что она лишь частное лицо, читательница и профан, но это, разумеется, лишь по привычке к кокетству. Мягко стеля, она бывала совершенно безапелляционна.

Чаще всего она порола откровенную чушь. Но иногда вдруг высказывала мнение, хоть и явственно дилетантское, но не общее, не лишненное оттенка неожиданности, что при уровне ее информированности в вопросах словесности и при полном отсутствии какого-либо литературного навыка было довольно удивительно. Я долго бился над тем, что сей сон означает, пока однажды не подслушал случайно, находясь у нее в кабинете, ее телефонный разговор с граж-

данским мужем. Меня она совершенно не стеснялась — как обслугу. И вот среди любовных междометий и указаний, что ему кушать и как писать, она вдруг смиренно сказала: «Ты так думаешь?.. Да-да, я обязательно это прочту! Хорошо, Макарушка...» И вдруг поймала мой внимательный взгляд и на секунду, буквально на мгновение, запнулась.

Значит, Макарушка. Это он был мозговым центром их семьи. А когда в одном из субботних номеров я обнаружил его пространную статью о Дебюсси, написанную с потугами на неожиданность стиля и небуквальность соображений, мне все стало ясно: Макарушка, даром что музыкант, был графоманом. А поскольку, как всякий универсальный гений, он, по-видимому, был домашний тиран и всякой бочке затычка, то и до меня долетали заряды его литературных пристрастий и мнений. А то, что я смел чаще всего с ними не соглашаться, Асанову, как я, увы, не сразу понял, крайне раздражало. Причем до такой степени, что ей, кажется, рано или поздно стали противны один мой вид и звук моего голоса, которые повергали ее в дрожь и нервическое курение «Кэмэла» одну сигарету за другой.

Я вспомнил рассказ Сандро о несчастной стажерке, Асановой изгнанной. Выходило, что в некотором смысле я оказался в положении этой девчушки, и теперь уже от меня Асанова защищала Макарушку своей маленькой грудью.

Мало-помалу и она стала меня выводить из себя. Почему я, сочинитель с некоторым стажем, сам себе голова, должен был выслушивать что ни день ее ахиною, транслирующую к тому же сивый бред неведомого мне дирижера Макарушки? А потом, страдая, как от сверления зуба, присутствовать при том, что она правит мой текст своей изящной, но, увы, абсолютно не приспособленной к литературному делу ручкой... К тому ж оказалось, что свободного времени у меня как не было, так и нет. Опять я должен был чуть не ежедневно таскаться на «Водный стадион» — киселя хлебать. И, заметьте, за сумму-то мизерную по сравнению с моим былым жалованьем...

Теперь, когда Асанова «вела субботу», рубрика Сандро тоже оказалась в ее ведении. Но с ним-то как раз Асанова жила душа в душу. Сандро по этому поводу обронил как-то:

— Я не такой болван, чтобы с ней спорить. Хотя бы потому, что, когда с ней соглашаешься, из нее можно веревки вить.

Он откровенно валял с ней ваньку, прикидываясь донельзя простодушным рубахой-парнем. Эта швейкова тактика приносила плоды — действительно, в своей светской хронике ему чаще всего не приходилось менять ни слова. Кто знает, ей, на дух не переносившей женщин, подобно тому как Иннокентий не терпел мужчин, — с Настей Мёд, скажем, по четвергам она вела долгие и тяжкие позиционные бои, — Сандро в отличие от меня представлялся, должно быть, образцом мужественности, бесхитростно высеченным из одного твердого куска. Доходило до того, что я делал поползновение подключить Сандро к нашим с Асановой бесконечным и бесплодным дискуссиям в качестве арбитра. Но из этого ничего не вышло: Сандро не то чтобы отказался прямо, но, как человек, у которого просят денег в долг, делал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Короче, было ясно, что и на этом поприще в Газете совсем скоро моя песенка будет спета. Этому помогло, кажется, и еще одно неожиданное обстоятельство.

2

В какой-то момент показалось, что мне пофартило: мне предложили в Газете новую непыльную, хоть и с душком, работенку, пусть временную, но с превосходным гонораром. Дело в том, что приближались Выборы. И — здесь, по-видимому, не обошлось без крупных влияний какого-нибудь заинтересованного в проигрыше коммунистов банка, а то и группы банков — внутри Газеты силами ее сотрудников готовились приступить к экстренному выпуску агитационной газетки под довольно странным названием «Черт, возьми!». Черт

должен был взять коммунистов, имелось в виду. И у начальства родилась несчастная идея привлечь к этому делу Писателя. И, чтоб далеко не ходить, выбор пал на меня.

Задача передо мной была поставлена такая: я должен был сочинять «письма простых читателей», якобы пришедшие в редакцию Газеты, в которых они с ужасом и отвращением говорят о возможном коммунистическом реванше. Моральный аспект задания меня поначалу не слишком смутил. Я вспомнил, как в свою далекую бытность в «Юном природоведе» тоже сочинял «читательские письма» — исключительно из-за гонорара. Это было удобно вот в каком отношении: я писал заметку на произвольную биологическую тему, скажем, о размножении первичнополостных червей или о наскальных художествах зинджантропов, а мотивом ее появления в журнале становился мнимый вопрос мнимого читателя Петра Сидорова из села Колобовки Вологодской области... Настораживало другое: никакие «простые читатели» никогда никаких писем в Газету не писали. Разъяренный бизнесмен, правда, мог изредка апеллировать к редакции с протестом против воспевания конкурента за его счет, но, как правило, по телефону и через своего пресс-секретаря... Ну да начальству виднее. И я в один присест накопил несколько «писем». Самым жалостливым, кажется, вышло слезное послание некоей вдовы из Ростова-на-Дону, в котором она повествовала, что жизнь ее мужа была загублена в железнодорожном депо начальниками-коммунистами, не желавшими соблюдать технику безопасности; и теперь она умоляет оградить от той же участи ее сыновей. Отчасти это напоминало мой давний опыт советских времен по цинической попытке обслуживания сельских агитбригад, так что пришлось лишь вспомнить давние навыки...

Письма я «перебросил» и стал ждать. И вскоре был приглашен на *летучку*, на «кухню», так сказать, чего удостаивались, кажется, отнюдь не все сотрудники, и это был жест доверия ко мне со стороны руководства.

В тот день я впервые за год с лишним своей службы увидел одного из небожителей Газеты. Не помню уж, как точно именовался его пост в холдинге, но, кажется, в названии фигурировало слово «генеральный». Так или иначе уже сама его наружность весьма озадачила меня, и поразила ослепительная и порочная красота двух его секретарш.

Во-первых, у него была коса. В Газете до того я видел лишь одного мужчину с косой и с серьгой в левом ухе — длинного худого рирайтера, в свободное время прыгавшего с вышки с парашютом, и чаще всего под банкой, потом его уволили за профнепригодность в сочетании с наглостью, чудовищной даже на фоне хамоватых его коллег.

У «генерального» серьги, правда, не было, одна коса, схваченная у основания пестрой ленточкой. Но в дополнение к косе на нем были джинсы, а на ногах то, что называется *казаки*. Так что выглядел он вполне дискотечно, хотя ему было лет под сорок. Как бы оттеняя эту атрибутику, он носил знаменитую боярскую фамилию и демонстрировал хватку записного комсомольского функционера.

То, что услышал я на этой первой и последней моей *летучке*, тоже было довольно причудливо.

— Дозвонились до Шварценеггера? — спрашивал боярин какого-то идущего пятнами тридцатилетнего юношу, и я, клянусь, никогда не видел воочию, чтобы один человек так явственно боялся другого человека.

— Шварценеггер развелся, — отвечивал тот, дрожа.

— А до Паваротти? — наседал боярин.

— У него телефон не отвечает. Паваротти тоже развелся, — промолвил юноша замогильно, с таким трагическим выражением, будто был провинциальным родственником оставленной жены знаменитого тенора.

— И что, они теперь живут без телефонов? — с убийственной язвительностью осведомился комсомольский боярин.

— Но удалось связаться с Вероникой Кастро,— пробормотал сотрудник уже совершенно паническим шепотом.

— И что Кастро? — небрежно поинтересовался начальник.

— Ее референт сказал, что Вероника никогда не голосовала за коммунистов.

— Неплохо.

— Она вообще никогда ни за кого не голосовала.

— Так и напишите: никогда за коммунистов не голосовала. Кстати, о Кастро,— повернулся он к другому.— Найдите мне подходящий социальный параметр: скажем, на Кубе — самая высокая детская смертность...

— На Кубе самая низкая детская смертность в Латинской Америке,— пробормотал сотрудник извиняющимся тоном, натужно краснея, как если бы пытался достойно выжать непосильную штангу.

— Тогда другой параметр! — раздраженно бросил начальник и повернулся ко мне. Тут он позволил себе чуть ухмыльнуться, что могло сойти за приветливость.— Я прочитал ваши письма. Неплохо. Но жизнь оказалась сильнее вымысла. Нам удалось достать подборку подлинных писем в редакции «Крокодила». Пустим их колонкой справа по второй полосе. А вы,— он на секунду задумался,— вы не смогли бы составить нам антисоветский кроссворд?

Я не испытал шока и не упал в обморок. Я даже не удивился. Наслушавшись его, я был готов ко всему. По всей вероятности, он не понимал, что оскорбляет меня. Думаю, он вообще жил в каком-то ином, нарциссическом мире — мире нового буржуазного мифа, и уже сам Овидий не смог бы изъять его оттуда — хотя бы потому, что не знал по-скифски.

— Это не мой профиль,— сказал я сухо.— Я литератор, а не составитель крестословиц. Я могу идти?

— Конечно,— позволил боярин, небрежно кивнув и потеряв ко мне интерес.— Мы с вами свяжемся.

Стоит ли говорить, что после этого моего демарша никто больше со мной связываться не стал.

3

Как я позже узнал — совершенно случайно,— Сандро не предлагали сотрудничать в «Черт, возьми!». Но тогда он сказал мне:

— Я сразу же отказался участвовать в этой затее. Что ж за лишние пару штук пачкаться! Но тебе твой запоздалый отказ, не сомневайся, тоже пойдет в строку...

Быть может, он рисовался передо мной. А может быть, хотел подчеркнуть, сколь я — на его фоне — беспринципен и конформен.

Впрочем, не он завел этот разговор. Я сам принялся распинаться на ту тему, что Пушкин ненавидел и презирал Булгарина, помимо всего прочего, быть может, и за то, что тот издал, по сути, первую в России буржуазную «профессиональную» газету, как бы естественный продукт собственной подлости — «подлости» и в старом, и в нынешнем значениях слова. До того все российские периодические издания были вполне салонны, посвящены преимущественно изящной словесности, в крайнем случае сатире на политическую злобу дня, но непременно облеченной в литературную форму, и адресованы узкому дворянскому образованному кругу... Я говорил, что и вообще издание газеты — занятие вполне аморальное, род предательства и ренегатства, как раз для булгариных.

— Предательства чего? — иронически поинтересовался Сандро.— Призвания артиста? Интеллигентского сословия?

— Предательства судьбы,— красиво сказал я.

— Что ж, в пушкинские времена было еще далеко до *восстания масс*, — обронил Сандро, и, по сути, это было замечание на тему. Но кто бы мог подумать, что Коля Куликов читает Ортегу?

— Купцы и лавочники уже и тогда были, — возразил я. — И грамотные приказчики. И мелкие служащие. И гувернантки. И романтические горничные. А до появления «Северной пчелы» читать им было нечего. Пушкинский «Современник» у них не пошел, с базара они понесли Булгарина и Марлинского...

Мы сидели в подвальном баре нашего ЦДЛ, через стенку от бильярдной, и коротали время за кофе и, конечно, за «по сто водочки» — коротали время до Приема, на который Сандро вдруг решил пригласить меня с собой. Причем потребовал, чтобы я был одет «блэк тай», не в смокинг, конечно, но прилично и по-вечернему, и тут мне пригодились кое-что из гардероба, что некогда приобрел, поддавшись на уговоры жены.

Сандро давно грозился куда-нибудь меня отвести, но потом, на трезвую голову, к этой теме мы не возвращались. Хотя, не скрою, мне было любопытно взглянуть на нынешний бомонд — впрочем, у меня был период, когда меня приглашали на посольские приемы, и кое-какое представление о светских раутах я все-таки имел, но то было в далекие еще советские времена.

Подозреваю, Сандро несколько уязвляло, что я редко обсуждаю с ним его «хронику», и теперь он решил продемонстрировать мне как бы исток вдохновения, собственно тот материал, из которого, как из сора, рос его жанр, воистину стыда не ведая.

А между тем его хронику я почитывал. Это были целые полосные эссе, иначе не скажешь, в которых, подчас витиевато и с выдумкой, один светский сюжет наплывал на другой и перетекал в него, причем швы были мастерски спрятаны. И я подчас от души хохотал над вполне забавными переходами от сюжета к сюжету, анекдотами и остротами, особенно когда дело шло о знакомых прямо или косвенно мне лицах, преимущественно из *статусной*, что называется, богемы, — Сандро писал очень лихо, подчас не без своего рода не скажу изящества, но молодцеватости. Другое дело, что все это было весьма поверхностно и легковесно, однако *мило*.

Как-то Сандро обронил, что в Газете не понимают, какую он подводит под них мину. И что когда-нибудь он объединит избранные места из своих хроник, обрябит комментариями, и картина конца века в бывшей империи выйдет самая что ни на есть убийственная. Он выпустит книжку под названием «Сливки», где на светском фоне поместит портрет и самой Газеты. Подозреваю, в нем говорила жажда компенсации за свою в общем-то весьма подсобную в Газете роль. Я, чтобы рассмешить его, напомнил ему замечание Горького, что русский человек как ни посидит в тюрьме — так бросается писать мемуары... Сандро только мрачно ухмыльнулся.

Самое интересное, что у него была наготове и своего рода «философия жанра», и однажды он мне ее бегло изложил.

Суть сводилась к тому, что моделью для описания так называемой «светской жизни» может служить сказка о Винни Пухе, и это поначалу показалось мне просто не слишком умной шуткой: я, помнится, даже несколько удивился — у Сандро был прямой и очень *мужской* ум.

Но оказалось — дело было не так просто.

Он по полочкам разложил мне свою теорию. Сначала он говорил о единстве строго очерченного места и циклического времени, о сказочной условности «светского пространства», когда движение ограниченной группы персонажей осуществляется между несколькими десятками фиксированных точек: так сказать, между домом Пуха, норой Кролика и дуплом Совы. В принципе, говорил Сандро — на редкость для него вдохновенно — он берется составить своего рода карту столичного светского Леса. А заодно и путеводитель с досье на каждого персонажа. И я, помню, несколько удивился этой фундаментальности подхода к столь пустяковой материи.

Но это были лишь цветочки. Сандро был, как и положено литератору его типа, настоящий соглядатай. Он мог говорить отдельно о речи его персонажей; отдельно о светском сексуальном партнерстве внутри замкнутого круга — не просто как о племенном промискуитете, а как об утонченной форме латентно-

го инцеста; об инфантильном стремлении ничего не знать о внешнем мире, замкнувшись в своем мирке, но вместе с тем о потребности придать ему статус единственно подлинного; и, конечно, о характерологии. Мне это казалось чужью собачьей, однако Сандро явно болел всем этим.

Сейчас, сидя в баре, он вернулся к этой теме:

— Знаешь, Милн был все-таки гений, сам о том не подозревавший. Он очерпывающе описал все основные светские типы. Прочие — лишь комбинации базовых свойств. Сегодня, если угодно, я покажу тебе и Поросятку, и Кролика, и это будут известные всей стране люди...

— А Винни Пуха? — спросил я, чтобы поддержать разговор и пытаюсь отвлечься.

— В некотором смысле, — вполне серьезно сказал Сандро, — Винни Пух — это я. — И посмотрел на часы. — Пора!

Глава VII. СО СЛИВКАМИ

1

Прием в главном зале ресторана «Шанхай» устраивал закрытый столичный клуб «Гранит», покушавшийся продолжить традицию старинного масонского. В некоем *виртуальном*, как теперь принято выражаться, Совете клуба состояли в качестве почетных отцов-учредителей все современные российские мегаломаны: от главного мэра отчизны заодно с его придворным Челлини до главного виолончелиста мира с постановщиком основных национальных площадных шоу Мукачевым-Глазуновским. Реальным же организатором выступала публика пожиже: театральные актер-комик, сомнительной репутации продюсер шоу-бизнеса, эстрадный певец, не дотягивавший, впрочем, до размаха Кобзона, и безвестный президент какой-то сырьевой биржи по фамилии Иванов. Разумеется, в деле продолжения клубных традиций русских аристократов от Новикова до Горчакова этой публике были все карты в руки.

Основная же масса членов была куда как пестра. Размеры вступительного, равно как и ежегодного, взноса держались в строгой тайне, но всеведущий Сандро пояснил, что фиксированной суммы нет, берут по максимуму, сколько с кого можно состричь. Скажем, с известного красавца телеведущего и братья не станут, он нужен как приманка и подсадка, а с прибалтийского золотопромышленника из Сибири за удовольствие потолкаться среди столичных знаменитостей — по полной программе, до нескольких сотен тысяч баксов. Между этими пределами, от нуля до шести нулей, колеблются доли в «гранитовском» общаке и прочих членов: еще недавно бывших на плаву кремлевских и антикремлевских политиков, известных банкиров и предпринимателей, владельцев газет и каналов, шоу-звезд, западных бизнесменов и даже нескольких послов стран-«драконов»...

Мы прибыли вовремя, как было указано в приглашении, тютелька в тютельку, но зал гигантской фанзы уж наполнился и сверкал. Середина была расчищена, и фуршетные столы тянулись по обе стороны вдоль строгих рядов красных с золотыми драконами колонн, поддерживавших витиеватые расписные своды с загнутыми козырьками. Многие мужчины были в смокингах, дамы — в вечерних платьях, и бриллиантов хватило бы для средней руки распродажи «Де Бирс», а золота — на два приличных цыганских табора.

Впрочем, в обликах гостей царил разноряд. Мелькали и сям и там клетчатые пиджаки, какие англичане надевают для игры в гольф, кое-кто из дам был в мини, на иных были шелковые светлые косынки, обернутые вокруг шеи, и я заметил даже нескольких простоватого вида женщин в «сапогах» и одну в трауре.

Поведение гостей было довольно однотипным. Мужчины грудились у буфетных стоек, где брали, как фокусники, по несколько бокалов в руки — виски для себя, сладкое шампанское для дам; те же, в свою очередь, оттирая голыми

плечами товаров, тискались к столам и накладывали закуску на две тарелки, себе и спутнику: вперемежку копченые китайские яйца, ростбиф, салат из крабов, крылышко жареной куропатки, копченую колбаску, телятинку с хреном, чуть лососины, какого-нибудь заезжавшегося кальмара, фаршированный авокадо, грибную икру, заливной язык, морскую капусту, расстегай с визигой,— полив натюрморт горчичным соусом с каперсами и увенчав пучком маринованного тростника. Однако самое замечательное было в том, что, отоварившись, публика не отходила в сторонку, с тем чтобы уступить место другим клубным собратьям, но принималась здесь же жевать и пить, ставя свои тарелки прямо на край стола с коллективными закусками.

Становился понятен резон являться на прием загодя, за полчаса до срока, указанного в приглашении. Ибо нужно было успеть занять стратегические позиции. Сдвинуть окопавшегося нового аристократа родом откуда-нибудь с берегов Иртыша с отвоеванного им места у фуршетного стола уже никак не представлялось возможным. Члены элитного клуба стояли плотно, как ратники, плечо к плечу, банан не проскочит, спинами вовне, все что-то жуя, подкладывая и прихлебывая из стаканов, которыми предусмотрительно обставились, изредка только доставая из внутреннего кармана запянувшийся не ко времени сотовый телефон. Глядя на них, можно было подумать, что их только что сняли с китайской стены, где они с полмесяца несли караул в отсутствие полноценной пищи и цинандали.

Наконец, когда первый мучительный приступ голода был наспех утолен, по всему залу из многих динамиков, притуленных под потолком фанзы, раздались характерные микрофонные щелчки. За лязганьем зубов, стуком приборов о стекло, в многоголосом гуле комику, который вел собрание на правах сопредседателя, приходилось, однако, несмотря на радиофикацию, из себя вон лезть, чтобы быть услышанным. Я понял лишь, что после дежурных приветствий началась церемония вручения членских билетов вновь принятым.

Церемония длилась долго, ибо новых членов было десятка три. Каждый из них подходил к председателю, тот острил и вручал билет. Первым номером шла дама, и в микрофон была запущена какая-то дежурная шутка относительно того, что нынче и дамы могут быть членами мужского клуба,— дежурная потому, что голоса остряка не было слышно, но большинство с воодушевлением рассмеялось. Дама оказалась главным тренером сборной страны по женскому синхронному плаванию. За ней последовали: президент алмазной ассоциации; бывший пресс-секретарь калмыцкого президента; американец, руководитель проекта инвестиций в мясоперерабатывающую промышленность по имени Джо-зеф Кога́н, говоривший по-русски с одесским акцентом; владелец музыкальной радиостанции в дециметровом диапазоне «Золотой снег»; адвокат, только что выигравший в межмуниципальном суде громкий процесс по защите чести и достоинства одного известного политического функционера у газеты «Комсомольские Химки» (сам обладатель достоинства и чести блистательно отсутствовал); редактор нового журнала, посвященного фристайлу; топ-модель из агентства «Красные звезды»; и даже один бывший российский министр то ли печати, то ли экономики.

2

Сандро к столу пробиваться не стал, мы взяли с ним в баре по полстакана виски со льдом и наблюдали, стоя в сторонке. При этом Сандро все время с кем-то раскланивался, то и дело отбегал, чтобы подойти к дамской ручке, потом возвращался и возбужденно говорил, что и такой-то здесь, и такой-то, при этом употреблял уменьшительные имена. Вообще держался он как свой, но, зная его, я-то видел, как Сандро все больше начинал походить на гончую, которую привели на опушку этого светского леса и вот-вот спустят с поводка. Только что слюна не капала из пасти.

Из любимых своих персонажей первым делом он показал мне Поросенка. Им оказался знаменитый прозаик, пишущий и стихи на случай, в нашейном

шелковым платке под белой рубашкой с широченным воротником и в пиджаке элегантного твида.

— Не пропускает ни одного мало-мальски стоящего приема,— шептал Сандро.— Член всех клубов и ассоциаций. Лауреат всех премий. Всмотрись: типичный психастеник, реалистический интроверт, но тревожно неуверенный. Укрывается в настоящем, потому что боится будущего. Стыдится, впрочем, своей трусоватости, потому хочет быть значительным в глазах окружающих. То есть склонен к гиперкомпенсации, отсюда страсть к публичности, произнесение спичей по всякому поводу при всяком удобном случае. Стыдится своей боязни «больших животных», поэтому иногда склонен к неожиданно смелым демаршам...

И я вынужден был согласиться, что в этом портрете что-то есть, поскольку был некогда шапочно знаком с самим оригиналом. Да и внешне прозаик был чуть кругловат и глазки имел маленькие, добрые.

— Смотри,— толкнул меня Сандро опять, не прошло и минуты,— а вот и дядюшка Кролик.

По проходу шествовал подагрический седой господин с вельможной полуулыбкой на породистом и глуповатом лице. Он придерживал под локоток пожилую даму, явственно бывшую весьма пригожей в давней своей молодости.

— Почему Кролик? И чей дядюшка?

— Родной дядюшка нашего с тобой хозяина.

— Да ну! И кто же он?

— Издатель.

— И что же он издает?

— В том-то и штука, что ничего не издает,— отвечал Сандро, держа нос по ветру, как лайка с хорошим верхним нюхом.

— То есть как — ничего?

— А зачем ему издавать? У него есть одноименный с издательством банк, и деньги ходят по кругу — туда-сюда, туда-сюда.

— И что же?

— И этого достаточно. Но он приезжает рано утром в свой офис и редактирует.

— Что редактирует? — не унимался я, перестав что-либо понимать.

— Правит рукописи.

— Но зачем?

— Любит свою работу. Вообще-то он редкостный самодур. Со всеми кроличьими чертами: авторитарен, лишен какого-либо намека на артистизм, организатор-маньяк, лжив, пуст, единственная цель — кем-нибудь руководить; но и это у него плохо выходит, поскольку он не знает людей и чаще всего промахивается, недооценивая окружающих и партнеров. Приличные люди от него бегут как от чумы, поэтому он, как всякий тиран, окружает себя какими-то уродами и карлицами, шутами и полоумными, которым некуда больше податься...

— Да ты физиономист! — восхитился я, попутно отметив про себя, что оценка Сандро была чересчур эмоциональна для естествоиспытателя в светском лесу.

— Немного,— скромно кивнул Сандро.— Но не в данном случае. Просто я давно с ним знаком. Когда-то даже работал на него «негром». Написал ему брошюру. Про трамвай.

— Про что? — поперхнулся я виски.

— Он при коммунистах служил под крышей одной из центральных газет в Праге. И много писал о трамвайной промышленности братской страны. Вжил-ся в тему и стал трамваеведом, так сказать. А заделавшись при Горбачеве издателем, заказал мне брошюру к столетию изобретения трамвая на основе своих газетных статей... Мне тогда позарез были нужны деньги, а дареной кобыле в жопу не смотрят,— закончил Сандро в своей несколько натужно-простонародной манере, бросил «жди здесь» и устремился в кучу малу у фуршетных столов.

Я наблюдал за происходящим с несколько тоскливым чувством человека, попавшего на чужие именины, как вдруг ко мне обратился невысокий господин в золотых очках, седлавших довольно основательный для его габаритов нос, господин до странности знакомой наружности.

— Вы меня не узнаете? — спросил он с небрежной улыбкой.

Тут меня осенило. Одно время он был каким-то экономическим министром в одном из быстро менявшихся наших правительств, а нынче возглавлял один из самых известных коммерческих банков.

— Как же, — сказал я, — я вас много раз видел по телевизору.

— Да нет же! — поморщился банкир. — Мы с вами учились в одной школе. Только я двумя годами младше.

И тут меня осенило. Я действительно вспомнил смешного недомерка с большим носом и уже тогда в очках. Но я был старшеклассником, а он — классе в седьмом, и потому, разумеется, *водиться* мы никак не могли.

— Читаю вас в Газете, — процедил он еще более небрежно через оттопыренную губу. — Бывает занято... — И, протянув мне визитную карточку, взял под руку жену — она успела подарить мне светскую натужную улыбку — и прошествовал дальше, не попрощавшись. Тут я заметил, что рядом со мною стоит невеста как материализовавшийся Сандро.

— Было любопытно, Кирюха, наблюдать вас рядом, — сказал он каким-то незнакомым неверным голосом. И я понял, что на него мое нежданное знакомство произвело сильное впечатление. — Ты мог бы представить меня.

— Что ты, мы и незнакомы вовсе. Так, учились когда-то в одной школе...

— Ты должен был представить меня! — сказал Сандро с нажимом. И потом задумчиво: — Кажется, этот ближе всего к Иа-Иа.

Я вдруг отчетливо понял, что Сандро не совсем в себе. По-видимому, эта самая светская жизнь контузила его. К тому же я заметил странную вещь: чем больше Сандро шаркал по залу туда-сюда, тем более танцующей становилась его походка. В нем, таком всегда элегантном, но вполне мужественном, замаячило, мне показалось, словно что-то женское.

Тут к Сандро подбежал запыхавшийся фотограф из Газеты, едва таща, казалось, свой огромный кофр.

— Коля, везде тебя ищут! — крикнул он. — Ну кого снимать, показывай!

Дело в том, что Сандро обычно брал на разнообразные светские рауты ко-го-то из фотографов Газеты, а потом сам отбирал фотографии для своей полосы. Причем от работы фотографов во многом зависел успех его рубрики, так что он с ними много общался, а иногда даже в ожидании, когда ему сделают нужные отпечатки, сидел у них в помещении и играл в нарды.

Так что не было ничего странного в том, что молодой фотограф обратился к нему за указаниями. Но лицо Сандро перекошилось. Мне даже на миг показалось, что он готов ударить фотографа, так он был зол.

— Я не для того здесь, чтобы давать вам уроки! — раздельно проговорил он сквозь зубы, на фотографа не глядя. — Вам платят за то, чтобы вы работали. Работали, ясно? Профессионально работали.

— Да я ничего, я только... — И фотограф попятился.

Едва сдерживая ярость, Сандро прошипел:

— Вот и отвали!

Фотограф отшатнулся. Он явно не понимал, что стряслось с Сандро, столь демократичным в стенах редакции. Быть может, он был новичок, впервые вышедший с Сандро на светскую работу, но я-то очень хорошо все понял. Ясно было, что Сандро никак не хотел, чтобы вся эта лошадья публики считала его репортером. Он во что бы то ни стало хотел быть своим на этой ярмарке тщеславия. Модным писателем, которого знают в лицо сильные мира сего. Ведь он — денди, макарони и мачо, а вовсе не папарацци — и сам бы вполне мог быть одним из героев светской хроники. Да что там «одним из» — центральным героем, недаром же он называл себя Винни Пухом. И, чем черт не шутит, при всем своем уме, может быть, он искренне полагал, что вся эта сугубо разночинная

публика действительно представляет собой элиту и нынешнюю аристократию. Впрочем, так ведь оно и было в известном смысле. Ибо восстание масс уже давно случилось, и, кажется, это необратимо, не так ли?

3

Тут официанты-китайцы в белых перчатках принялись разносить кто напитки, кто какие-то пряные финтифлюшки, непонятно из чего сделанные. Шорохи пошли по залу, мигнул свет, вспыхнули разноцветные лазерные лучи, побежали по потолку фанзы какие-то цветные точки и пятна, сделавшие и без того фантастический зал еще более призрачным. Лучи сбежались к центру, потом сдвинулись к краю ресторанного пространства, и в метрах полутора над полом возникла фигура дамы, облаченной в прозрачную мерцающую чешую. Кажется, это была женщина-змея.

Я тянул уж третью порцию виски, и мне стало жарко. Сандро опять исчез куда-то. Лица банкиров и президентов бирж, редакторов и телезвезд повернулись наконец от столов. Меня кто-то больно пхнул под ребро. Я обернулся: это была крашенная красавица с янтарной булавкой в копне ярко-медных волос — и тоже в чем-то переливающимся; она сверкнула золотой фиксой и прошипела:

— Не понимаешь, что ль, фэнлю,— загораживаешь!

Я воспринял упрек как должное, успев отчасти освоиться с нравами китайского элитарного клуба. И деликатно подвинулся.

Меж тем женщина-змея извивалась под какую-то психоделическую музыку. Самое поразительное в этом номере было то, что, будучи и так практически обнаженной, она ухитрялась и еще раздеваться.

Сандро опять оказался рядом. Он жарко шептал, в который раз будто отвечая на мои не высказанные вслух соображения:

— Ты думаешь, вот тот, лысый, политолог, член, председатель и прочее в таком духе,— ты думаешь, он доволен своим положением в обществе? Он, который и так вскарабкался на самый верх, имеет счет в Швейцарии и не вылезает из телевизора? О нет, он недоволен, он всерьез считает, что достоин большего, много большего, что достоин Кремля. Ведь он умнее, тоньше, образованнее тех, кто над ним, и он хочет жить не в Баковке, а в Барвихе. Но он навсегда останется только интеллектуальной обслугой, и это он тоже понимает. Навсегда — понимаешь, как это для него безнадежно звучит? А этот твой банкир. Он что, считает, будто ему вот здесь самое место? Среди всего этого светского сброда...— Я отметил интонацию Сандро, совсем есенинскую.— Среди вчерашних политиканов второго сорта, актеров эстрады вчерашнего дня и телеведущих, которых в любой момент могут выгнать из эфира и выставить на улицу под зад коленом, потому что они никто, лишь нанятые по случаю работники, хоть и мнят себя, конечно, незаменимыми звездами, обожаемыми народом. Черт с ними! Так вот, твой банкир полагает, что место ему, конечно же, никак не здесь, место ему — в клубе сильных мира сего, мира, а не его задворок и окраин. Но вот беда — в Давос его не приглашают, он туда не допущен, а банк его лишь в России может считаться приличным. Он-то, почти европеец, понимает, что в глазах реального мира, а знает он это не понаслышке, он владеет-то самым что ни на есть копеечным банчиком и что цена ему по мировым меркам — грош, и только в нашем захолустье он может блеснуть, раскошелиться на гастроли какой-нибудь пенсионерки вроде Дайяны Росс. Он понимает это — и какво ему жить! А Кролик, Кролик-то, наш дядюшка Кролик,— захлебывался Сандро,— ты думаешь, он простит судьбе и миру, что его однажды очень грубо взяли за шкуру и спустили с властной лестницы, когда он уж губу раскатал и почти заделался министром печати? Ох, никогда не забудет и не простит. А какво ему, владея всего-то вшивой издательской маркой, видеть, что его родной племянник, которого он некогда одним звонком отмазывал из ментовки, и тот теперь — хозяин Газеты, продав десяток акций которой, мож-

но купить и дядюшкин БМВ, и дядюшкину дачку в Пахре, да и самого дядюшку с потрохами...

— Что ж, все мы недовольны собой и судьбой,— сказал я, уже почувствовав себя в этой атмосфере адептом сразу всех Трех Учений.— И те, о ком ты говоришь, они ведь не идут тропой бодисатв. Натура непосвященного всегда одна: у кого риса в супе мало, у кого жемчуг мелкий.

— Выпей лучше,— сунул мне стакан Сандро, ловко выхватив его с подноса околачивавшегося неподалеку китайца,— буддист хренов.

Тут в воздухе над головами собравшихся поплыли будто деревянные рыбы, и, казалось, по ним можно было постучать. Еще хлебнув неразбавленного виски, я почувствовал себя ушедшим из семьи. Мне ласково подмигнула черноволосяя китаянка, скорее всего девушка луны и ветра, что сидела у голубого глазурного водопада, неподвижно струящегося с черной лаковой скалы на потолке. И, кажется, вежливо поклонилась, сложив ладошки на груди. Что ж, я, человек ветра и потока, тоже страстно жажду быть членом китайского элитарного клуба. Здесь так хорошо и бесплатно кормят, демонстрируя притом танец живота. Здесь поят виски сначала со льдом, потом безо льда, и, кажется, здесь всегда весна. Здесь чиньхуа, если сказать по-китайски. Я хочу быть одним из этих милых, утонченных людей. Я буду покладист. Я припаду к ручке той шипящей дамы с золотом во рту и согласен составить антисоветский кроссворд для «Черт, возьми!». Я буду голосовать в едином демократическом порыве за всевластного императора нашей здешней Поднебесной. А скажут — только поприветствую Смену Треножника. Лишь бы вручили мне членский билет. Вручили бы в торжественной и галантной китайской обстановке. И приняли, и приняли к себе. Я тоже хочу — со сливками...

4

Я нашел себя сидящим в кресле в незнакомой полутемной, освещенной лишь двумя свечами комнате. Передо мной на журнальном столе стояла початая бутылка «Bells», а подняв глаза, я обнаружил и Сандро. Он сидел напротив, медленно водил указательным пальцем правой руки по внешней окружности бокала, который держал в левой, и не растаявший лед внутри стекла чуть колыхался и позвякивал. Он не смотрел в мою сторону. Но почувствовал, что я очутился.

— Что, оклемался? — сказал он бесцветно.— Тогда выпей.

Я посмотрел на часы — было около трех. Ночи, по всей видимости.

— И ты готов слушать? — произнес Сандро тихим голосом с несколько зловещей интонацией.

Мне стало смешно, я вспомнил Сандро в роли китайского Винни Пуха.

— Да, Винни,— сказал я и икнул.— Весь внимание.

— Выпей,— настойчиво повторил Сандро.— Есть содовая.

Он, как я лишь теперь рассмотрел, был в малиновом с темно-синим подбоем, такими же отворотами и обшлагами шелковом кабинетном халате, распахнутом на груди, странно безволосой, на которой мерцал латунный крестильный крест на золотой цепочке. В воздухе попахивало благовониями — не иначе китайскими.

— Широкие трусы,— сказал я, беря в руки бутылку «Bells» и припомнив, что это слово означает на сленге.

— Ты дерьмо,— сказал Сандро.

Мне понравилась эта шутка, я опять рассмеялся, отхлебнул виски и запил содовой. Голова чуть прояснилась.

— Вы все дерьмо. Тяжелые, в тине, души — вот вы кто. Вы предали фаустовский принцип отношения к миру.

Ого, Коля Куликов шпарит по Шпенглеру.

— Ты тоже дерьмо,— с готовностью сообщил я ему.— Ты тоже предал фаустовский принцип.

— А вот это неверно,— возразил Сандро.— Это ты всегда полагал, что я такое же дерьмо, как вы все. А вот о том, что ты сам настоящее дерьмо, ты, кажется, и не догадывался.

Я вдруг понял, что он, что называется, *в дым* пьян. В лоскуты, если угодно. Мы все пьянеем по-разному, а я впервые видел Сандро в таком состоянии. Потому и не сразу разобрался что к чему. Он был, что называется, *стеклянно* пьян. До внутреннего звона и побелевших, почти закотившихся глаз. Но при отлично сохранившейся дикции.

— Знаешь,— сказал я как можно увещательнее,— есть такое наше русское ругательство: чтоб тебе пусто было! Страшное. Хуже всякой матери. Так вот, я всегда этого боялся, но мне — постучу по дереву, где у тебя здесь дерево,— мне никогда не бывало пусто... А ведь даже быть наполненным дерьмом — всё лучше, чем быть пустым...

— Перекрестись,— сказал Сандро с интонацией.

— Я неверующий.— Я, кажется, снова икнул.— Послушай, Коля, как я сюда попал?

— Дерьмо,— повторил Сандро.

Я еще глотнул.

— Позволь? — Я не сразу смог встать на ноги.

Он наблюдал за моими телодвижениями, сжав зубы и катая желваки. Я почувствовал на собственной бороде длинную висюлину слюны, которую пустил, видно, во сне, и смазал ее ладонью. И попытался улыбнуться.

— Когда найдешь сортир — ссы сидя. Иначе ты не попадешь и все вокруг уделаешь,— сказал Сандро.— Вы всегда все вокруг себя уделываете.

— Хоть лежа,— отвечивал я и, покачиваясь, направил стопы прочь из комнаты. Не знаю отчего, но у меня было самое игривое настроение. Так бывает в предчувствии драки.

У Сандро оказался *соединенный санузел*. Но не это меня удивило. Меня поразили небесной белизны махровые полотенца, развешанные в ванной, как будто это была не квартира московского богемца, а — трехзвездочный по крайней мере — европейский отель. И ни малейшего следа присутствия женщины: ни баночки дамского крема, ни заколочки. Правда, биде у Сандро не было — за неимением места, должно быть. Выйдя из сортира, я заглянул и на кухню. Там тоже царил стерильная аптекарская чистота.

— Слушай, старик,— начал было я, вернувшись в комнату,— отчего ты меня никогда не приглашал к себе в гости?..

И увидел, что Сандро стоит у зашторенного окна и наводит на меня револьвер. Мелькнула странная мысль, что Сандро, должно быть, что-то у меня украл. Он повел дулом пистолета и сказал:

— Сядь где сидел.

Я повиновался. И еще раз огляделся. Даже в полумраке было видно, что в этой почти пустой комнате тоже царит какой-то нежилой порядок. Даже раскрытой книжки, забытой не на месте, нигде не было видно. «Он меня убьет?» — спросил я сам себя.

— Вам приходит конец,— сказал Сандро.— Это-то хоть вы понимаете?

— Скорее всего,— согласился я, внимательно на него глядя.

Он был невероятно бледен. Его и без того маленькие глаза совсем сузились. Его серый бобрик стоял на голове как вздыбленный.

— Ты сказал, что я недоволен положением, которое занимаю.

Я сделал неопределенный протестующий жест; хотя я действительно думал об этом, наблюдая Сандро на приеме, но вслух этого не говорил. Впрочем, это сам он говорил, сколь всякий человек недоволен собой...

— Я доволен своим положением,— с нажимом сказал Сандро.— Мои слова ловят на лету. В субботу все эти холеные суки будут лихорадочно листать Газету. И будут бояться, что найдут в светской хронике свое имя. А еще больше будут бояться, что не найдут.— Он покачнулся.

— Думаю, это так.

— Ты вообще за кого меня принимаешь, интеллигент хренов? За такого же, как ты сам? Ты хоть задумывался о том, что Иисус Христос не был интеллигентом?

Такая постановка вопроса мне действительно никогда не приходила в голову.

— И я не интеллигент. Ты с потрохами принадлежишь своему классу, а у меня нет родни. И мои родители были люди иной, чем я, породы, и тоже были дерьмо. Правда, другое, чем вы. Иного вида, если угодно. Потому что есть родство более важное, чем по крови,— родство по духу. А по духу я принадлежу героям и самураям, людям чести, победы и атаки.

Скорее всего он говорил о своем плебейском происхождении. Ведь вырос он, наверное, на задворках, в каком-нибудь рабочем поселке, в бараке среди голубятен, дровяных сараев, сушащегося на веревках бедного белья, «городков» и пьяных драк. И «атаки» для него — это завоевание Москвы, что ж, он ее завоевал в известном смысле, честь ему и хвала.

— Ты всю свою жизнь вдыхал лишь запахи кабинетной пыли и книжек в библиотеке. А я сын офицера. Я вырос среди казарм и оружия.— И Сандро, видно, забывшись, нажал на курок своего револьвера. На конце ствола вспыхнул язычок пламени, и он прикурил от него.

— Это романтично,— сказал я, живо представив себе всю одурь и хмурь заштатного какого-нибудь военного городка.

— Что вы понимаете в романтике? Вы думаете, что познание, творчество — что там еще — и есть фундаментальные свойства человека, фаусты вы для бедных. Агрессия, здоровая агрессия — вот основа человеческого существа. Вот основа романтики договора с самим злом...

— А кто это — **вы?** — спросил я.

— Вы все, с вашими либеральными газетенками и высоколобой чушью, демократы, ё...— Он, видно, забыл, что и сам вот уж года три служит в самой либеральной в стране Газете. И мне пришло в голову, что, по-видимому, его агрессия замешана на предательстве — впрочем, всякая агрессия начинается с вероломства.— Нам, героям, нужны развевающиеся знамена, факельные шествия, единство и громкие марши. Мы люди несгибаемой воли...

— Знаешь...— начал было я, но не успел договорить. Я хотел бы сказать ему, что мне наплевать на его несгибаемый дух самурая из поселкового барака, на его героизм, замешанный на опыте уличных драк. Что сам я в любом случае буду на стороне тех, кого убивают. На своей стороне, если угодно. Но что это отнюдь не означает, будто я позволю себя убить просто так. И что у нас тоже кое-что есть в запасе. Но Сандро как-то покосился, потом подломился и почти ничком, лишь придерживавшись за занавеску, которая треснула и тоже поползла вниз, рухнул на пол. Только тут я рассмотрел, что паркет в его комнате был выкрашен темно-зеленой краской.

Глава VIII. ПАДЕНИЕ

1

Когда живешь набекрень, так и хочется думать, что это не ты один спотыкаешься и выбиваешься из колеи, но всё, что ни есть вокруг, к концу тысячелетия сходит с оси. Для того чтобы уверить себя в этом, у каждого неудачника всегда найдется сколько угодно поводов — только успевай оглядываться. Вот и мне окружающая жизнь с удивительной предупредительностью подбрасывала подобные утешительные факты: мол, что ж тебе сетовать на судьбу, коль и весь мир неврастеничен и сорвался с цепи. Конечно, не о чудовищности нынешней жизни хоть на Востоке, хоть на Западе я говорю, не о густом облаке насилия, глупости и ренегатства — о частностях. Скажем, я узнал, что тот самый тишайший кандидат наук, что возил Асанову на редакционном автомобиле, выбросился из окна. От любви ли, из-за долгов или от усталости жить — кто знает, но

только теперь доставлял асановское семейство на дачу и привозил оттуда совсем другой шофер. Или вот еще: Иннокентий бросил свою милую жену-гобистку вместе с маленьким сыном-гобистом, тоже косоглазеньким, в отца, и ушел-таки к худой грузинке, писавшей о балете, той самой, которой я не так давно делал нежные предложения, — и она мгновенно уволилась из Газеты. И все бы ничего, у одного моего знакомого поэта было девять жен, правда, последнюю он оставил вдовой, причем самым экстравагантным способом, угодив под колеса обыкновенной хлебовозки, вот только грузинский муж, тоже из культурологов, когда понял, что брошен окончательно и навсегда, умер от сердечного приступа на улице, когда гулял с оставленным же американским кокерспаниелем. Наконец, того самого пьяненького моего соседа, что *прорабатывал* советских классиков, жена посадила в тюрьму за то, что он ее поколачивал, и, кажется, выписала из квартиры.

Ну да это все натуры демонические — что Асанова, что супруга моего дворового алкоголика, что любвеобильный поэт, что Иннокентий. Но даже с такой понятливой, такой спокойной всегда моей женой после той памятной ночи, проведенной мною в квартире Сандро, произошла неприятнейшая метаморфоза. Я ведь не позвонил ей тогда, что не приду ночевать. У меня просто не было навыка звонить домой вечером, поскольку вот уж два десятка лет, коли я был в Москве, я безукоризненно ночевал только у себя дома. То есть я *забыл* ей позвонить. Что означает, конечно, лишь одно: я перестал думать о семье так же неотступно, как думал прежде. Виноват ли в этом стресс, виноват ли алкоголь, но это был, что называется, фактический факт, и, конечно же, жена не могла этого не почувствовать. Поэтому когда она вошла ко мне в кабинет, то, не обронив даже «доброе утро», тихо спросила:

— И где же ты был?

— Я... у Сандро... заболтались... нет, ты не думай...

— Я не думаю, — вставила жена.

—...Поначалу мы были в «Шанхае», на светском рауте, а уж потом... там, понимаешь, было собрание элитарного китайского клуба... ну а потом...

Говорил я неубедительно, понимаю. Но не потому ведь, что я лгал, вы знаете, а потому лишь, что с перепою язык не слушался меня, к тому ж я не мог собраться с мыслями. Ведь не было еще и десяти, и спал я, кажется, от силы часа три.

Впрочем, жена и не слушала моих невнятных объяснений.

— *Мне совершенно все равно, где ты ночуешь,* — внятно произнесла она несусветную фразу, оборвав меня на полуслове, фразу, еще год назад в нашем доме совершенно невозможную. И добавила, как добавляют в таких случаях все оскорбленные жены и отчаявшиеся родители великовозрастных детей: — Прошу лишь впредь своевременно ставить меня в известность, коли ты не собираешься явиться домой.

Это было сказано презрительно. Но я не обиделся. Мне было жаль ее, так меня любящую. Мне слышались в ее словах одна лишь нежность и просьба одуматься. Конечно, она любит меня и понимает, как никто, и знает, что я никак не мог, скажем, ей изменить. А поведение мое в последнее время и впрямь было ужасным, и я, конечно же, провинился.

— Прости меня, — пробормотал я самым трогательным тоном, на какой был способен в этих обстоятельствах, и потянулся с кушетки погладить ее по волосам. Ожидая, естественно, что она нагнется ко мне и положит голову мне на плечо.

— Не дотрагивайся до меня! — вдруг крикнула она неприятным, незнакомым голосом. Она, которая никогда не кричала.

— Ты что, русского языка не понимаешь? — завопил и я, с трудом приняв вертикальное положение. — Я же тебе говорю русским языком... мы с Сандро... в «Шанхае»... а потом...

— Я понимаю русский язык, — сказала жена с нажимом. — Вот только тебе не узнаю.

И тут меня понесло. Я орал, что пошел служить в Газету, наступив на горло собственной песне, только ради семьи. И все, что я делаю, я делаю только для них, для жены и дочери, а самому мне ничего не нужно. Что я мог бы жить в скиту, в вечном посте, лишь бы мне дали возможность писать, писать то, что я хочу и что должен написать. И что мне нужна лишь моя пишущая машинка... Увы, я и сам понимал, как слабо и неубедительно все это звучит, только скандально.

По мере собственного крика я непроизвольно сползал с тона обличительного — в просительный, но никакого сострадания не было в ее лице. Она лишь выразительно пощелкала ногтем указательного пальца по горлышку бутылки водки — да-да, теперь я пил только водку, потому что денег на бурбон у меня больше не стало, — откупоренную бутылку, стоявшую отчего-то на столике рядом с кушеткой, видно, я прикладывался к ней, когда ввалился домой. И заметила:

— Какой же в этом подвиг — зарабатывать деньги, чтобы кормить семью? А вот другое я вижу — вчера этой бутылки здесь не было. Ты что, пьешь уже с раннего утра?

И вышла, прикрыв за собой дверь.

Тут мне стало совсем плохо, и я полез за сердечными каплями. Надо заметить, что в моем кабинете и до этого утра время от времени стало припахивать корвалолом, и я, тайно страшась, что от меня самого теперь разит лекарствами и стариком, принимал ванну по десяти заходов на дню, как утка. Но на сей раз это было какое-то новое чувство: не просто похмелье, слабость, тошнота и теснение в груди. Был резкий прилив крови к голове, наверное, скачок давления, и я со страхом подумал, что вот так хватает людей апоплексический удар. Я представил себя парализованным, в кресле на колесах, гундосившим что-то олигофренически невнятное. Я представил себе, что правая моя рука отнялась, — она тут же и впрямь онемела. Я представил себе не без мстительности, как вывозит жена, тужась, мое тяжелое кресло со мною внутри на балкон, чтобы я мог *погулять*, — ведь это она сама была во многом виновата. Но в то же время сообразил, что если подобные мысли хоть раз приходили в голову ей самой, то она вправе говорить мне все что угодно.

2

В тот день, когда произошло у нас с ней решительное объяснение, Асанова была со мною восхитительно мила. Она вопреки заведенному ею же обычаю не стала с места в карьер пускаться в обсуждение моего очередного опуса, но предложила, как некогда, грушу — свежие фрукты по-прежнему всегда стояли у нее на столе. Поскольку она давно не предлагала мне груш, я насторожился, вежливо поблагодарил и отказался.

Тогда она сказала:

— Мне обидно, Кирилл, что я не могу вам платить тех денег, что вы по всем меркам заслуживаете. — Тут она сделала паузу и подцепила-таки грушу за хвост лакированными коготками. Поскольку я не сделал никакого движения груше навстречу, она положила фрукт на стол прямо передо мной.

Груша была аппетитная, желтая с малиновым подпалом. И, даже не наклоняясь, можно было расслышать ее аромат.

— Или, может быть, винограда? — спросила Асанова участливо, как больного, но чужого ребенка.

— Спасибо, — упрямо повторил я.

— Но для вас в Газете есть и другая работа. Там вы будете получать вдвое больше. А ваша рубрика у меня в субботнем номере, конечно же, останется за вами, — добавила она торопливо. И все с самым невинным видом.

Я вдыхал грушевый аромат и ни на секунду ей не верил. Она превосходно умела лгать и притворяться, но меня ей теперь было трудно провести. Она хотела избавиться от меня. Возможно, эти самые «портреты» теперь будет сочинять Макарушка или еще кто-нибудь из ее многочисленных родственников.

— И какая же это работа? — спросил я безо всякого явного интереса. Впрочем, мне и впрямь было все равно.

— Вас приглашают в отдел рирайта, — сказала она.

И тут я все-таки удивился:

— Меня?!!

— Нет-нет, не простым рирайтером! — быстро и даже чуть испуганно воскликнула Асанова, опасаясь, видно, что я, человек явственно неуравновешенный и пьющий (мне уже не раз доносили, что Асанова удивляется: мол, он так много пьет, а все-таки неплохо пишет), сейчас брошу в нее грушей или запущу пепельницей. И понесла приличную случаю неискреннюю околесицу. Она делала комплименты моему стилю и *чувству слова* (что ж ты, сука такая, так безбожно меня кромсала, тоскливо думал я); она говорила, что от меня, конечно, потребуется не повседневная рутинная работа, а чтение и редакция только самых ответственных текстов (статей Насти Мёд, к примеру, ухмыльнулся я про себя); и что дама, которая приняла отдел из ее, Асановой, рук, просто умоляет ее, Асанову, уступить меня ей, поскольку ей необходим человек такой квалификации (представляю, что они на самом деле говорили обо мне за моей спиной, беседа за кофе)...

То, что Асанова готова сбегать меня куда угодно — хоть в службу секретности, — было очевидно. Возможно даже, что и начальство, после моего краткого сотрудничества с «Черт, возьми!», не желало больше видеть мою подпись под материалами Газеты. Но так или иначе было ясно, что мне подготовили уже самое настоящее падение. Даже в чисто топографическом смысле — с третьего этажа на второй. Отдел рирайта — это была даже не ссылка, из ссылки можно надеяться вернуться; это было даже не окончательное изгнание из Газеты, которое ведь можно обставить без шума и прилично — мол, ушел по собственному желанию, найдя другое место; это был полновесный публичный пинок под зад, несомняемое унижение — хотя бы потому, что журналисту в моем возрасте и положении делать такие предложения абсолютно неприлично — все равно что предложить идти распространять номера Газеты с уличного лотка; не говоря уж о том, что после рирайта нельзя было рассчитывать на приличное место где бы то ни было. Быть может, такая работа и могла стать стартовой площадкой для молодого человека, но никак не для меня...

Я обещал подумать и откланялся, сдерживая дрожь в руках.

— Вы забыли взять грушу! — крикнула Асанова мне вслед.

«Пойдите покушайте синих груш», — вспомнилось мне. И — еще этого не зная — я прямым ходом направился их кушать. Потому что дома меня ждала записка жены: «Мы с Юлей на две недели в Малеевке. Не хотела тебя тревожить и все устроила сама». Ни подписи, ни прощального поцелуя, лишь приписка: «У тебя в столе я взяла немного денег. В холодильнике грибной суп, тушеная капуста. Ешь». Кажется, в этот день все, как сговорились, озаботились моим питанием.

3

Теперь отделом рирайта руководила совершенно несусветная тетка по имени Тоня Резник.

Один вид ее говорил о многом. Это была кургузая бабенка лет под сорок, очень смешно одевавшаяся. На ней вполне могли оказаться короткая юбка темно-зеленого плюша, белая кофточка с пышным жабо, заколотая золотой брошью с бриллиантами, бархатная какая-то жилетка алого цвета с серебряным шитьем в фольклорном стиле, а на ногах спортивные белые тапочки, будто она собралась бежать кросс.

Под стать была и сама ее внешность. У нее были короткие ноги формы бракованных бутылочек, низкая попка, но очень красивые каштановые пышные волосы и маленькое голубоглазое личико, казавшееся бы даже хорошеньким, если бы не невероятно сучье его выражение, означавшее постоянную готовность к скандалу первой категории стервозности. При этом она была похот-

лива, облизывала, завидя объект, губы спорым языком и задавала идиотские вопросы на свободную тему, что было верхом ее своеобразного кокетства. Короточе, море обаяния.

Попала она в рирайт, как и я, будучи сосланный, пониженной из заведующих то ли отделом сервиса, то ли полосой «Модный магазин». Она, быть может, была единственным человеком в Газете, пойманном на взятке прямо на рабочем месте. Кстати, скандалы такого рода шли здесь постоянно, вот только никто все-таки не доходил до такой наглости, как потребовать от клиента нести пакет с баксами прямо в служебный кабинет, — скорее всего, впрочем, ее подставила служба секьюрити. Другую, конечно же, тотчас уволили бы, но мама Тони Резник некогда сидела за одной партией с мамой кого-то из учредителей Газеты, так что Тоню лишь временно — можно было не сомневаться, что лишь временно, учитывая ее природную цепкость заведующей овощной базой, — сослали на этаж ниже, да и то, видно, лишь потому, что с уходом Асановой там открылась вакансия. Впрочем, в Газете и без Тони существовала большевистская практика перемещения неспособных или проворовавшихся из одного руководящего кресла в другое. Но в данном случае юмор был в том, что Тоня Резник теперь отвечала за стилистику и общий тон Газеты, не говоря уж о простой грамотности.

Меня она скорее развлекала, чем раздражала. Как-то, скажем, я услышал из ее уст рассказ о том, как, будучи в очередной раз в Париже, она направилась на модную премьеру в «Гранд-опера». «Постановка неклассическая, — небрежно, как завзятая парижанка, объясняла она, — как бы современная, поэтому мизансцены легкие, чтобы проще было возить их на гастроли...» Однако ее плюсом был истинно комсомольский энтузиазм, убеждение, что нет таких вершин, какие б она не взяла. Своих подчиненных она наставляла с воодушевлением.

— Помните, все они, — она тыкала коротким пальчиком в потолок, в третий этаж, — говно, никто из них писать не умеет, уж поверьте мне, я-то знаю. Так что без церемоний. Мы здесь с вами, если надо, и «Анну Каренину» перепишем...

Впрочем, это совпадало с прежними установками Асановой, которая и насадила здесь высокомерие, Тоня лишь выражалась прямее. И думаю, скомандуй она, и переписали бы, были готовы.

Самое поразительное, что все эти высоколобые мальчики и девочки, оказавшиеся в ее подчинении, ее обожали и почитали как мать родную, хоть за спиной и подсмеивались — что поделать, нигилистический возраст. Видно, чувствовали какую-то родную жилку. Из своей прежней «команды» Тоня привела лишь одну девушку, статуарную, с несколько тяжеловатой на нынешний вкус фигурой Венеры Милосской, с застывшим, чуть одутловатым лицом. Она сидела сиднем у Тони в кабинете и молчала, лишь изредка исчезала по каким-то неведомым особым поручениям наверх.

Надо сказать, что мое появление в отделе было воспринято с полным равнодушием — меня просто не замечали. Или делали вид, не знаю, но так или иначе в этом была своего рода деликатность. Тоня же Резник сначала вела себя резковато, щетинилась, не упуская случая подчеркнуть, кто здесь главный, правда, без явных грубостей, но, когда убедилась, сколь я безвреден, тоже стала глядеть мимо, как на пустое место, и оставила в покое.

Как это ни странно, я не плохо себя чувствовал среди этих молодых людей, оказавшихся на поверку пусть чуть вздорными, но по-своему милыми, простоватыми, как инженерно-технические работники. Они играли на работе в шахматы-блиц и «болели за футбол»; пили ближе к десяти вечера, когда основная масса сотрудников Газеты расходилась, а Тоня, раздав указания, отбывала домой, незамысловатые алкогольные напитки; гуляла по Интернету не по нужде, а лишь ради прогулки, как дамы идут на шопинг; слушали песни БГ и читали прозу Пелевина; у них были дежурные внутрицеховые шутки, совсем как у провинциальных актеров, цитирующих к месту и не к месту словечки из текущих ролей, — в данном случае ударными репликами служили выловленные ими у авто-

ров разных отделов Газеты нелепые фразы и фразочки, которыми они и перебрывались то и дело... Я выпивал с ними фетяску и клюквенный «Смирнов», проигрывал им в шахматы, интересовался футбольным счетом. Как-то раз ко мне обратился тот самый лупоглазый рирайтер, что учил меня некогда орфографии. Он мялся, как человек, которого давно мучает какая-то загадка, а потом спросил все-таки:

— Вот вы писали как-то рецензию на Соломона Вайта.

— Писал.

— Вы утверждали, что это острый, талантливый прозаик.

— Скорее всего.— Соломон Вайт был немолодым человеком и блистательным переводчиком и выпустил первую книгу своей прозы, которую писал много лет, но которая прежде напечатанной в России быть никак не могла. И книгу очень талантливо.

— Странно, очень странно, что вы так думаете.

— Он вам не нравится?

— Понимаете, я живу с ним в одном кооперативе. Так вот, однажды выяснилось, что он провел к себе электропроводку, минуя счетчик. И что вы думаете — оштрафовали не его, а весь кооператив...

Этот юноша, как оказалось, еще не решил для себя дилемму, мучившую пушкинского Сальера.

Вы спросите, отчего же я все-таки согласился и оказался здесь? Под началом Тони Резник. Среди этих невинных в общем-то юношей. Редактируя чужие, чаще всего довольно вялые и совсем мне не интересные тексты. Я отвечу. Мне было некуда идти, это раз, в том смысле, что никто и ничто меня нигде не ждало. Иначе: у меня оказалось достаточно свободного времени — точнее, все мое время теперь было *свободным*, чтобы идти по тому пути, на который ступил я почти случайно, если можно, конечно, говорить о случайности, коли судьба сталкивает тебя на обочину с твоей главной дороги, — идти до конца, а на вопросы престижа, как выяснилось, мне, в сущности, было наплевать. Проще говоря, мне стало любопытно, чем там у них, у Карениных, дело кончится. И стало тем более любопытно, когда — и очень скоро — обнаружилось, что очередное мое эссе Асанова забрала и отныне рубрику «Портрет» в субботнем номере Газеты будет вести писатель Николай Куликов.

4

Ровно через две недели и три дня после того, как моя жена удалилась от меня в сторону Малеевки — раза четыре, правда, она звонила, но всегда торопясь, ссылаясь на *большую очередь* к телефону, — у нас в квартире отключили горячую воду. Для меня это удар по привычкам, ведь я не мог теперь читать утренние газеты, лежа в ванне. Кто-то из моих теперешних юных коллег надоумил меня ходить в финскую баню, находившуюся в подвальном этаже Газеты. Я было заманжился, но оказалось, что все донельзя просто, нужно лишь иметь при себе тапочки, плавки, полотенце, а я еще прихватывал и шелковое кимоно, подаренное мне некогда, в самом дебюте моей работы в Газете, женой — не помню по какому случаю.

Баня оборудована была славно. При входе в помещение всего *оздоровительного комплекса*, как это именовалось, сидели две милейшие девушки — одна совсем маленькая грудастая блондинка, смешливая и бойкая, другая темненькая, повыше, с всегда будто заплаканными, как у Гали Свиноаренко, добрыми глазами. Прямо напротив их конторки была комната для охранников Газеты, и сменившиеся с вахты у главного входа дюжие молодцы вечно смотрели там видео.

Девчушки следили, чтоб, не дай Бог, ты не поперся в банный комплекс в ботинках, а переобулся, и выдавали тебе номерок от твоего шкафчика. Чтобы попасть в раздевалку, нужно было обогнуть по периметру зал с тренажерами, которым распоряжалась средних лет дама в тугом трико, обтягивавшем ее с развитыми зрелыми формами фигуру. Переодевшись, шлепая тапками, в

развешивающемся кимоно, с полотенцем через плечо я направлялся в боковую дверь, здесь был маленький буфетик с самоваром и несколькими деревянными столиками и деревянными же лавками, причем чай наливать себе ты должен был самостоятельно. За помещением буфета была собственно баня: налево душевые кабинки, направо небольшой бассейн, а если дернуть тяжелую дверь справа от него, то попадаешь непосредственно в сауну, всегда раскаленную...

Работало все это хозяйство допоздна, до девяти вечера, а так как служба у меня теперь была сугубо вечерняя, то, отчитав какой-нибудь коряво-ветвистый текст из тех, что поручала мне Тоня Резник, я на полчаса мог отлучиться в баньку, причем времени мне вполне хватало — млеть в сауне, сидя на полочке, как средних размеров окорок, я не люблю, иное дело — наша русская парилочка, так что совался в сауну я лишь для проформы, *открыть поры*, а там спешил в душ, где и проводил блаженных четверть часа.

С девушками на входе я и до того был знаком — они по совместительству ведали и прокатом видеокассет, — так что изредка, коли я прибегал в баню в последнюю минуту перед закрытием, мне дозволялось оставаться там и после девяти, на двадцать—тридцать минут...

Я опаздывал в тот день. Какой-то особенно заковыристый текст задержал меня, и я подхватился бежать в баню уж совсем поздно, около десяти, может быть, в самом начале одиннадцатого, подхватился для очистки совести, зная, что поздно, конечно, и что ходить мне до завтрашнего дня невымытым. Вход в *оздоровительный комплекс* был закрыт, я на всякий случай подергал ручку, и дверь, к моему удивлению, подалась. Правда, девчушек нигде не было, не было и патронессы тренажеров, но в спортивном зале горел слабый свет. К тому же на стуле у столика дежурных висела дамская сумочка и стоял пластиковый пакет. «А-у!» — позвал я, но мне никто не ответил. Будь что будет, добегу до душа, хоть ополоснусь. Я босстренько скинул ботинки, пробежал до раздевалки, мигом переоделся и пошлепал в сторону баньки. Едва я открыл дверь, как увидел, что на одном из буфетных столиков стоят початая бутылка «Джек Даниэл», несколько бокалов, в одном из которых еще не растаял коричневый лед, и тарелочка с солеными печеньями. Это привело меня в некоторое замешательство, в этом самом комплексе был начисто запрещен алкоголь, так что свою четвертинку — я всегда теперь имел ее при себе, следуя заветам, которые оставил генералиссимус Суворов солдату, что, мол, штаны заложи, но после бани выпей, — свою четвертинку я опорожнял уже наверху, иногда мне для этой цели приходилось запираться в туалете. Впрочем, что мне за дело до чужого виски, решил я и отправился дальше. Какую-то смутную тревогу я все-таки испытывал, конечно, но другое чувство было много сильнее, — нет, не простого любопытства. Это было скорее неясное предчувствие, что сейчас мне нечто откроется... Я распахнул дверь в сауну.

В первую секунду в клубке голых тел я не мог разобрать — мужчины это, или женщины, или те и другие, даже количество тел было не сосчитать. Но вот, как в рапиде, клубок стал распадаться, я узнал прелестную малютку блондинку с темно-русскими от влаги, спутанными волосами, узнал роскошную тренершу с чудными грудями; худенькая брюнетка взглянула на меня своими заплаканными глазами и прижала локотки к ребрам, ладошками прикрывая соски. Был здесь и знакомый мне комсомольский боярин, коса его несколько измочалилась. Наконец, был здесь и второй мужчина, черты лица которого показались мне отчасти знакомыми. Он-то и подал голос первым:

— Как здесь оказался этот пидор?

Кролик, тотчас узнал я, это же дядюшка Кролик. Только моложе лет на двадцать, но вылитый.

— Девки дверь не заперли, — лениво отвечал боярин и протянул руку куда-то вбок. У него в ладони оказался сотовый телефон. — Эй, кто там, Жора, иди в сауну, заberi здесь одного... писателя. — Последнее слово он произнес с неподражаемо презрительной интонацией. И показал мне рукой: мол, проваливай.

Едва я, ретировавшись, опять оказался в буфетике, меня подхватили под руки двое молодцов столь расплодившейся нынче породы: бритые, с той осмысленностью морд, которую мы невольно приписываем мрачным жвачным животным, когда встречаемся с ними взглядом. Они поволокли меня к выходу так скоро, что мне пришлось семенить ногами.

— Вещи, там мои вещи,— залопотал я, очень озабочась судьбой моей четвертинки.

— Возьми его вещи! — приказал один из них другому — Жора, наверное. Тот шагнул в раздевалку, сгреб в охапку мою одежду, взял пакет. И опять они повлекли меня так быстро, что я начисто забыл о своих ботинках, оставленных в предбаннике. Когда они завели меня в комнату для просмотров видеофильмов, напротив вахты, то сунули мне мои пожитки в руки, и в пакете я ощутил знакомую легкую тяжесть.

— Документы,— сказал Жора без выражения.

Тут я вспомнил, что редакционное удостоверение вместе с сумкой и пиджаком оставил на рабочем месте.

— Они там,— указал я пальцем наверх.

— Нет документов,— сказал Жора.

— У него нет документов,— поддакнул его напарник на той же бесцветной ноте.

Они оглядели меня с некоторым сожалением, или мне лишь почудился оттенок этого выражения на их ничего не выражавших лицах. Быть может, им было жаль, что они не могут здесь же меня отметить.

— Пусть завтра старшой разбирается,— сказал Жора.

— Пусть,— кивнул напарник.

Не сговариваясь, они подвели меня к задней стене комнаты, что-то щелкнуло, открылась незаметная до того дверь, меня легонько подтолкнули, и я оказался на площадке обыкновенной лестницы с перилами, ведущей вниз. Дверь мягко закрылась за моей спиной. Я огляделся. Здесь было сухо и чисто. Горел тусклый свет. Единственное, что было необычно, так это то, что откуда-то снизу слышен был равномерный негромкий гул. Я отправился по ступеням вниз.

Гул нарастал. Ощущалась теперь и вибрация, будто где-то рядом за стеной бесперебойно работал некий механизм. Я спустился на два пролета. Здесь стояли лавка, урна, из стены торчал противопожарный гидрант. Так могло бы выглядеть *место для курения* на какой-нибудь прядильной фабрике, на которой перерабатываются легко воспламеняемые материалы. Я присел на лавку, нащупал в пакете четвертинку, избавил горлышко от целлулоидной оболочки и сделал пару глотков. Потом закурил. Я отложил обдумывание своего положения до следующей порции водки, сейчас меня занимали другие соображения. Я раздумывал о превратностях номенклатурной оргиастичности.

По-видимому, здесь имеет место психология коллективной охоты. Можно представить себе Тургенева, с ружьишком бродящим по перелескам в компании лишь собственной легавой или сидящим одиноко с удочками Пришвина, но ведь не станут люди комсомольского сознания бродить по лесу порознь. Как и «братва», чиновники с обкомовским прошлым, милиционеры. Это, думал я, от специфики работы. Дело здесь — в круговой поруке и коллективной ответственности. А поскольку в плотской любви мужчина, как ни крути, лично отвечает за процесс, приходится отказываться от индивидуального греха...

Тут за стеной что-то стукнуло, взвыло, пол и стены заходили ходуном, а потом опять все наладилось, перешло в прежний ровный гул и мелкую дрожь. Я приоткрыл дверь — в производственное, судя по всему, помещение. Здесь был густой полумрак и довольно пыльно. Справа в ряд стояли какие-то мерно работающие машины, причем стояли так плотно, что от стены их отделял лишь узкий проход. Пол был усеян бумажными обрывками и обрезками. Впереди светил тусклый фонарь. Я побрел на его свет и оказался на тесной площадке. Механизмы неумоимо делали свое дело. Присмотревшись, я обнаружил, что пере-

до мной своего рода конвейерная линия. Откуда-то из глубины ползли газетные пачки, их поглощала машина и переваривала, чавкая и стеновая. Я поднял с пола оброненный машиной клочок — на нем угадывался фрагмент логотипа Газеты. Меня так взволновало это открытие, что я сделал еще пару глотков из бутылочки, которую не выпускал из рук.

В конце концов, соображал я, бумажная масса может стоять больше, чем никому не нужный остаток не разошедшегося позавчерашнего тиража.

И тут мне пришла в голову очень странная мысль. Я склонился к полу и стал перебирать обрезки газетной бумаги. Наконец я нашел то, что искал: на небольшом лоскуте хорошо читались цифры, дающие сегодняшнее число. Здесь на моих глазах шел под нож весь сегодняшний тираж, кроме тысячи номеров, наверное, которые распространялись способом адресного рассылки. В конце концов, чем более грандиозно предприятие, тем более ненужные вещи оно производит. А страстей, игры честолюбий и нешуточной борьбы...

Газеты не было, Газета была фантомом.

Я снова присел на лавку и жадно допил водку до капельки. И что же я здесь делаю? Здесь, одетый в банные тапочки и кимоно, в духоте и спертости, под гудение и вибрацию, под этот стук, будто рядом бьется чье-то большое сердце. Вот оно, прекрасное место мира. Мне захотелось прилечь и свернуться калачиком.

Я так и сделал. Я чувствовал себя на далеком необитаемом острове — влажном и душном. И без надежды на спасение. У меня была пустая бутылка. И что бы такое написать в записке, которую придется отправить по морским волнам? Я улыбнулся в темноте той улыбкой, той приятной улыбкой, которой улыбаются только самим себе — нет, не в зеркало, просто улыбаются самим себе, когда нечего больше терять. Я написал бы, что было совсем неплохо. Да что там неплохо — было весело. Нет, я не шучу, господа, я серьезно, было очень весело.



Елена НАУМОВА

Между небом и землей

* * *

Ах, муза моя с перебитым крылом,
Ты жить будешь долго.
Ты шить будешь колкой
Иголкой белье
Не из газа и шелка...
Но так, чтоб от зависти скулы свело!

Ах, муза моя с перебитым крылом,
Я все это вижу:
Все зайцы и волки,
Все козы и овцы,
Гусыни и телки
Замрут в изумленье:
— Почто не мое?!

Ах, муза моя с перебитым крылом!
И мы полетим над болотом и лесом,
Над городом, над...
Напевая свое,
Мы так засверкаем нарядом небесным,
Что крикнут зевалы:
— Почто не мое?!

А наши невинные платья-трико
В восторг приведут бедняка, супермена...
А лавочник спросит:
— Белье от Кардена?
Белье от Версаче?
Белье от Коко?..

Ах, муза моя с перебитым...
Споем!

Мы всё им простим —
Пересуды и бедность,
Богатство, и ложь,
И бездарность, и вредность...
Мы всё им простим,
потому что вдвоем!

* * *

А за стенкою лишь «фа-ми-ре...»
Лет одиннадцать уже.
Я сижу в панельной камере
На десятом этаже.

Молча с нею отобедаю
Да поглажу по плечу.
Что ответить ей — не ведаю,
А расстроить не хочу.

За окном все время шастают,
Как бараны, облака...
Так же можно спятить запросто.
Но не спятила пока.

То по юности прощается,
Что потом уже — нельзя.
Быстро «в люди» выбиваются
Мои бывшие друзья.

Время белой нитью тянется
С Покрова до Покрова.
Навестить идет по пятницам
Мама,
дал-то Бог — жива.

Я ж сама себе невольная.
А с годами — невольней.
Эта связь моя подпольная
С небесами все сильней.

Тихо спросит мама рóдная:
— Дочь, ведь ты ж такой талант!..
Отчего же неугодная,
Отчего, как эмигрант?..

Не разрушить веским доводом,
Не порвать, ни Боже мой!..
Бьется-вьется тонким проводом
Между небом и землей.

* * *

Вот человек проходит по двору.
Вот снег занес собачью конуру.
Вот описала призрачная птица
Порочный круг,
и небеса темны.
Зачем нам свет,
когда мы дети тьмы?
Зачем нам хлеб,
когда так сладко спится
Нам натошак?
Когда мы видим сны,
В которых свет и солнечные пятна,
В которых мы спешим назад-обратно.
Бежим-бежим
без видимых примет
Туда-туда,
куда дороги нет.

* * *

Он смотрит на мир,
Как бескрылая птица.
Ему не смеется,
Не естся, не спится.
Он зло свое копит,
Растит и лелеет.
Он больше уже
Ничего не умеет.
Всё ходит и ходит,
Как глухонемой,—
С утра на работу,
С работы — домой.

В этом городе

В этом городе
 я прожила целый год.
 В этом городе,
 где заборы, крапива, собаки...
 В этом городе,
 где в большинстве своем пьяный народ,
 Я поселилась у одной женщины
 в деревянном бараке.
 Она тогда была моложе,
 чем я сейчас.
 У нее были фанерные стены
 и довоенная фляжка,
 Два диванчика, стол,
 рукомойник, печка и газ
 И еще дочка,
 по-моему, тогда первоклашка.
 Эта женщина покупала
 дешевый портвейн и
 На старый проигрыватель
 ставила диск Пугачевой.
 Солнце вдруг освещало
 фанерную комнату изнутри,
 И было нам весело и бестолково.
 Я ходила по пьяным улицам
 каждый день.
 В пьяном городе,
 где кладбище посередине...
 Там буйным цветом иногда
 зацветала сирень,
 А иногда шел снег.
 И плакал котенок на льдине
 На реке,
 где сновали баржи туда-сюда...
 И я чувствовала,
 что чувствовал тогда тот котенок,
 Потому что и в этом городе,
 и в другом, и — всегда
 Я ощущала себя отщепенцем с пеленок.

* * *

Вот убили человека.	Только ходит он неспешно.
Вот проснулся он под утро.	Только дышит ровно-ровно.
Как всегда, раздвинул шторы,	А глаза его сухие
Сигарету закурил.	Тихо смотрят внутрь себя.
Вот идет он на работу.	Он все слушает, все слушает,
Вот кивает он знакомым	Как стало тихо-тихо
И так далее, так далее...	Там, где билось-колотилось,
Как раньше, все течет.	Где болело и рвалось.

* * *

Какая странная зима!
Сначала нежный свет,
И серебро, и терема,
И след почти что в след...

А после ночь темным-темна,
Заблудится любой.

Какая странная зима
Досталась нам с тобой.

Но снег растает без следа.
Идя по февралю,
Ты не узнаешь никогда,
Как я тебя люблю!

* * *

Было Богу угодно, не мне,
Чтоб на резвом летала коне
Белогривом да с красной попоной
По траве изумрудно-зеленой.
Это Бог захотел, а не я,
Чтоб однажды не стало коня
Белогривого с красной попоной
И травы изумрудно-зеленой.
Это Бог повелел-порешил,
Чтоб искала я что было сил
По дорогам, по солнцу, по звездам,

По холмам каменистым, по гнездам,
По болотам, по темным лесам,
По кровавой войне, по слезам,
По воде, по беде без огня
Моего золотого коня.
Приходите,
 незванные гости,
Я нашла его белые кости.
Приходите!
 Хоть ночью, хоть днем
Я рассказывать буду о нем.

* * *

Когда совсем невоготу
От этих крепких стен,
Я потихоньку в темноту
бегу.

И этот плен
на час, на два, на три, на пять...
Но отпускает, гад...
Хоть я и знаю, что опять
Мне надобно назад.

И эту темень пригубя,
Пусть ветер, дождь и гром,
Я снова чувствую себя,
Как в семьдесят втором.

А если ночь светла, как сны
И манит лунный свет,
То нет печали, нет вины
И этих черных лет.

Когда-нибудь, когда-нибудь,
Не пересилив грусть,
Уйду я в эту темноту,
Уйду и не вернусь.



Ролан БЫКОВ

ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ

КИНОСКАЗКА

Он был намного старше меня, но требовал называть себя — Ролан. При посторонних, правда, я всегда называл его: Ролан Антонович. Заглазно все ласково называли его — Роланчик.

Он расходовал свою жизнь со страстью. Со стороны могло показаться, что он живет бессистемно, неупорядоченно, что он — знаменитый актер и режиссер, культовая фигура российского искусства второй половины XX столетия — слишком беспечно проматывает свое драгоценное время, силы, здоровье незнамо на что. Он одинаково страстно отдавался и кинематографу, и товарищеским посиделкам, и бесчисленным поездкам, и писанию стихов, и созданию своего Центра (он так и называется — Центр Ролана Быкова). Просто это был его способ жить: раздавая себя направо и налево, он сохранял себя и даже многое обретал — мудрость, любовь окружающих, жадность к жизни, неуставание от нее.

Когда со мной приключилась беда и потребовалась срочная операция, в числе первых, кто появился в моем доме — вместе с Леней Ярмольником, Володей Качаном, Сашей Розенбаумом и Михаилом Васильевым, — был и Ролан. Он тут же, взяв свой привычный ритм, кинулся в кипучую деятельность: добывал какие-то редкие лекарства, консультировался с моими врачами, созванивался с лучшими берлинскими и парижскими клиниками... А между тем — об этом я узнал много позже — он сам был уже тяжело болен.

В последний раз мы виделись с ним в санатории «Барвиха». Это было в конце августа 1998 года. Наши путевки — моя и жены — уже заканчивались, нам оставалось быть в санатории всего несколько дней, и тут в Барвихе появился Ролан. Он позвонил мне по внутреннему телефону и попросил подняться к нему на второй этаж. Я был еще плох после операции, еле передвигался и отложил свой визит дня на два-три. Знал бы я тогда, в каком состоянии был сам Ролан!..

Через два дня к вечеру он пришел ко мне сам вместе со своей женой Леной Санаевой. Выглядел он ужасно: бледный, лоб в испарине, дышал и говорил с трудом. Но через некоторое время, усевшись в кресло и отдышавшись, он стал прежним Роланом. Говорил много и остроумно. Мы с женой смеялись — рассказчиком он был гениальным. Лена была печальна. В какую-то минуту он вдруг осекся и через паузу все-таки рассказал о своей болезни. Болезнь была страшная, практически неизлечимая, та самая, коротенькое название которой люди обычно боятся произносить вслух.

И тут же стал говорить о планах, а их было великое множество — тут были и кино, и стихи, и проза... Последнюю его фразу я запомнил особенно четко. Он сказал с горечью, но без страха: «Нет, пятнадцать лет мне вынь да положь! — И, словно делая неохотную уступку Судьбе, добавил: — Ну, десять!..»

Судьба не подарила ему и года. Спустя два месяца после нашей встречи страна узнала из телевизионных новостей, что ее любимца Ролана Быкова не стало...

В этом году ему исполнилось бы 70 лет.

Леонид ФИЛАТОВ

Сентябрь 1999 г.,
Барвиха

В некоторые стародавние времена болотный царь похитил египетскую царицу. Прослышав о ее красоте, уме и благочестии, он превратился в осьминога, дал отловить себя бедным рыбакам, которые торговали в Египте, и вместе с уловом попал на каирский базар. Он знал, что готовится свадьба египетской царицы с султаном соседнего царства и по обычаю невеста должна сама выбрать и купить свадебные украшения, чтобы жених мог оценить ее вкус и понять, может ли она правильно распорядиться деньгами. Болотный царь жаждал своими глазами увидеть девушку-легенду, и, когда рабы пронесли юную царицу в паланкине мимо рыбных рядов — по закону никто не должен смотреть на нее, за это рубили голову,— он взглянул на прекрасную девушку и воспылал великой страстью.

— Оно смотрит на меня! — в ужасе закричала юная царица.

— Кто? Где? — всполошились слуги и евнухи, охранявшие ее.

— Это чудовище! Оно смотрит!

И действительно — глаз гигантского осьминога горел зеленым огнем, а его щупальца тянулись к юной царице. Свирепая стража схватилась за оружие и бросилась на осьминога, но он своими мощными щупальцами перехватил занесенные над ним мечи и копыя, одного стражника поднял и ударил оземь, другого швырнул за торговые ряды, третьего схватил за ноги и, будто палицей, крушил им воинов направо и налево. Потом он повалил на землю вздыбившегося коня начальника стражи, дотянулся своими длинными страшными щупальцами до прекрасной девушки и поднял ее высоко над землей.

Черные крылья заслонили солнце — огромные птицы-змеи подхватили царя-осьминога с его добычей и улетели в открытое море.

Всю ночь летели они над бушующей стихией, поднимаясь все выше и выше, сквозь ливень и молнии. Египетская царица потеряла сознание, а когда очнулась, увидела вокруг себя болото и ковер цветов, сверкающих росой. Повсюду горели свечи в чашечках белых лилий, а на юной царице сверкал белый свадебный наряд. Болотный царь был в золотых одеждах, он взял побледневшую девушку за руку и повел за собой в самую топь. Она не сопротивлялась и проваливалась все глубже. Царь погрузился с головой, а следом за ним ушла под воду, покрытую зеленой тиной, и египетская царица.

Поднялся ветер, свечи погасли, и наступила ночь.

Прошло много лет.

Однажды весной в те края прилетели аисты.

— Аисты впервые над нашим домом,— смущаясь, сказала женщина своему мужу.— Может, это добрый знак и у нас наконец будет наследник?

Лицо у женщины было нежным и добрым, муж тоже был человеком незлобивым и веселым. Это были небогатые король с королевой, детей у них не было, жили они в скромном замке, слыли весьма независимыми и пользовались глубоким почтением знатных соседей.

— Может, это и вправду добрый знак,— отозвался король.— Скучно жить без детей.

Услышав эти слова, аисты переглянулись и полетели на болото.

— Много лет назад,— сказал аист аистихе,— болотный царь похитил юную царицу Египта, и у них недавно родилась дочь. Однако в ней заговорила кровь матери, и теперь она заявляет, что не хочет жить в болоте.

— Вот бы отнести ее нашим одиноким хозяевам,— сказала аистиха.

— Как только стемнеет, мы увидим ее.

Аисты полетели над болотом и приземлились в зарослях. И, когда исчез последний луч солнца, у них на глазах из травы показался прекрасный цветок. Он светился золотым сиянием и позванивал, как колокольчик.

— Это она,— сказала аистиха.— Боже, как она прекрасна!

Мудрый аист помолчал и промолвил со вздохом:

— Оставим ее здесь... Она вырастет слишком красивой — это может принести большие несчастья.

— Перестань! Где нет печали — нет и радости!

Когда король с королевой заснули, аисты проникли в королевскую спальню и поставили цветок в вазу у изголовья их ложа. Прошла ночь, и чудесный цветок превратился в прелестную девочку с золотыми волосами.

Как это произошло, никто не заметил, потому что в предзвездный час, в те неуловимые мгновения, когда ночь заканчивается, а утро еще не наступило, случаются самые удивительные события и то, что бывает лишь в сказках, происходит на самом деле.

Девочка была так ослепительно красива, что, глядя на нее, приходилось щуриться, будто смотришь на солнце. Король с королевой были счастливы, они назвали ее Дионеллой и ходили за ней буквально по пятам.

Но вскоре случилась беда — ночью девочка исчезла.

Родители были в отчаянии, всю ночь искали ее и, не найдя, плакали, обнимая друг друга. Однако уже на следующее утро они нашли ее на лужайке у дома, поющую и веселую.

— Мама,— сказала девочка,— я хочу любить!

— Но тебе еще рано,— сказала смущенная королева.

— Надо немного подрасти,— сказал король.

— Сколько надо ждать? — серьезно спросила Дионелла.

— Годы проходят быстро,— ответила королева.

— Го-о-оды? — ужаснулась девочка.— Ни за что! Завтра же я вырасту.

Она снова пропала на ночь, а ранним утром явилась девушкой в расцвете прекрасных лет. При этом она была так хороша, нежна и обаятельна, что счастьем родителей не было предела.

Той же весной Дионелла была объявлена невестой. Со всех сторон посыпались предложения руки и сердца от самых прекрасных и знатных юношей. Однако гордая красавица поставила условие: кто к ней посватается, должен провести с ней один день, чтобы она могла испытать его и решить, достоин ли он стать ее мужем.

Со всеми женихами Дионелла была особенной и разной, но всегда искренней и внимательной. Она умела понять и оценить каждого, разглядеть его достоинства и не скрыть своего одобрения. Иногда она едва слышно произносила томное «Да» и могла даже позволить поцеловать себя. Но, как только солнце клонилось к закату, она начинала издеваться над новым женихом, выказывая ему презрение и раскрывая перед ним все его пороки и недостатки. Самым ужасным было то, что она опять говорила чистую правду, ибо недостатки соседствуют с достоинствами в любом человеке. Она умела издеваться даже над достоинствами женихов и бывала в этом весьма убедительной.

— Ты так красив! — говорила она прекрасному юноше.— Хочется без конца любоваться тобой, но женщина ищет того, кто будет любоваться ею.

— Я выколю себе глаза, изрежу лицо, сделаюсь уродом! — в отчаянии говорил юный красавец.

— Уродом? — морщилась Дионелла.— Но урод, чтобы его любили, должен быть великим, а какой же великий может отказаться от своего предназначения ради женской юбки?

И было похоже, что отчаяние жениха весьма радовало невесту.

— Ты так добр, ты просто святой! — говорила она другому и, помолчав, добавляла: — Но святые должны быть мертвыми, иначе они требуют поклонения и становятся тиранами.

День за днем Дионелла наслаждалась столь притягательными для девического сердца занятиями: знакомством, невинной встречей глаз, случайным при-

косновением рук, молчанием или беседой, полными особого, понятного только двоим смысла. Но вечером, перед тем как исчезал последний луч солнца, она отказывала очередному жениху и даже могла потребовать, чтобы тот лишил себя жизни.

— Ты говорил, что любишь и не можешь жить без меня? Если ты не лгал, я буду ждать тебя с первым лучом солнца, а ты вон с той скалы можешь кинуться в пучину. До утра, мой верный рыцарь! — шептала девушка, обливаясь слезами и награждая смятенного юношу соленым прощальным поцелуем.

И она приходила с первым лучом солнца.

И видела, как кидаются со скалы несчастные влюбленные.

И многим прекрасным молодым людям день, проведенный с нею, стоил жизни.

Когда кто-то из женихов отказывался лишиться себя жизни и старался побыстрей уехать от греха подальше, она веселилась и хохотала до слез. Когда же влюбленный юноша выполнял ее злую волю, златокудрая красавица, глядя на его гибель, мрачнела и задумывалась, по ее щеке сбегала быстрая слеза. Девушка в отчаянии бежала по берегу, готовая сама броситься в волны, а с последним лучом солнца неизменно исчезала. И так каждую ночь.

Шли месяцы, и Дионелла никому не давала своего согласия. Казалось, что она растет несносной и злой. Какая-то тайна окружала ее, но даже королева-мать ничего не могла выведать у дочери и, сколько ни старалась, ни о чем не могла догадаться.

Однажды, оставшись наедине с дочерью, королева-мать спросила:

— Куда ты пропадаешь ночью?

И тут с перекосившимся от боли лицом девушка ответила:

— Никогда не спрашивай меня об этом!

Никто так и не узнал, куда она пропадает на ночь. Иногда видели, как перед заходом солнца девушка бежала в горы и скрывалась в зарослях у ручья или среди камней. След ее неожиданно исчезал, и нигде не было никаких признаков ее пребывания. Никому не приходило в голову, что Дионелла чаще всего проводила ночь в самом замке, наверху сторожевой башни. Тяжелые дубовые двери, ведущие в башню, всегда были заперты, и мало кто помнил, что туда можно было попасть еще и по лестнице, скрытой в двухметровых стенах старого замка. По этой лестнице защитники крепости могли спуститься в подземный ход, а по нему выйти далеко за пределы замка через старый, заброшенный колодец или через каменный завал у ручья. Войны в этих местах давно закончились, о подземном ходе никто уже не вспоминал, а в сторожевой башне хозяева хранили лечебные травы и корни. Через старые бойницы с верхней площадки открывался прекрасный вид на окрестности. Из бойниц были сделаны узкие окна с цветными стеклами, отчего сторожевая башня потеряла свою суровость и стала уютной.

В каменном полу был небольшой бассейн, где на случай осады хранилась питьевая вода. Тайна древней инженерной системы была давно утеряна, но она действовала — в бассейне постоянно была дождевая вода, свежая и прохладная. Дионелла убрала каменные стены башни вьющимися растениями, в бассейне у нее росли белые кувшинки. Девичья постель стояла так, что первый солнечный луч падал прямо на изголовье.

Когда же угасал последний луч солнца, девушка оставалась на ночь одна. Крепко заперев все окна и двери, она начинала стонать и метаться.

— Пить! Пить! — шептала она и, припав к питью, уже не могла остановиться. С каждым глотком она раздувалась, рот ее растягивался все больше. Прекрасные губы лопались и разрывались так, что кровь проступала на них. Кожа, сморщившись, покрывалась слизью, бородавками, становилась зелено-бурой. И красавица Дионелла превращалась в огромную отвратительную жабу.

Всю ночь она тяжело вздыхала и пролиwała слезы, а наутро, с первым солнечным лучом, снова превращалась в прекрасную девушку, блистающую редкой красотой и обаянием. И все начиналось заново: коварство, капризы и издевательства, особенно над теми, кто ее любил, так что более всего доставалось королеве-матери. Каждый день несчастная девушка отказывала новому жениху и ждала кошмара наступающей ночи.

Но случилось так, что Дионелла сделала исключение из правил. Однажды к ней приехал свататься очень знатный и благородный юноша. Он был единственным наследником престола богатого царства, и о нем шла слава как об отважном воине. Но, к сожалению, наследник был не очень образован и несколько скован в общении. Нового жениха сопровождал юный раб, с которым молодой хозяин не расставался даже на свиданиях с Дионеллой, потому что не знал, что ему делать и о чем разговаривать с девушкой.

Втроем они прекрасно проводили время: молодой хозяин, а звали его Тур, проявлял ловкость, смелость и силу — ребром ладони мог расколоть скальный валун, а ударом головы ломал столетний дуб. Он, не задумываясь, мог перепрыгнуть через пропасть, и тогда раб легко перебрасывал Дионеллу, которую бережно ловил Тур, и сам прыгал вслед за нею. Юноши явно соперничали меж собой, не уступая ни в чем друг другу. Девушку это волновало, и каждый вечер испытание продлевалось еще на один день.

Юный раб был очень хорош собой и наделен не меньшей силой, нежели его хозяин: однажды он голыми руками чуть не задушил леопарда, когда тот бросился на Дионеллу, и отпустил его только по просьбе девушки. А лассо он владел так, что с первой попытки мог набросить петлю на падающего с неба сокола. При этом он прекрасно играл на лютне, пел и умел так вести беседу, что все трое чувствовали себя непринужденно и весело. Юноша неизменно говорил девушке приятные слова, сопровождая их язвительной иронией, отчего они становились изящными и не превращались в обычную мужскую лесть. При этом он не отрывал от девушки ликующих глаз и с каждым днем воодушевлялся все более.

Когда внимание юного раба стало слишком явным, Дионелла возмутилась и посчитала себя оскорбленной. Этот ничтожный раб позволил себе влюбиться в нее? Он что, рассчитывает на ее руку и сердце? Такой откровенной наглости не прощают! Раб не смеет претендовать на трон! И она потребовала смерти юноши. Молодой хозяин отказался это сделать:

— Пусть он раб, но он мой друг.

Тур пообещал девушке, что раб никогда больше не взглянет на нее. И действительно, юноша перестал замечать красавицу. Даже тогда, когда она, уйдя от них на довольно большое расстояние, пошла купаться в озере, представ во всей своей невинной красоте, юноша-раб не взглянул в ее сторону.

Тут уж Дионелла вознегодовала еще больше — она была вне себя от ярости. Как? Презренный раб посмел не взглянуть на ее красоту? Этот урод хочет показать, что пренебрегает ею? Не слишком ли много он смеет о себе думать? Она посчитала себя смертельно обиженной, оскорбленной, униженной и категорически потребовала его немедленной казни.

И вновь молодой хозяин отказался это сделать, хотя убрал юношу с глаз долой. Дионелла сделалась безумной. Она решила сама расправиться с обидчиком. Позабыв обо всем на свете, она искала его везде и в конце концов разузнала, что он спрятан в старом колодце, которым уже давно никто не пользовался и через который она каждую ночь пробиралась в сторожевую башню.

Не обращая внимания на то, что садилось солнце и почти не оставалось времени до ее ужасного превращения, она спустилась в колодец. Найдя там юношу, сказала:

— Ты оскорбил меня. Ты должен умереть — и умрешь!

Но, когда она достала спрятанный под накидкой кинжал и хотела уже нанести удар, погас последний луч солнца.

Кинжал выпал из рук.

— Пить! Пить! — заметалась Дионелла, застонала и стала жадно пить воду из колодца. — Не смотри! Не смотри! — кричала она, захлебываясь водой.

Юноша не успел понять, о чем его просят, и с ужасом увидел, как Дионелла стала раздуваться, как треснули до крови ее девичьи губы, и как красавица превратилась в омерзительную жабу.

Узнав ее тайну, юноша проникся к Дионелле такой жалостью и пониманием, что поклялся никогда в жизни не бросать ее.

— Я всегда буду служить тебе! — шептал юноша.

Дионелла-жаба захотела поведать ему тайну своего заклęcia, но из ее рта вместе с обрывками слов послышалось лишь отвратительное кваканье.

— Укради, унеси меня! — единственное, что можно было разобрать из того, что она пыталась выговорить. — Это заклęcie... я ушла... Ква-ааа... аааа...

Горькие слезы катились из ее глаз.

Не теряя времени, юноша взял на конюшне двух коней, своего и хозяйского, спрятал Дионеллу-жабу в мешок и поскакал в горы.

Сверкали молнии, гремел гром и лил дождь. Всю ночь юноша скакал, искусно ведя за собой хозяйского жеребца, чудом удерживая коней над пропастью. К рассвету они были уже далеко. С первым лучом солнца Дионелла забила в мешке и стала кричать:

— Зачем ты посадил меня в этот грязный мешок, проклятый раб?

Разорвав мешок, красавица довольно ловко соорудила себе из него одежду и сказала, не скрывая ненависти:

— Ты все видел, презренный раб... Теперь я обязательно убью тебя.

Дионелла вскочила на коня и погнала его так, что юноша долго не мог догнать ее. Наконец она неожиданно осадил резвого иноходца и спросила подоспевшего юношу:

— Как тебя зовут, раб?

Юноша помолчал и тихо ответил:

— Дион.

Девушка побледнела:

— Ты обманываешь меня.

— Клянусь! — ответил юноша, и было видно, что он говорит правду.

— Дион и Дионелла, — задумчиво сказала девушка и рассмеялась. — Ты сентиментален и глуп! Но все равно я убью тебя. Дай только срок...

Сияло солнце. Дионелла безмятежно осмотрелась вокруг и сказала:

— Я голодна, раб.

Она соскочила с коня и улеглась на траву.

Дион расстелил коврик, разложил костер и достал намокшее под дождем, отсыревшее огниво. Отложив его, Дион нашел под старым пнем пучок сухого мха и осторожно дотронулся до руки Дионеллы, лежавшей с закрытыми глазами. Ресницы у девушки слегка дрогнули, лицо осталось безучастным, только едва заметный румянец проступил на щеках. Она открыла глаза и увидела: Дион держал ее руку так, чтобы луч солнца прошел через бриллиант в кольце, надевшем на ее мизинце. Пламенная точка зажгла мох, и языки пламени весело забегали среди сучьев.

Дионелла села и стала смотреть на огонь.

На коврике появились фрукты, лепешки и сухой сыр.

Дионелла не двигалась, пламя костра отражалось в ее глазах, и казалось, что они тоже пылают огнем. Она протянула руку, взяла апельсин и вонзила в него белые жемчужные зубы. Сок брызнул на лицо, попал в глаза и, будто слезы, потек по щекам.

— Никогда больше не смей прикасаться ко мне, раб! — крикнула Дионелла, с маху вскочила в седло, хлестнула коня и пустила его галопом. Они мчались по горной долине, не останавливаясь ни на минуту.

Садилось солнце. Дион забеспокоился.

— Надо найти воду! — крикнул он.

Дионелла резко остановила коня и, переведя дух, со злобой взглянула на юношу:

— Я разгадала тебя, ничтожный... Ты хочешь еще раз полюбоваться, как раздувается и рвется мое тело, еще раз насладиться, увидев меня уродливой жабой, стонущей и проливающей слезы. А ты будешь снова утешать меня, упиваясь своим благородством! Ты больше не дождешься этого, мерзкий раб!

Сверкнуло отточенное лезвие кинжала, и Дионелла бросилась на юношу. Будь Дион не столь ловок, лежать ему мертвым в ту же минуту. Но он увернулся, выбил из ее руки кинжал, и они сцепились, как два врага.

Дионелла пустила в ход ногти, зубы, она рвала на нем волосы, одежду, стала душить, но, как только погас последний луч солнца, тело ее ослабело и она замерла.

— Воды! — жалобно попросила она.

Подняв ее на руки, Дион побежал в горы.

— Пить! Пить! — Тело Дионеллы дрожало и изгибалось.

Вокруг простирались только скалы, раскаленные за день. Сумерки сгущались быстро, и темнота обступила беглецов со всех сторон. Дион не терял надежды и бережно нес Дионеллу на руках, пока не нашел пещеру, посреди которой бежал ручей.

Девушка уже не просила пить, не шевелилась, лицо ее было белым, и казалось, что она умерла. Дион пригоршнями лил воду на лицо девушки, стараясь открыть ей рот. Но все безуспешно — жизнь не возвращалась к ней. Тогда он погрузил ее в ручей и стал держать под водой. Через несколько мгновений Дионелла открыла глаза и взглянула на юношу. Луна отражалась в ее зрачках. Этот взгляд из-под воды со дна ручья потряс Диона. И не только тем, что он был полон муки и боли, в нем была какая-то жуткая тайна. Дионелла открывала рот, будто рыба, и пила воду, глядя на Диона все тем же таинственным лунным взглядом. Глаза ее закрылись, и она замерла.

Дион забеспокоился и поднял ее со дна. Дионелла тут же вцепилась ему в глаза своими длинными пальцами и протонала:

— Не смотри! Не смей!..

Дион зажмурился и прижал ее руки к лицу. Потом юноша ощутил, как ее пальцы затянулись перепонками, беспомощные лягушачьи лапы скользнули по его лицу, он услышал горькие вздохи и открыл глаза: у ручья, бегущего посреди пещеры, сидела и смотрела на него Дионелла-жаба. Из ее глаз катились слезы.

— Я освобожу тебя от заклятия! — воскликнул Дион. — Даже если для этого потребуется моя жизнь!.. Клянусь!

Дион соорудил факел, собрал сухой мох, высек просохшим огнем искру и зажег огонь. Отразившись в ручье, огненные сполохи осветили пещеру. В тот же миг земля вдруг зашевелилась и со всех сторон послышалось мерзкое и злобное шипение — пещера оказалась полна отвратительных змей, которые окружали беглецов. Извиваясь и хищно открывая пасти, они выбрасывали наружу раздвоенные языки. Дионелла-жаба в испуге прыгала на стены пещеры и все время сползала вниз. Дион бросился было на помощь, но упругое, мощное тело каменного питона, хозяина пещеры, обвил юношу смертельными кольцами и стало душить.

Нелегко пришлось храброму Диону, он напряг все мышцы, не давая питону задушить себя. Факел вывалился из его рук и упал прямо на клубок змей. Отвратительные гады поползли в разные стороны. И тогда Дионелла-жаба подхвати-

ла горящий факел своим огромным ртом и стала прыгать по пещере, разбрасывая искры.

Вспыхнула ветка, за ней другая, в пещере с треском загорелись сухие сучья, и змеи быстро исчезли среди камней. Питон расслабил тело, и оно кольцами свалилось с Диона. Юноша поднял огромный камень, но взглянул в глаза Дионеллы-жабы и опустил его. Питон медленно и тяжело уполз прочь.

Дионелла-жаба смотрела, как Дион гасил разгоревшиеся сухие ветки, обжигая руки, ноги, лицо. Одежда на юноше в нескольких местах тлела и дымилась. Дион выбился из сил и, когда под его ногами погас последний уголек, юноша рухнул на землю и тут же уснул.

В свете луны было видно, как по обожженному лицу Диона потекла вода. Дионелла-жаба перепончатыми лапами поливала из ручья лицо и тело юноши — ожоги покрывались мелкими пузырьками и на глазах исчезали. Лицо спящего Диона стало совсем юным. В ручье плавала луна, и в ее отблесках казалось, что на голове жабы серебристым жемчугом мерцает корона.

Первый луч солнца застал Диона еще спящим.

Как всегда поутру, свежая и сияющая Дионелла возвратилась в пещеру с целой охапкой трав — зеленых, желтых и красных. У выхода из пещеры была собрана огромная куча сухого хвороста. Девушка присела у ручья над спящим Дионом и стала плести из трав тончайшие нити. Ее руки летали, как птицы, свивая желтые, зеленые и красные травы в крепкую тройную веревку.

— Долго спишь, раб,— сказала девушка, увидев, что Дион открыл глаза, и отвернулась.

Дион молча смотрел на девушку.

— Ты голоден?

Дион попытался подняться, но не смог — все тело его было, словно паутиной, обтянуто тончайшей пряжей из трав. Дион с укором взглянул на девушку.

— Сам виноват, раб... Ты опять смотрел, ты опять все видел. Это подло, низко, гнусно, и я не могу этого простить!.. Живым не дано знать мою тайну!

— Я не хотел...— начал было Дион.

— Врешь! — прервала Дионелла.

— Я же закрыл...

— Молчи, гнусный раб! — ничего не желая слушать, гневно говорила красавица.— Ты вчера посмел дотронуться до моей руки, ты прикоснулся ко мне! Ты понимал, что рискуешь жизнью, но ради чего?.. Зажечь мох? Ты, идиот, посмел использовать меня как дрянное огниво?

Дионелла смахнула с глаз злые слезы.

— Тебе больше никогда не удастся так унижить меня, гнусный раб! Чтобы искупить свою подлость, ты умрешь в муках!..

Дионелла направила лучик солнца на пучок сухого мха через бриллиант в кольце, как это делал накануне Дион, мох вспыхнул, хворост загорелся, и яркое пламя взметнулось под сводами пещеры.

— Можешь умолять! Можешь валяться в ногах, раб! — кричала Дионелла.— Я все равно не прощу тебя!

Дион молчал и смотрел на девушку.

— Сейчас ты сгоришь! — кричала Дионелла, не думая о смертельной опасности, грозившей ей самой.

Огонь вставал стеной, закрывая девушке выход из пещеры. Дион оставался по другую сторону огня, у выхода. Он попытался разорвать тонкие травяные пути, но они были слишком прочны и лишь сильнее впивались в тело. Огонь подобрался совсем близко, и полы плаща Диона вспыхнули.

— Несчастный раб! — закричала Дионелла.— Потяни за красную нить!

Дион зубами рванул красную нить и разом освободился от пут. Он оглянулся — через выход из пещеры еще можно было выбраться, но Дионелла остава-

лась за чертой огня. Намочив свой плащ в ручье, Дион обмотал им голову и прыгнул через огонь туда, где, прижавшись к стене, стояла Дионелла. Глаза ее горели ненавистью.

— Ты опять хочешь доказать свое благородство, раб?

Не обращая внимания на ее слова, Дион поднял девушку на руки и собрался вынести ее из огня, но огонь бушевал уже и у выхода, быстро распространяясь по склонам гор, и пройти сквозь него было невозможно.

Дионелла спокойно лежала на руках Диона. Она не сопротивлялась и задумчиво водила пальцами по его лицу.

— Мы сгорим вместе? — спросила она.

Дым плыл перед глазами, застилая лица.

— Смотри! — крикнул Дион. — Дым тянется в глубину пещеры... Там есть выход!

Он опустил девушку на землю, схватил ее за руку и потащил за собой.

Черные от копоти, вылезли они из узкой щели в каменных завалах.

Коней на привязи уже не было — видно, они испугались огня, охватившего весь склон горы, и ускакали. Ошалевшие от страха олени, лисы, медведи мчались прочь от пожара. Дым ел глаза и не давал дышать. Вдали открывалось море.

— Я не могу идти, — сказала Дионелла и опустилась на землю.

Дион снова поднял ее на руки и стал спускаться к морю. А она, притихшая и слабая, обвила его шею руками, закрыла глаза и не произносила ни звука.

Юноша остановился передохнуть и вдруг увидел вдали, за изгибом залива, всадников, мчавшихся вдоль берега.

— За нами погоня, — сказал он. — Скорее всего это Тур, они видят дым.

Дионелла даже не пошевелилась. Дион спрятался за камень и стал наблюдать.

На пустынный берег набегали волны. В брызгах соленой воды скакали черные на фоне заходящего солнца всадники. Впереди Тур. Лицо его было словно высечено из камня, губы сжаты. Всадники мчались молча. Крупы лошадей лоснились от пота, с конских губ срывалась пена. Проскакав вдоль лагуны, всадники скрылись за поворотом...

Солнце садилось. Дион и Дионелла молча сидели на берегу горной речки, сбежавшей в море.

— Здесь есть маленький грот, там ты будешь в безопасности, а я достану нам еды и разведу путь.

— Ты не бросишь меня?

— Я поклялся.

— Как ты собираешься освободить меня от заклятия?

Дион молчал.

— Ты сам не знаешь?

— Я верю в счастливый случай.

— Случай?! — ужаснулась Дионелла. — А если он не придет? Сколько мне ждать, чтобы луна осветила мою прекрасную наготу, а любимый увидел под покровом ночи мой стыд? Кому принесу я дитя, рожденное мной? А если этот случай придет, когда я стану старухой?

Дион молчал.

— Ладно, делай что хочешь, — устало сказала Дионелла, вошла в воду и скрылась среди камней.

Дион с тревогой смотрел ей вслед.

— Я жду тебя с первым лучом солнца! — донеслось из грота.

Светила луна. Дион бежал не оглядываясь.

Он приближался к городу, над которым простиралось красное зарево. Го-

родские ворота были распахнуты, и сквозь них сновали пешие воины, конники, грохотали телеги, груженные добром.

Со всех сторон доносились крики и стоны побежденных, но пьяный хохот победителей заглушал плач несчастных. Накануне город был захвачен черными рыцарями и на трое суток отдан на разграбление кочевникам, с помощью которых рыцари проводили осаду.

Шла третья ночь, самая страшная.

Черные рыцари связали правителя страны, посадили на осла задом наперед и с толпой смуглолицых кочевников возили по улицам, всячески издеваясь над несчастным. Седой правитель переносил все это с достоинством и мужеством.

Пожалев старика, Дион влез на опрокинутую телегу и стал кричать:

— Сокровища! Сокровища! Во дворце нашли подвал — там горы золота!

— Золото! — закричали вокруг. — Золото!.. О-ооо!.. А-эээээ!.. Ийяаа!..

Все ринулись во дворец, забыв о седом правителе. Дион спрыгнул с телеги, развязал на несчастном веревки и потащил его по темным улочкам.

— Кто вы, благородный юноша? — спросил правитель.

— Это не важно, повелитель, спасайтесь!

— Если бы удалось пробраться на корабль! Там королева и мои дети. Они вот-вот должны отчалить. Наверно, ждут меня и обороняются.

— Да поможет вам счастливый случай! — грустно улыбнулся Дион и побежал по переулку.

Старик, запыхавшись, догнал Диона.

— Помогите, благородный юноша! Мне надо забрать сундук, в нем все мои сокровища — чужбина не любит нищих.

Дион нахмурился:

— Времени у меня до первого солнечного луча... Далеко сундук?

— Совсем рядом... Во дворе одного дома заросший пруд, на дне пруда подвал. Точно над ним лилии. Пруд неглубок. Под водой найдете кольцо. Это дверь в подвал. А выход по винтовой лестнице — там увидите.

Правитель показал дом, окруженный стеной. Дион взобрался на стену и спрыгнул в сад.

Берег пруда зарос высокой травой, вода у берега была затянута тиной. Пруд был освещен светом луны и всполохами горящего города. Дион увидел лилии, вошел в воду, пошарил по дну и нащупал кольцо. Юноша сорвал лилии, чтобы не мешали, потянул за кольцо, оно легко поддалось, и Дион провалился в подвал вместе с хлынувшей в отверстие водой. Тут же дверца над головой захлопнулась и так плотно, что вода сверху даже не капала.

Дион поднялся — лилии остались в руках. Где-то в дальнем конце подвала виднелась узкая полоска света, да в углу что-то поблескивало. Дион ступал чуть слышно. Оказалось, что поблескивает серебряный сундук, а полоска света шла из-под двери, к которой вели ступеньки. Он взвалил сундук на плечо, поднялся по ступенькам, открыл дверь и обомлел — прямо перед собой он увидел огромного человека с бритой головой. Глаза у него вылезали из орбит, вздущийся, как шар, живот был подпоясан широким кожаным ремнем, а над животом свисал большущий пульсирующий зоб, в котором тонуло бледное лицо, покрытое местами бурой слизью. Он ел сразу из нескольких мисок, с невероятной быстротой опорожня их. Слезы лились по его лицу. Увидев в руках у Диона лилии, бритоголовый задрожал.

— Дай! — прохрипел он. — Дай хоть понюхать!

Дион протянул лилии. Бритоголовый понюхал, сразу обмяк и сказал, обливаясь слезами:

— Горе мне, неизвестный путник! Как это случилось, никто не знает — надо мною заклятие: я жаба, но каждую ночь превращаюсь в человека! Голод терзает меня, но чем больше я ем — тем больше хочу есть. Мои детки бегут от ме-

ня — боятся, что я их съем! Я и сам боюсь этого. Когда превращаешься в человека, ты способен на все! Понюхай лилии — они пахнут маленькими лягушатами...

Бритоголовый жадно засунул лилии в рот и стал жевать их, глядя на Диона виноватыми глазами, полными муки.

— Есть спасение от заклятия?

— Может быть, и есть. За морем живет царь-колдун, — ответил бритоголовый, не переставая жевать и обливаясь соком. — Но мне не добраться туда, убьют по дороге. Любой мальчишка норовит прибить жабу камнем. А ночью голод терзает меня: полночи я ворую еду, полночи ем...

— Буду у колдуна — спрошу о тебе! — на ходу крикнул Дион и быстро поднялся по винтовой лестнице, унося на плече сундук.

— Захочешь меня увидеть, подуй в стебель лилии. Я тут же явлюсь к тебе, где бы ты ни был! — донеслось вслед...

Седой правитель томился в ожидании. Дион спрыгнул со стены.

— Вот ваш сундук, — сказал он.

— Спаси вас Бог, — поблагодарил седой правитель.

— У нас нет времени, — оглядываясь, сказал Дион. — Если я доставлю вас на корабль, обещаете выполнить две мои просьбы?

— Клянусь!

— Первая — мне может понадобиться немного золота, вторая...

В темноте слышались тяжелые шаги. Дион притаился.

— Я не могу рисковать своей жизнью, — тихо сказал юноша. — Она сейчас принадлежит не мне.

Дион быстро спрятал сундук в пустую бочку, валявшуюся у стены. В тот же миг из темноты выступил черный рыцарь в железной маске, с белым султаном на голове.

— Нгыда-дза гульбу аз-тага? — спросил черный рыцарь гортанным голосом и поднял огромный меч.

Дион неожиданно катанул под ноги рыцаря бочку, в которой был сундук, и рыцарь растянулся. Он вскочил и бросился на Диона, но юноша тут же исчез в темноте, куда, грохоча и подпрыгивая, покатила бочка. Рыцарь бросился в погоню, седой повелитель последовал за ними.

В темноте слышались тяжелое дыхание, топот, лязг и грохот. Гортанный голос черного рыцаря издал победный клич, на фоне горящего огнем неба молнией взвилось лассо, и все стихло.

Пушки парусника палили по берегу.

Кочевники и черные рыцари готовили лодки для захвата корабля, но ядра разбивали их в щепы.

Неожиданно из дыма и пламени возникла фигура черного рыцаря в железной маске с белым султаном на голове. Рядом с ним в накинута на голову мешке стоял человек со связанными руками.

— Ату-нгу-ду-куарра мэй! — закричал рыцарь гортанным голосом.

— Куарра! — с восторгом отозвались черные рыцари.

— Эй-я-яааа! — воинственно откликнулись кочевники.

— Нгуарра-дыгы куарра мэй дог! Ндиндо-ра майгур! — крикнул рыцарь с белым султаном.

— Иййяй ду майгур! — дружно ответили воины.

Пушки с парусника продолжали палить, но черный рыцарь стоял как загворенный. Кочевники перестали обращать внимание на ядра, подчиняясь властному голосу черного рыцаря, говорившего на их языке. В несколько секунд погрузили они на остроносую лодку бочонки с порохом.

— Атуя нгу ндрге тигу куарра! — крикнул черный рыцарь и сорвал мешок с головы стоящего рядом человека — под мешком оказался связанный седовласый повелитель.

— Ийяй-яяаааа! — раздался радостный клич.

Черный рыцарь воткнул горящий факел в бочку с порохом, поднял ее над головой, толкнул старика в лодку и прыгнул вслед за ним. Десяток воинов подтолкнули ее, двое налегли на весла, и остроносая лодка стрелой полетела к паруснику.

— Геюнь гу-гу-гмэй! — крикнул рыцарь.

— Геюнь! Геюнь! Ийяаа! — завопили кочевники и полезли в лодки.

Черный рыцарь мчался к паруснику, высоко над головой держа пороховую бочку с торчащим в ней пылающим факелом.

— Стреляй, сынок, стреляй! — кричал повелитель, но пушки на паруснике молчали — сын не мог стрелять в отца.

Факел в бочке с порохом разгорался.

За лодкой рыцаря, все прибавляя скорость, плыли с десятков быстрых лодочнок — воины запели песню смерти:

— Гуй-юю а-э-э-э!

— Стреляй! Мне уже не поможешь! — кричал старик.

— Гуй-юю а-э-э-э! Гуй-юю а-а-э-э-э!

— А-ээээ! А-эээээ! Аа-ээээээ! — Быстрые остроносые лодки кочевников мчались к паруснику, песня смерти слышалась все ближе.

— Огонь! — голосом, полным отчаяния, скомандовал седовласый повелитель. — Отомсти за меня, сынок!

Пушки парусника выпалили разом — на корабле поднимали якорь.

Черный рыцарь поджег факелом фитили остальных бочонков с порохом. Фитили шипели, разгораясь и разбрасывая огонь.

— Нгеда тур-мейг! — коротко скомандовал рыцарь.

Гребцы послушно прыгнули в воду и поплыли к берегу. Лодка приближалась к паруснику со стороны кормы, прямо к поднимающейся якорной цепи.

Черный рыцарь, собрав все силы, забросил горящую бочку на парусник, и она покатила по палубе. Следом он бросил конец веревки, к которой был привязан старик. После этого все три бочонка с порохом полетели за борт, но не в сторону корабля, а наоборот. Грохнули три взрыва. Взлетели на воздух вместе со столбами воды лодки кочевников. Захлебываясь в бурлящей воде, ничего не понимая, смуглолицые воины пытались добраться до берега.

Рыцарь в какой-то момент успел ухватиться за якорную цепь, влез на палубу и одним ударом уложил сына правителя, бросившегося на него с мечом. Он помог жене и дочери втащить на борт связанного старика и кинулся к пылающей бочке с порохом, вокруг которой, ожидая взрыва, ничком лежала перепуганная команда.

Черный рыцарь перевернул бочку вверх дном и, убедившись, что огонь погас, бросил ее за борт, на палубе остался закопченный серебряный сундук.

— Я сказал, что не могу рисковать жизнью! — в сердцах произнес Дион, срывая с головы железную маску с белым султаном. Он зашвырнул ее далеко в море, крутанул штурвал, и корабль понесся по заливу в открытое море.

Команда, правитель, его жена, дочь и сын смотрели на юношу и не могли сдержать своих чувств — они плакали и смеялись.

— Вы герой! Герой! — кричал седовласый правитель.

— Надо верить в счастливый случай! — серьезно сказал Дион, все круче разворачивая парус. — Только бы успеть до первого луча солнца.

— Куда мы плывем? — спросила Джоан, рыжеволосая дочь повелителя, она смотрела только на Диона, и ее глаза пылали.

— К берегу! — ответил Дион.

На бешеном скаку свита Тура во главе с молодым хозяином скакала вдоль моря. Тур осадил коня, сделал знак, и все остановились у ручья.

— Напоите коней! — скомандовал Тур. — Да пройдите выше по ручью, там вода чище.

Воины пошли вверх по ручью и дошли до грота.

Тур сел у костра и закрыл лицо руками. Вдруг он услышал, как зафыркали и заржали кони.

— Хозяин, кони боятся — в гроте кто-то есть.

Тур вскочил, обнажил саблю и скрылся в гроте. Воины, подняв факелы, последовали за ним. Это было именно то место, где Дион оставил Дионеллу.

— Если ты здесь, Дион, — крикнул Тур, — выходи!.. Мы сразимся с тобой, как равные.

Дионелла-жаба не шевелилась, она затаилась, слилась с камнями, и Тур не заметил бы ее, но при его приближении она попятилась, плеснула водой и обнаружила себя.

— Здесь прячется отвратительная жаба! — крикнул Тур и добавил: — Прибейте ее!

Воины Тура стали швырять в Дионеллу-жабу камни, она металась по гроту, пытаясь укрыться, но все было напрасно — большой камень попал ей прямо в голову. Брызнула кровь, тело ее медленно вытянулось, она перевернулась белым животом вверх и замерла. Волны мерно покачивали меж камней безжизненное тело.

Светало. Дул свежий ветер, но море было спокойным.

Тур приказал седлать коней. В этот момент из предутреннего марева, как летучий голландец, возник парусник, от него отделилась лодка и поплыла к берегу. Тур и его воины спрятались.

Дион вышел на берег, и воины Тура мгновенно окружили его.

Тур и Дион смотрели друг на друга.

— Ты предал меня, — сказал Тур. — Есть ли у тебя слова оправдания?

— Я не предавал тебя, — спокойно ответил Дион. — Но ни слова не могу сказать в свое оправдание.

— Ты мой раб! — жестко сказал Тур. — Я купил тебя за кошель золота и сделал своим другом. Ты предал друга.

— Вот тебе кошель золота, — ответил Дион, протянув Туру кожаный мешочек. — Ты сам обещал дать мне свободу, и я не предавал тебя.

— Тогда объясни.

— Не могу — это тайна Дионеллы.

— Где она?

— Не могу сказать тебе.

— Тогда я убью тебя.

— Твое право приказать своим бесстрашным воинам, и они легко справятся с безоружным.

— Дайте ему оружие, какое он пожелает, и езжайте домой. Мы будем биться насмерть. Один на один. Кто останется жив, станет мужем Дионеллы.

Воины оставили меч, молча поклонились хозяину и поскакали прочь.

Тур поднял меч с земли, смерил со своим и, убедившись, что мечи одинаковы, бросил его Диону.

— Я не боюсь тебя! — сказал Дион, поймав меч. — Мы сразимся с тобой, но не сейчас. Сначала я выполняю клятву, данную Дионелле. Поверь, ее жизнь в опасности. И я даже не могу обратиться к тебе за помощью. Когда смогу, я найду тебя, и мы сразимся. Клянусь!

Сказав это, Дион положил меч на землю.

— Пусть рухнет мир, но я не могу не верить, когда так говорят! — сказал благородный Тур, вскочил на коня, поднял его на дыбы и помчался вслед за своими воинами.

С парусника раздался выстрел пушки. На палубе махали руками и знаками просили поторопиться.

Дион не обращал на это внимания.

— Дионелла! — тихо позвал юноша и вошел в грот.

Когда глаза Диона привыкли к сумраку, он с ужасом увидел покачивающееся между камней перевернутое кверху белым брюшком тело Дионеллы-жабы.

— Нет! — в отчаянии прошептал юноша.

Он двинулся к безжизненному телу и осторожно перевернул его. Из головы жабы бежала кровь. Юноша вынес тело Дионеллы-жабы из грота и положил в воду у берега в тихой заводи.

И тут первый луч солнца упал на безжизненное тело. Дион замер. Впервые он увидел, как Дионелла из жабы становится прекрасной девушкой: кожа жабы все более растягивалась, светлела и превращалась во что-то, похожее на большущий рыбий пузырь. Показалось, что через него просвечивает скелет, все время меняющий очертания, пузырь постепенно заполнился плотью, потом внезапно лопнул и исчез, обнажив бездыханную Дионеллу, слегка прикрытую водорослями. В голове у нее зияла рана, из которой медленно сочилась кровь, стекая в воду.

Потрясенный увиденным Дион вынес девушку на берег и укутал в плащ, слезы душили его.

— Я не уберег тебя,— горько сказал он.— Пришел долгожданный случай, и надежда ослепила меня. Будь проклят, Дион, и умри! Прости меня, благородный Тур, я не приду на поединок.

Дион приставил к своей груди меч, но в это мгновение послышался вздох и девушка, не открывая глаз, сказала:

— Слишком легко хочешь отделаться, раб... Я сама убью тебя!

Дион не двигался.

Дионелла открыла глаза:

— Что ты пялишься на меня? Лучше приложи к моей ране вон те вонючие водоросли.

Дион быстро собрал водоросли и стал прикладывать их к ране на голове девушки.

— Кто тебя? — спросил он.

— Проклятый Тур! Его я тоже убью! Как же он глуп, должна я сказать. Но это тебя не касается. Лучше скажи, где ты шляется? И что ты там лепетал о долгожданном случае? Ты имел в виду, что мне разбили голову?

С моря доносился звон колокола.

— Какой дурак там звонит? — Дионелла повернула голову к морю.

— Видишь этот корабль? — тихо спросил Дион.— Мы отправимся на Восток, и я освобожу тебя от заклятия. Ты ничего не должна мне за это...

Дион неожиданно смолк и закрыл лицо руками.

— Что с тобой? — испугалась Дионелла.

Она отняла от лица юноши руки — из его глаз градом лились слезы.

— Будь счастлив, великий Бог! — проговорил Дион.

Корабль плыл на Восток.

Никто ни о чем не расспрашивал Диона, хотя все на корабле умирали от любопытства.

Как только корабль вышел в открытое море, Дионелла подошла к юноше.

— Прими в дар,— торжественно сказала она, снимая кольцо со своего мизинца.— Ты спас меня.

Они плыли несколько суток. Правитель и вся его семья были в восторге от юноши и старались оказать ему всяческое внимание. А юная дочь правителя — ясноглазое рыжеволосое существо, полное очарования и детской непосредственности,— не скрывала своей влюбленности в юношу и ни на шаг не отходила от Диона. Она засыпала его вопросами и, не дожидаясь ответов, задавала все новые:

— Откуда Дион-Красивый знает язык черных рыцарей?

— А зачем Диону-Великому царь-колдун? Это опасно?

— А хочет ли Дион-Прекрасный иметь детей?

— А любит ли Дион-Великолепный рыжий цвет волос?

— А не согласится ли Дион-Благородный, Прекрасный и Великий, вместе с Джоан-Влюбленной однажды ночью полюбоваться луной?

— Фу, дочка, это неприлично,— говорила мать.

— Прилично! — весело отвечала дочь. — Это лгать неприлично, а я говорю правду.

— Но у господина Диона есть Дионелла.

— Что ты, мама, она ему совсем не подходит! — воскликнула Джоан с особой искренностью.

— По какой причине? — спросила Дионелла.

— По возрасту! — ответила Джоан, и от убежденности у нее выступили слезы на глазах, ей пришлось закусить губу и улыбнуться. — Вам сколько лет?

— Семнадцать,— слегка сбитая с толку, ответила Дионелла.

— Вот видите, вы уже старая! — сияла Джоан.

— А тебе сколько? — спросила Дионелла.

— А мне пятнадцать!.. Два года — это очень много! Два года для любви — это вечность!

Мать обняла дочь за плечи, стараясь остановить ее:

— Но они созданы друг для друга: их даже зовут Дион и Дионелла.

— Это слишком просто и сентиментально,— упрямо возразила Джоан. — Гораздо лучше звучит Джоан и Дион, верно?

Джоан обратилась прямо к сопернице, и Дионелла, приблизив свое лицо вплотную к лицу рыжеволосой, тихо спросила:

— Хочешь, я откушу тебе нос?

— Нет,— ответила Джоан, помолчав.

Она пожалала плечами и, сдержавшись, сказала:

— Холодно, правда?.. Я пойду в каюту.

Но до каюты не добежала и разрыдалась до того, как исчезла в дверях.

— Не обращай внимания,— говорил Дион. — Она ребенок.

— Я вовсе не обращаю на нее внимания, с чего ты взял? Просто я действительно откушу ей нос.

Дионелла сделалась мрачнее тучи, и Дион попытался отвлечь ее:

— Как твой новый дыхатель?

Но это еще больше испортило Дионелле настроение — сын повелителя на смерть влюбился в нее, и это ее раздражало.

— Какой нудный,— сказала она Диону. — Он уже раз двадцать сказал, что отравится, и раз десять, что повесится. В первом же порту куплю ему яд и веревку. Раньше такой жених быстро сиганул бы у меня в море.

Дион молчал.

— А тебе не надоела эта рыжая карлица? — ревнуя, спросила Дионелла. — Поверь, я не ревную и не стану откусывать ей нос, я ее просто придушу.

Дион молчал.

— Ты понимаешь, что я каждую ночь там... в трюме?

— Осталось недолго.

— И что будет? Ты освободишь меня от заклатья? А дальше?

Дион молчал.

— Ты зачем хочешь сделать это? Чтобы из благодарности я стала твоей женой?

Дион продолжал молчать.

— А если я не люблю тебя?

— Тогда я уйду, и ты никогда больше обо мне не услышишь,— ответил Дион.

— Чего же ты не уходишь? — смеялась ему в лицо Дионелла.— Потом ты скажешь, что так влюблен, что не в силах уйти, и умрешь у меня на глазах.

— Может быть, и так,— сказал Дион.

— Не умрешь! Любая девка, да хоть эта рыжая карлица, однажды скинет одежды, откроет пред тобой свой девичий секрет — и ты готов! Пара ласковых слов, лживая нежность рук — и ты останешься жить.— Дионелла вдруг оглянулась.— Нет, я все-таки откушу ей нос.

На палубе снова появилась Джоан. Следом шла черная рабыня с подносом, на котором стояли бокалы с вином.

— Давайте пить шампанское! — говорила Джоан как ни в чем не бывало.

На ее лице были видны следы слез, но глаза, устремленные на юношу, сияли.

— Дионелла должна отдохнуть,— ответил Дион, глядя с тревогой на заходящее солнце.

— Нет уж, мы выпьем! — сказала Дионелла.

Она подняла бокал и выпила шампанское одним глотком. Потом с улыбкой так же эффектно выпила один за другим все остальные.

— Несите еще! — хлопнула в ладоши Дионелла.— Катите бочку!

— Дионелла, идем! — Дион пытался взять ее за руку.

— Не прикасайся ко мне, раб!

— Раб?! — ахнула Джоан.

— Да, это сбежавший раб! — сказала Дионелла, явно получая удовольствие, и обратилась к Диону: — Правда?

— Это правда? — спросил правитель.

— Правда,— ответил Дион.

— Как романтично! — воскликнула Джоан, всплеснув руками.

— Тащите вина! — кричала Дионелла.

— Вина! — вторила Джоан, ни в чем не желая уступать сопернице.

Матросы катили бочонок.

— Солнце заходит,— шептал Дион.

Дионелла в упор смотрела на юношу — в ее глазах горел зеленый огонь, и во всем лице была отчаянная решимость.

Она зубами вырвала из бочонка деревянную пробку, сделала два больших глотка, и в это время погас последний луч солнца. Руки девушки опустились, и вино из бочонка полилось по палубе.

— Пить! Пить! — Дионелла приникла к бочонку.

— Не смотрите! — закричал Дион.— Уйдите! Покиньте палубу! Все!..

Но было поздно. Дионелла пила из бочонка, не останавливаясь. Она раздувалась, раздувалась и на глазах у всех превратилась в уродливую и страшную жабу.

Дион подошел к ней и хотел поднять, но она отпрыгнула, перевалилась на бок, квакая, поползла прямо к Джоан и прыгнула к ней на колени.

Джоан застыла от ужаса, а пьяная Дионелла-жаба все пыталась подпрыгнуть и схватить ее бородавчатыми губами за нос. Она срывалась, падала, заваливалась на бок и все квакала своим отвратительным голосом. Наконец, ее стошнило, она успокоилась, улеглась у ног Диона и захрапела.

С Джоан случился обморок, влюбленный сын правителя пытался убить себя столовым ножом, его связали и вместе с сестрой унесли. Все разошлись. На палубе остались Дион с Дионеллой-жабой у ног и седовласый правитель.

— Благородный юноша...— начал было правитель.

— Извините нас! — сказал Дион.— Пусть она поспит на воздухе, она задыхается там, в трюме.

Седой правитель помолчал.

— Царь-колдун очень стар,— снова заговорил он.— В последнее время он колдует редко, мало что помнит из черной магии, да и белую, говорят, забыл.

Может смешать не те смеси, спутать заклинания, и, что у него получится, он и сам не знает. Сейчас мало кто рискует обращаться к нему. Хочу вас предупредить: он коварен и глуп, на старости лет его любимое занятие — бессмысленные и жестокие казни.

— Буду надеяться на случай,— тихо сказал Дион.

— Я понимаю вас, но послушайтесь моего доброго совета,— с волнением проговорил седой повелитель.— Решительность — не жестокость. Бросьте несчастную в волны! Не раздумывайте. Сейчас же! Нельзя так мучить ее и себя. Вас полюбила моя дочь...

— Если вам дороги жизнь и ваши близкие, уходите! — с трудом сдержав гнев, ответил Дион.— И лучше всего вам всем не показываться на палубе до самого берега.

Над морем стояла светлая ночь. Парусник ходко шел навстречу волнам. Одинокая фигура Диона до утра оставалась на мостике. Пьяная Дионелла-жаба храпела рядом, растянувшись на палубе.

Ранним утром корабль причаливал к берегу острова, где правил царь-колдун.

Джоан и сын седовласого повелителя на палубе так и не появились. Седой повелитель и его жена, грустные и подавленные, смотрели вслед уходящему Диону, который под руку вел Дионеллу. Она шла пьяной походкой, то и дело спотыкаясь и падая.

Дул сильный ветер, столбами поднимая песок.

Дион решил надежно спрятать Дионеллу далеко за городом. Он нашел тихое, укромное место в зарослях, где протекал ручей, и уложил Дионеллу спать. Она пролепетала что-то о том, что никогда не простит измены Диона с рыжей карлицей, и уснула. Дион отправился в город.

Над приземистым глиняным городом, огороженный высокой стеной и глубоким рвом, по которому текла река, возвышался дворец царя-колдуна. Утверждали, что властелин острова умеет превращать своих врагов в пыль, и оттого над королевством часто проносятся пыльные бури. Как видно такая буря только что кончилась; повсюду горели костры, стучали барабаны и слышались крики глашатаев.

— Наш великий из великих, мудрейших из мудрых превратил всех врагов в пыль, спас нас от смерти, грабежа и бесчестья! Несите несравненному повелителю подарки! — кричал тощий глашатай высоким голосом.

— Торопитесь, чтобы он не прогневался и не превратил всех вас в мышей и лягушек! — хриплым басом выкрикивал толстяк.

Дион огляделся и спросил у проходившего мимо старика:

— Если он умеет превращать людей в лягушек, значит, он и лягушек может превращать в людей?

— Верь, сын мой, всему, что говорится, да не забывай, что о многом и лгут,— ответил старик.

— Запомню,— улыбаясь, ответил Дион.— А не знаете ли вы, добрый человек, как попасть во дворец?

— Не торопись умирать, юноша,— сказал старик и растаял в облаке пыли.

На площади Дион увидел толпу, собравшуюся у лобного места, где царь-колдун любил вершить казни, наблюдая за ними из тайных окошек дворца. Дион пробрался поближе и стал внимательно наблюдать за происходящим. На голову приговоренного был надет мешок. В котле кипела смола. Палачи бросили несчастного в котел, взлетел столб пламени — и все кончилось.

Толпа быстро разошлась. Дион подошел к воротам дворца.

— Что тебе нужно, чужестранец? — спросил стражник.

— Я странствующий поэт и пришел к великому царю спеть гимн в честь его великих подвигов.

Диона провели в уютный дворик перед окном за золотыми решетками, дали лютню и приказали начать.

Дион запел.

Он пел старинную песню о подвигах, но смысл ее был в том, что любой подвиг совершается ради любви. Юноша всматривался в темное окно. Ему мерещились танцующие девы и бледное лицо Дионеллы за золотыми решетками. Он не видел, как в кустах собирались стражники, и не заметил, как они приблизились. Ему на голову надели мешок.

Дион не сопротивлялся. Его подняли на руки и потащили через глубокий ров с быстрой рекой, по лестницам наверх, потом вниз. Он услышал звон ключей и скрип отпираемых затворов. Его бросили на холодный каменный пол, и Дион, ударившись головой, потерял сознание.

Когда он пришел в себя и смог оглядеться, то увидел высоко наверху узкое окно за толстыми решетками, в которое заглядывала луна.

Ночью Дионелла-жаба сердцем почувствовала, что случилось несчастье, и отправилась спасать юношу. Долго прыгала она среди зарослей, пока не оказалась на дороге, ведущей в город.

Дорога под луной светилась, казалась бесконечной и пугала. Дионелла отдышалась и продолжила путь. Дороги в тех краях, как и у нас, очень извилисты. Говорят, человечество идет дорогой ослов, обходящих на своем пути каждый камень или яму, оттого дороги редко бывают прямыми и почти всегда петляют, как пути нашей жизни, положенные судьбой.

За одним из поворотов послышались голоса и скрип колес. Дионелла-жаба отпрыгнула на обочину и затаилась. Мимо медленно проехала повозка.

— Этого певца будут сжигать в кипящей смоле? — спросил молодой голос.

— Да, сынок, надо торопиться, а то не успеем разогреть смолу к назначенному часу.

Повозка скрылась в пыльном облаке, и Дионелла-жаба запрыгала дальше. Она делала большие прыжки, спотыкалась, падала и ударялась о дорожные камни. После каждого такого удара она некоторое время лежала, приходила в себя, потом прыгала дальше.

Диона приговорили к казни.

Перед ним на каменном полу башни смерти был разложен ковер, уставленный яствами. Горой лежали фрукты, золотые кувшины хранили драгоценные вина, серебряные пиалы были полны халвой и другими сладостями. Рядом лежала лютня. В серебряных подсвечниках горели свечи. Сам Дион был прикован и подвешен за руки к столбу.

— Ты пел прекрасно, — говорил Диону старый визирь. — Наш величайший из великих, мудрейший из мудрых плакал. Пойми, он не может позволить, чтобы кто-то, не столь разбирающийся в искусстве пения, слушал тебя и был бы не в силах оценить по достоинству. Тебя можно было бы заточить в башне, но ты молод и слишком долго будешь страдать. Поэтому утром тебя без задержки казнят. Возблагодари великого и приготовься к смерти. А это все, — он показал широким жестом на яства, — будет радовать твои глаза до утра.

— За что же меня казнить? Я не разбойник, не вор.

— Воров и разбойников мы отпускаем — иначе государственная казна скудеет, в том-то и мудрость великого.

— Развяжи меня, я голоден, — сказал Дион.

— Что ты? Как можно? Перед казнью есть не полагается. Мудрейший из мудрейших считает, что казнь на сытый желудок слишком жестока. А чем сильнее ты испытываешь муки голода, тем больше будешь рад смерти. Казнь назначе-

на на утро — ждать совсем недолго, певец, и ты обретишь покой. Ты заслужил его.

Подвешенный за руки, Дион медленно терял сознание и волю.

Дионелла-жаба торопилась изо всех сил.

Она очень устала и, услышав за спиной конский топот, уже не в силах была прыгнуть на обочину. Несколько ужасных мгновений провела она меж конских копыт, закрыв глаза и остановив дыхание. Но резвые кони, несущие веселых всадников, промчались, даже не задев ее. Конники с гиканьем унеслись прочь, и Дионелла-жаба, переведя дух, запрыгала дальше.

Дорога вывела путешественницу к реке, которая текла в город. Дионелла-жаба увидела вдали дворец царя-колдуна и прыгнула в воду. Река привела ее к крепостным стенам. Путешественница благополучно проплыла мимо городских ворот, миновала ночной базар и по каналу, который проходил под стенами дворца, никем не замеченная, проникла в дворцовый двор и вылезла на берег как раз против башни смерти, где томился Дион.

У стены башни, возле пруда росли белые лилии. На камне сидела девочка лет двенадцати, она плела из лилий венки и горько плакала.

— Ква-ква? — спросила Дионелла-жаба.

Девочка, не переставая плакать, ответила:

— Я младшая жена царя-колдуна... Это он научил меня понимать язык животных и птиц. Он говорит, что я мало люблю его и поэтому он не может колдовать.

Дионелла-жаба снова тихонько заквакала.

— Он заточен в башню смерти, — тихо ответила девочка. — А где ключи, я не знаю.

— Ква-ква-ква! — просила Дионелла.

Девочка не отвечала.

— Ква-ква! — заволновалась Дионелла.

— Не пойду, — всхлипывая, ответила девочка. — Он снова будет бить меня железной перчаткой... Он специально завел ее для меня.

— Положись на меня, — с трудом выговорила жаба человеческим голосом.

Царь-колдун был глубоким старцем и любил по ночам заниматься магией.

Все опыты он проводил на ближайших подданных и чаще всего на своем старом визире.

— Вот мазь вечной молодости, сделанная по египетскому рецепту. Ты обмажешься ею, я прочту заклинания, и ты снова станешь молодым.

— О светлейший, могучий и мудрейший, я вполне доволен своим возрастом, он дал мне знания и опыт, — сказал визирь. — Если я стану молодым, вы прогоните меня и возьмете другого визиря.

— Ты прав, — согласился колдун, — я прогоню тебя. Зачем мне молодой и неопытный визирь? Зато я испробую на тебе зелье и потом без риска сам стану молодым. Мажься!

— В прошлый раз по вашему рецепту я месяц был молодым козлом, — говорил визирь, размазывая по телу мазь. — Кем я окажусь сегодня, мой повелитель?

— Ты сомневаешься в моем искусстве? — строго спросил колдун.

Вместо ответа визирь быстро закончил дело. Царь-колдун облил его из серебряного кувшина особой смесью, начал читать заклинания и вдруг остановился:

— Забыл... Иммио-ниммеа-тоннио... Как там дальше?

Бедный визирь ничего не мог ответить — он начал дымиться, и, как только пытался что-то сказать, изо рта у него валил дым и даже огонь.

Царь-колдун стал делать руками магические пассы.

Бедный визирь вспыхнул и медленно превратился в камень.

Царь-колдун посплюнул палец и легко дотронулся до камня, появившегося из огня. Послышалось: «Тссс!» — камень оказался горячим, как раскаленный утюг.

Подумав, колдун постучал по каменному визирю волшебной палочкой, и тот рассыпался, превратившись в горстку кварцевого песка. Царь-колдун золотым совком ссыпал песок в большой кувшин и стал подливать в него разные смеси из разноцветных сосудов. Кувшин лопнул, развалился, и из него вышел несчастный визирь, у которого, словно у жеребца, развевался пышный конский хвост. Визирь-полуконь явно помолодел, он хлестал себя хвостом по бедрам справа и слева, будто отгонял надоедливых мух. При этом он очень стеснялся, потому что был совершенно голым, а вместо ступней у него были копыта.

— Надень мой старый халат,— недовольно сказал колдун.— Под ним никто не увидит твоего хвоста. Я вспомню это чертово заклинание, и мы попробуем еще раз.

— Я так испугался! — сказал визирь и неожиданно заржал, обнажив огромные лошадиные зубы.— Я сейчас вернусь, немного прихватило...

Хвостатый визирь торопливо накинул на себя халат и пошел прочь, звонко цокая по каменным плитам новенькими копытами и оставив на ковре несколько яблок свежего конского навоза.

— На конюшню, мерзавец! — вслед ему завизжал царь-колдун.— В стойло!

Неслышно ступая по длинному сводчатому коридору, ведущему в царские покои, младшая жена царя-колдуна бережно несла на руках Дионеллу-жабу. Мимо, стуча копытами и ничего не замечая вокруг, проскакал хвостатый визирь — халат на нем развевался, а сам он тихонько ржал.

Проводив глазами визиря, юная жена царя-колдуна с Дионеллой-жабой на руках юркнула в царские покои и спряталась за тяжелыми занавесями, которыми были убраны все стены. Царь-колдун читал фолианты.

— Имео-нимеа-тонио... емио! — прочитал он и повторил: — Емио!..

Собравшись с духом, Дионелла-жаба выпрыгнула из-за занавесей и шлепнулась на каменный пол прямо перед колдуном.

— Это что за гадость? — тупо уставившись на нее, спросил царь-колдун.

— Это вовсе не гадость! Это ты так заколдовал меня, свою любимую младшую жену,— с обидой ответила жена царя-колдуна из-за занавесей.

Жаба-Дионелла открывала рот, и было похоже, что это говорит она. Колдун не заметил обмана.

— А зачем я превратил тебя в жабу, не помнишь? — спросил он.

— Ты сказал, что я мало люблю тебя, и потому ты не можешь хорошо колдовать,— ответила жаба звонким голоском младшей жены.

— Правильно. Я это всегда говорю. Ты меня мало любишь, из-за этого приготовленный мной по египетскому рецепту эликсир молодости превратил моего визиря в полуконя. Оставайся жабой, я отдам тебя лекарям, они вскрыют твою внутренности и будут смотреть, как бьется твое холодное сердце.

— Клянусь, что буду любить тебя больше, чем все твои жены! — заплакали вместе юная жена колдуна и жаба-Дионелла.— Только расколдуй меня поскорей!

— Ты что, не понимаешь, несчастная тварь, что я не могу сегодня удачно колдовать! — застонал царь-колдун.— Какие-то хвосты, полукони, жабы! О гнусные дети порока, я с вами забыл все заклинания!

— Так прочти, что написано в черной книжке, которая хранится у тебя под подушкой! — закричала юная жена из-за занавесей.

— Дура! Там все перепутано! — зашипел колдун.— Я к каждой цифре приписал еще цифирьку, к каждому иероглифу еще один, к каждому магическому слову еще парочку, чтобы никто, кроме меня, не мог правильно прочитать за-

клинания и узнать их тайну, а теперь сам не знаю, что у меня фальшивое, что настоящее!.. Забыл!

— А ты вспомни, старый дурак!

— Пстой!

Колдун побелел, и глаза его загорелись злобным огнем.

— Откуда ты знаешь про черную книгу? — обратился он к жабе-Дионелле. — Ты что, заглядывала в нее, подлая воровка и грязная развратница?

Дионелла-жаба молча смотрела на колдуна. Младшая жена притаилась за занавесями и тоже молчала.

— Измена! — захрипел колдун. — Ты хочешь выведать мои магические тайны, околдовать, извести меня и завладеть тронем?.. В куски изрублю!

Он сорвал со стены кривую саблю, взмахнул ею, но в этот момент его младшая жена с криком выскочила из-за занавесей и повисла у него на руке.

— Спасибо тебе, о великий и добрый! Ты расколдовал меня! Видишь, как я тебя люблю, раз ты снова можешь колдовать! Ты рад? Рад, мой старичок?

Девочка стала обнимать старца, незаметно забрала у него саблю и сунула ее под кровать. В это время Дионелла-жаба успела скрыться за занавесями.

Вытаращив глаза, царь-колдун тупо смотрел на девочку и шевелил губами. Потом он притянул к себе ее голову, украшенную венком из белых лилий, понюхал цветы и заглянул ей в самые зрачки.

— Разве я колдовал? По-моему, я собирался изрубить тебя в куски...

— А волшебная сабля? Ты же сам всегда говоришь, о мудрейший, что все, к чему бы ты ни прикоснулся, становится волшебным! — весело рассмеялась девочка и начала танцевать.

— Раскрой занавеси на окнах! — заорал колдун.

— Ведь еще не взошло солнце! — танцует, говорила девочка. — Разве ты разлюбил меня?

Царь-колдун с неожиданной прытью стал сам срывать все занавеси подряд. За ними открылись окна, в покои проник первый луч солнца, и послышался легкий стон. Колдун тряс занавеси и срывал их одну за другой — их явно давно не чистили, и потому в царских покоях поднялась настоящая пыльная буря.

— Ничего не вижу! — орал царь-колдун.

Пыль стала оседать, и перед царем-колдуном, как видение, возникла золотая Дионелла. Голова ее была украшена венком из лилий. Она смотрела на старого колдуна с легкой усмешкой.

Увидев неземную красоту девушки, колдун потряс головой, чтобы отогнать наваждение, но красавица не исчезала. Колдун оглянулся — никого. Младшая жена царя-колдуна в суматохе успела спрятаться, прикрыв жабу-Дионеллу своим венком, но в клубах пыли не увидела, как жаба превратилась в прекрасную девушку. Теперь, потрясенная ее красотой, девочка-жена смотрела на нее из-за полога, открыв рот, и млела от восторга.

Колдун долго молчал, он был потрясен и растерян.

— Откуда ты явилась, о луна, ставшая солнцем? — наконец, спросил он неожиданно охрипшим голосом.

— Я все время была здесь, повелитель, — ответила Дионелла.

— Какой волшебный голос! — дрожа, восхитился царь-колдун. — Но ты ошиблась, о слепящий свет Вселенной, я не повелитель, я не твой раб!

Дионелла коротко взглянула на старика и спросила:

— И ты воображаешь, что я могла бы полюбить раба?

— Раб может стать повелителем, и уж если придет к власти, то отдаст ее только вместе с жизнью. Но женщины чаще предпочитают повелителей, чтобы делать из них своих верных рабов. Ха-ха!

Колдун рассмеялся. Он смеялся все громче и стал хохотать так, что выступили слезы. Неожиданно колдун упал на колени и бросился целовать Дионелле ноги.

— Не смей, грязный старик! — сказала Дионелла. — И запомни: в любви раб и повелитель — одно лицо!

Царь-колдун внимательно посмотрел на Дионеллу, и его щеки вдруг нервно задергались. Он понюхал воздух, резким движением протянул руку за полог и за волосы вытащил оттуда свою юную жену.

— Не надо обманывать пожилых людей, даже если ты дочь самого болотного царя и похищенной им египетской царицы, — тихо сказал старик.

Дионелла похолодела, но лицо ее оставалось спокойным.

— Видишь ли, о несравненная!.. Я не волшебник, я всего лишь колдун, — говорил старец, все более воодушевляясь. — Волшебниками движут любовь и восхищение, колдунами — ненависть и злоба. Я никогда не смог бы даже вообразить такое неземное совершенство, не то что создать! — Колдун стоял на коленях. — Сколько лет я мечтал о тебе! Я знал твою мать еще в Египте. Над тобой, говорили, тяготеет какое-то заклятие, не помню какое... Но теперь это не важно, о ниспосланная небом и адом! Ты сама явилась ко мне, и это рука Провидения... Стража!..

Покой мгновенно наполнились стражниками, появившимися со всех сторон: они выскакивали из потайных дверей в стенах, из люков в каменном полу, вылезали из-под царского ложа и прыгивали откуда-то сверху. Стражники выстроились кольцом и замерли, свирепо вращая глазами.

— Сегодня после казни, — торжественно объявил царь-колдун, — мы отпразднуем нашу свадьбу, и я стану самым счастливым человеком в поднебесье.

— Ура-аа! — грянула стража.

— Казни не будет! — твердо сказала Дионелла.

Она вырвала из рук колдуна плачущую младшую жену, спрятала ее за спину и властно протянула руку к старцу:

— Ключи от башни смерти!

Дионелла была полна гнева и презрения, она слегка побледнела, ее огромные глаза излучали свет. В гневе Дионелла была особенно прекрасной, и колдун, не скрывая восторга, любовался красавицей.

— Ключи, негодяй! — закричала Дионелла.

— Не надо кричать на старых колдунов, — мирно заговорил колдун, надевая на руку железную перчатку. — Это опасно... Можно стать жабой не только на ночь, но и на всю жизнь.

— Замолчи, колдун! — задыхнулась Дионелла. — Ты можешь снять с меня заклятие?

— Для этого ты должна стать моей женой, о чудо природы!

— Ты освободишь Диона?

— Для этого ты должна стать моей женой, о идеал совершенства!

— Но я... не хочу становиться твоей женой, колдун!

Старец продолжал как ни в чем не бывало:

— Да будет тебе известно, о дитя справедливого гнева, что ключи от башни смерти всегда находятся у моего визиря, а он теперь на конюшне.

Визирь стоял в стойле и бил копытом. Рядом стояли скаковые лошади, мотали головами и с хрустом жевали овес. У визиря вся борода была в овсе — он тоже хрустел, мотал головой и икал. Серая в яблоках кобыла трогала его лицо нежными губами.

В конюшню с шумом вошли стражники, следом царь-колдун, его юная жена и Дионелла.

— Поклонись моей невесте и дай ключи от башни смерти, ничтожный сын ехидны, — приказал царь-колдун.

Визирь открыл рот с лошадиными зубами, которые за это время выросли еще больше, и радостно заржал. После этого он устался на красавицу, стал бить копытом и яростно хлестать хвостом свои тощие бедра.

— Не смей так смотреть на нее, нечестивец! — закричал царь-колдун и железной перчаткой ткнул визиря в зубы. Тот выплюнул пару зубов, тут же пришел в себя, стыдливо прикрылся халатом и зашепелявил:

— Шшушаю и повинуюшь! — И загремел ключами.

Дион все так же висел на цепях. Услышав скрип отворяющихся дверей, он попытался открыть глаза, но не смог.

— Пжошу, пожалушта, для кажни вше готово, — шепелявил визирь.

— Казни не будет! — снова сказала Дионелла и добавила: — Развяжите и отпустите его!

— Мы сделаем это, но после нашей свадьбы, моя несравненная, — жестко проговорил царь-колдун.

— Дионелла? — Дион открыл глаза.

— Я, — тихо ответила девушка и подошла к нему.

Дион увидел на ее голове венки.

— На тебе лилии... — Он напрягся, словно вспоминая забытое. — Надо что-то сделать с лилиями...

— Эй, певец, не надо шептаться с чужой невестой! — крикнул царь. — Казнь откладывается! Сегодня, счастливец, ты будешь петь на нашей свадьбе! Назначаю тебя свадебным певцом.

Визирь громко заржал.

Дион заметался:

— Коня! Коня!

— Это не конь — это царский визирь, — объяснила Дионелла.

— Сон, — сказал Дион и закрыл глаза.

— Это не сон, — зашептала Дионелла, поднося к губам юноши кувшин с вином. — Мы у царя-колдуна, и он все обо мне знает. Это наш последний шанс. Да развяжите же его!

— Стража! — скомандовал колдун. — Желание нашей невесты — закон!

Вокруг все качалось и плыло: стражники снимали с Диона цепи, расплывалось лицо Дионеллы, Диона несли, сажали на подушки перед ковром, уставленным яствами.

— Ты его невеста? — спросил юноша.

— А вот это уже сон, — ответила девушка.

— А если не сон, что тогда? — поинтересовался колдун.

— Тогда я удавлю тебя в первую брачную ночь, — пообещала Дионелла.

— Не успеешь, — сказал Дион. — До брачной ночи ему не дожить!

Дион встал. Он был бледен.

— Стража! — крикнул царь-колдун.

Стражники бросились на Диона, скрутили ему руки и стали бить.

— Казнить всех! — визжал колдун. — Всех! И эту маленькую крысу, которая меня предала, тоже!.. А ты, болотная принцесса, завтра на коленях будешь проситься в мой гарем! И я еще подумаю, простить тебя или нет. Но этим пощады не будет! Я завтра же... на твоих глазах четвертую их, зажарю живыми, сдеру с них кожу и сварю в кипящей смоле!

Стражники привязывали пленников к столбу, пинали их и ругались.

— Вспомнил! — закричал вдруг Дион. — Я вспомнил!..

Силы заново вернулись к юноше, он разбросал стражников, схватил выпавшую из венка на пол лилию, оторвал ее стебель и подал в него. Протяжный нежный звук вылетел из стебля, тонким стоном заметался внутри гулкой каменной башни и улетел за окно в высокие дали. Когда стражники связали его, он был спокоен, словно не сомневался в помощи.

Тонкий, нежный звук молнией пролетел над улицами, напугав людей и верблюдов, ударился в скалы, окружавшие город, с порывом ветра промчался над

морем с кораблями и лодками, мигом пролетел поля, леса и стрелой упал в болото. С тревожными криками взлетели птицы, а из воды, покрытой тиной, высоко выпрыгнула огромная жаба и, описав дугу, плюхнулась на берег. Жаба тяжело дышала, глаза вылезали из орбит, зоб пульсировал, а перепончатые лапы дрожали... Нежный звук затих. На болото спустился туман. Ветер поднял его облаком в небо и погнал из дали в даль. Было тихо. И только одинокая птица звала кого-то голосом, полным печали...

Как говорят умные да ученые люди, наша Земля и все, что нас окружает, на две трети состоят из воды. Вода кормит, вода поит, вода несет корабли да лодки, рушит, роет, моет, рождает энергию, дает жизнь и смерть. Малая капелька сильнее камня — капля камень точит. Сколько превращений несет в себе волшебница вода! Дождь — вода, снег — вода, лед — вода, пар — вода, роса, иней, облако, туча — все вода. На свете есть еще много необъяснимого, но великая тайна воды по-настоящему никому не ведома. Как звук, вырвавшийся из стебля лилии, помог явиться в башню Жабу, неизвестно — вода молчалива и не открывает своих секретов даже автору...

День подходил к концу.

Над городом висел туман, из которого призраком выступал дворец короля-колдуна и его башни.

В башне смерти к столбу были теперь прикованы трое — Дион, Дионелла и младшая жена царя-колдуна.

— Скоро зайдет солнце, — глядя на окно, с тревогой сказал Дион.

Ему никто не ответил. Было слышно, как бьют барабаны и кричат глашатаи:

— Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Завтра большая казнь!.. Храбрейший из храбрых, мудрейший из мудрых победил трех великанов и приговорил их к казни...

Барабаны били не переставая.

На каменном полу, как и в прошлую ночь, на коврах были расставлены яства, вина и цветы. Среди этого пышного убранства странно выглядела мрачная фигура палача, точившего в углу башни свои топоры. Топоров было много: от маленького — до огромного.

— Зззи-инннь! Ззззззи-инннь! — пел в тишине точильный камень.

— Ййййй! — скрипнула потайная дверь в стене.

Громко цокая копытами, в башне появился визирь. Он стал еще больше походить на лошадь, но явно помолодел и приободрился. Полуконь весело заржал и, потирая руки, спросил:

— Што вы тут жамышляете? Жаговор? Ижмена? Подкуп?

— Что, нет другого места точить топоры? — спросила Дионелла.

— Это шпешально! Только для ваш! Мудрейший приказал, штоб было поштрашнее, — прошепелявил визирь.

— А зачем столько топоров? — спросил Дион.

— Неижвешно, што может прийти в голову умнейшему из умнейших. Может, он решит одному отрубить голову, другую ижрубить на мяшо шобакам, третью шетвертовать. Тут инштрумент нужен ражный, — болтал визирь и, глядя на Дионеллу, бил копытом.

— Казни не будет! — сказала Дионелла.

— Вы только не бешпокойтесь, о нешравненная, кажним кого-нибудь другого. Кажни отменять вродно — нашинается повальное воровштво.

Палач закончил свою работу и вышел, оставив поблескивать в углу груды остро отточенных топоров. Визирь-полуконь воровато оглянулся, приблизился к Дионелле и зашептал:

— О моя прекрасная, нешравненная и шправедливая, хотите меня подкупить? Для меня предать царя будет за шшаштье... То кожлом хожу, то ошлом, то павианом, школько можно...

— И червяком! — напомнила жена царя.— Я ему яблоки носила в день по три. Он и жил в них, и жрал их.

— Про это могла бы не говорить,— обиделся визирь.— Подкупите меня, нешравенная. Я шражу продавши, недорого...

— Пошел вон, ничтожество! — закричала Дионелла.— Это тебя надо четвертовать и изрубить на мясо собакам, продажная тварь!

Визирь в страхе попятился и собрался было уйти вслед за палачом, но из темноты, сбив его с ног, выпрыгнула громадная жаба. Следом хлынула вода, и башня заполнилась туманом. В эту же секунду погас последний луч солнца.

Жаба стала раздуваться, превратилась в огромный пузырь, который неожиданно лопнул, и все увидели огромного человека с наголо обритой головой. Глаза у него вылезали из орбит, вздувшийся, как шар, живот был подпоясан широким кожаным ремнем, над животом нависал большущий пульсирующий зуб, в котором тонуло бледное лицо, покрытое местами бурой слизью. В то же время знакомые нам превращения произошли с Дионеллой — к столбу в башне смерти была теперь прикована цепями огромная жаба.

Визирь охнул, копыта его подогнулись, и он сел прямо на пол, едва успев пристроить поудобнее хвост. Жаб подошел к Диону, со стоном рухнул перед ним на колени и зарыдал:

— О мой благородный друг! О милостивый господин! Поесть! Умираю от голода. Кусочек! Кусочек чего-нибудь! Глоточек!

— Это все твое,— показал Дион на ковер.

Жаб увидел ковер, уставленный яствами, и с радостным воплем бросился к еде. Он хватался за кувшины и пиалы, не зная, с чего начать.

— Ешь досыта! Нам надо одолеть царя-колдуна и заставить его расколдовать принцессу. Это трудно, но ты сможешь мне.

— Только не я! — ответил Жаб, запихивая в свой широкий рот огромный кусок халвы.— Когда я превращаюсь в человека, то становлюсь таким трусом, подлецом и предателем, каких земля не носила. Родных лягушат и жабу-маму предать могу!

— Ты ведь просил избавить тебя от заклатья,— напомнил Дион.

— Но я не обещал тебе помогать в этом,— возразил Жаб, уплетая за обе щеки инжир и хрустя косточками.

— От тебя много не потребуется,— сказал ему Дион и обратился к визирю: — Ты, кажется, хотел продаться?

Царь-колдун не первый час ворочался на большой постели без сна. Он привык, что какая-нибудь из жен расчесывала ему перед сном бороду жемчужным гребнем, и не мог без этого заснуть. Но любимая младшая жена томилась в башне смерти, а остальные жены так надоели, что царь скорее расчесал бы бороду сам, чем с их помощью. От нечего делать он прислушивался к доносившимся из глубин дворца звукам и придумывал для них такое происхождение, которое могло бы послужить поводом для какой-нибудь новой казни. Где-то стрекотал сверчок. Колдун понимал, что это сверчок и ничто иное, но убеждал себя, что это звук точила, на котором второй советник точит кинжал, чтобы совершить покушение.

«Завтра же велю колесовать его!» — решил царь-колдун и так обрадовался этой мысли, что даже стал засыпать. Вдруг каменные коридоры огласились звонким торопливым цоканьем. Цоканье стремительно приближалось, и с криком: «Ижмена!» — в покои ворвался визирь-полуконь. Вернее, конь-полувизирь, потому что конское начало еще больше возобладало в нем, и теперь он то и дело опускался на четвереньки, цокая об пол сросшимися в копыта пальцами.

— Ижмена, ваше велишество! — прошепелявил конь-визирь и по-конски замотал головой, украсившейся шелковистой гривой.— Велите перенести кажнь с завтрашнего дня на сегодня и кажьте Диона немедленно!

— Ускорить казнь — дело доброе! — обрадовался царь. — А причина?

— Невешта ваша превратилась в жабу, а Дион предлагал мне шокровища, чтобы я помог им бежать. Я обещал ему самую мушительную казнь, какую шмогу придумать, и брошился к вам.

— Верный визирь! — потрепал царь коня по холке. — Что же ты придумал?

Конь-визирь наклонился к царскому уху и зашептал. С каждым его словом лицо царя все ярче озарялось довольной улыбкой, а когда визирь закончил, царь просиял, залившись счастливым смехом.

— Ай да визирь! — воскликнул он. — Это куда забавней, чем колесовать второго советника, который к тому же чист, как младенец! Готовь немедленно!

Ночной город зашумел, как разбуженный в неурочное время улей. Били барабаны. Горели факелы. Кричали хриплыми со сна голосами поднятые с постелей глашатаи:

— Вставайте, горожане! Вставайте! Слушайте и не говорите, что не слышали! Большая казнь, назначенная на завтра, переносится на сегодня! Торопитесь на главную городскую площадь!

На главной площади на лобном месте громоздился огромный круглый помост, в центре которого стояла бурая от нескончаемых потоков крови плаха. Громадный палач в черном колпаке, сквозь узкие прорези которого едва поблескивали глаза, прохаживался возле топоров и по очереди брал в руку то один, то другой, выбирая, каким сподручнее отрубить несчастному Диону голову.

Рядом с плахой плотники ладили еще какое-то сооружение, в котором угадывались очертания большого шатра. Привычные к казням горожане недоуменно взирали на их работу, гадая, каким это новшеством решил разнобразить царь порядком-таки надоевшее всем зрелище.

Стражники привели Диона, жену царя-колдуна и Дионеллу-жабу, которая, тяжело плюхаясь брюхом на булыжники площади, покорно прыгала за стражником, волочившим ее на цепи. Диона вывели на помост и поставили на колени. Палач уложил его голову на плаху лицом к строящемуся шатру и привязал его руки ремнями к специальным колышкам.

На площади появился довольный царь в сопровождении радостно ржущего коня-визиря, в облике которого совсем уже не осталось человеческого. Он грациозной иноходью переступал копытами и лишь время от времени вставал на дыбы, словно вспоминая, что раньше ходил на двух ногах.

Главный глашатай развернул свиток и под барабанную дробь стал читать царский приговор:

— Наш мудрейший и величайший правитель впал сегодня в неимоверную милость. Он повелевает даровать жизнь своей младшей жене и болотной принцессе Дионелле, которая через минуту пополнит его гарем и на правах супруги удостоится высокой чести расчесывать ему бороду жемчужным гребнем. Конечно, мудрейший не может оказать столько милостей, не воздав их самой лютой казнью, на какую только способно воображение. И такая казнь ожидает сегодня чужестранца Диона, посевшего под видом певца проникнуть в нашу страну, чтобы хитростью расколдовать принцессу Дионеллу, в которую страстно влюблен. Посему величайший из великих...

— Хватит! — оборвал глашатая царь. — Не можете написать по-простому, дайте, я сам скажу, а то так до утра не казним.

— Итак, — обратился он к Диону, — ты в нее влюблен. Но она не может стать твоей женой, потому что каждую ночь превращается в жабу, так?

Дион молчал.

— И ты явился в мое царство, чтобы я расколдовал ее, — продолжал царь. — Я ее расколдую! Прямо перед тобой! Твоя любимая будет теперь красавицей всегда, даже ночью, но никогда не будет принадлежать тебе. Ты увидишь, как сбудется то, о чем ты мечтал, но лишь для того, чтобы в этом шатре раскол-

дованная принцесса расчесала мне бороду жемчужным гребнем. Это будет последнее, что ты увидишь в жизни.

Визирь голосисто заржал и поднялся на дыбы, забив в воздухе передними копытами. Он явно был горд собой.

— Она скорее умрет жабой! — крикнул Дион.

— Неужели ты откажешь мне в маленькой радости, если я избавлю тебя от заклятия? — обратился царь к Дионелле-жабе.

— Квак... — грустно квакнула жаба, и из ее больших выпученных глаз потекли крупные слезы.

Стражник окатил ее водой из ведра, чтобы не сохла пупырчатая кожа, и потащил на цепи в только что законченный плотниками шатер, который царские швеи сноровисто убирали лучшей парчой, бархатом и батистом. Стены шатра были умышленно сделаны из прозрачной ткани, чтобы происходящее внутри можно было хорошо рассмотреть с любой точки площади.

— Чудовище! — закричал Дион. — Придумай для меня другую пытку! Четвертуй меня, вырви мое сердце, отрезай от моего тела куски, чтобы бросать их собакам, но только не это! Не заставляй меня смотреть, как сбывается моя мечта, но не для меня.

— Видишь его истинную суть! — воскликнул царь, обращаясь к Дионелле. — Если бы он любил тебя по-настоящему, то был бы счастлив твоему избавлению, пусть даже это стоило бы ему жизни. Но он хотел только обладать тобой и этим сам обрек себя на лютые муки. Пожалуй, эта казнь даже справедлива...

— Будь добр, голубчик, добавь к моим многочисленным титулам «справедливейший из справедливых», — попросил царь главного глашатая. Когда ему случилось умиляться собой, он всегда называл своих подданных голубчиками, деточками и другими ласковыми словами.

— Только не это! — кричал Дион, силясь освободиться, но палач хорошо знал свое дело и привязал его на совесть.

— Однако приступим, — объявил царь и достал из кармана черную книгу с магическими заклинаниями.

Дионелла-жаба глядела на него из шатра круглыми глазищами — казалось, судьба Диона совсем не беспокоит ее. Неверный свет факелов освещал многочисленную толпу. Царь никогда не колдовал прилюдно, и все стремились пробиться вперед, чтобы не упустить невиданное прежде зрелище. Даже серая в яблоках лошадь, поклонница коня-визиря, оставила в стойле свой овес и явилась поглазеть, захватив с собой гнедую подружку. Пользуясь высокопоставленным знакомством, они пробились в первые ряды и стояли рядом с визирем, по очереди нашептывая ему в большие чуткие уши какие-то конские любезности.

— Заклятие Тонно-реммо! — концертно объявил царь, открыв свою книгу на нужной странице. — Люди превращаются в жаб, жабы превращаются в людей с последним лучом солнца. Чтобы снять его, надо прочесть задом наперед.

Царь открыл было рот, чтобы начать чтение, но осекся.

— На этой странице я, кажется, и так все задом наперед писал... — бурчал он себе под нос. — Или писал, как надо, но вставлял в середину иероглифы... Будь что будет!

— Тонно-реммо, солло-эвво, вирра-нолло, галла-сэлла... — начал читать царь-колдун.

Красивые слова древнего заклинания заморозили толпу. Люди стояли не шелохнувшись, и благоговейную тишину нарушал только треск факелов.

— ...нерро-фиммо, канна-симми... — продолжал царь.

В воздухе перед ним возникло свечение, которое с каждым произнесенным словом уплотнялось и вскоре стало напоминать огненный шар.

— ...сэлла-лиммо, кэнно-ферра...

Свечение уплотнилось еще больше и стало похоже на повисшую в воздухе шаровую молнию. Яркий свет отражался в выпученных глазищах Дионеллы-жабы и в полных муки глазах связанного Диона.

— ...тимма-ламмо, форро-вбрмтлщгр!

Последнее слово было самым трудным в заклинании, и произносить его правильно умел только царь-колдун. Его подданные без труда могли бы повторить предшествующие слова и даже создать шаровую молнию, но малейшая ошибка в произнесении последнего слова стала бы роковой — шаровая молния убила бы их на месте. Мудрость древних оградилась тайные знания от непосвященных, и, чтобы простым смертным не вздумалось превращать в лягушек неугодных соседей, колдовская наука была доступна лишь избранным.

Царь-колдун произнес последнее слово, и шаровая молния с громким свистом взлетела высоко вверх. Тысячи глаз зачарованно следили за ее полетом. Достигнув верхней точки, сияющий шар на мгновение замер, потом ринулся вниз и стремительной огненной стрелой ударил Дионеллу-жабу в самое сердце. Жаба вспыхнула, словно наполненный огнем прозрачный сосуд, погасла, и тут же ее кожа стала светлеть и растягиваться, превращаясь в большущий рыбий пузырь. Сквозь него просвечивал меняющийся очертания скелет, который на глазах изумленной толпы обрастал плотью, принимая контуры женского тела. Толпа ахнула, и тут тишину нарушил громкий крик:

— Кусочек! Кусочек чего-нибудь!

Хотя крик доносился из самого центра площади, люди не сразу обратили на него внимание, потому что все взоры были прикованы к происходившему в шатре чуду превращения. Но когда этот крик дополнился еще одним небывалым зрелищем, не обращать на него внимания стало невозможным, и взгляды людей разрывались теперь между тем, что свершалось в шатре, и тем, что творилось на помосте для казни.

Гигант-палач сорвал свой черный колпак, и все увидели странного человека, бледное лицо которого было покрыто бурой слизью и утопало в складках огромного пульсирующего зоба, тянувшегося к самому животу, подпоясанному широким кожаным ремнем.

— Кусочек, глоточек чего-нибудь! Всех предам за кусочек падали! — кричал Жаб-палач. — Ваше величество, визирь эту казнь подстроил, чтобы расколдовать принцессу и с ними бежать! Я Диона освободить должен... Кусочек, умоляю, кусочек чего-нибудь!

— Несчастный, ты же предаешь сам себя, — прошептал Дион.

— Я и себя могу предать, только бы дали кусо...

В этот момент пылающий шар прорвал рыбий пузырь, обнажив девичье тело Дионеллы, снова взмыл вверх и такой же огненной стрелой ударил в сердце Жаба. Громадный человек осветился изнутри и стал съезживаться, превращаясь в большую бурю рептилию.

— Ненавижу быть челове-ква... — квакнул Жаб и, прежде чем его руки сжались в бессильные лягушачьи лапки, успел перерезать топором пленившие Диона ремни. В ту же секунду конь-визирь, серая кобыла в яблоках и ее гнедая подруга выскочили из толпы.

— Шкорее-го-го! — заржал визирь, становясь на дыбы.

Остолбеневшие стражники не успели опомниться, а Дион, Дионелла и жена царя-колдуна уже сидели на конских спинах. Еще миг, и они понеслись прочь из города. Стражники кинулись на конюшню, чтобы пуститься в погоню, но оказалось, что ведущая к конюшне улица перегорожена повозками. Царь-колдун прочел заклинание, чтобы наслать на беглецов ядовитый град, но перепутал слова, и на толпу посыпались непонятно откуда тухлые яйца и гнилые сливы. Боясь попасть взбешенному царю под руку, люди бросились бегом с площади.

Возникла паника, и в суматохе никто не заметил, как большая жаба спрыгнула с помоста и спряталась под ведущими на него ступеньками.

Дион, Дионелла и младшая жена царя-колдуна гнали своих скакунов во весь опор. Серой в яблоках кобыле и ее гнедой подружке было не привыкать, а вот третий скакун еще вчера ходил на двух ногах и с непривычки еле дышал.

— Штойте! — с трудом переводя дух, проржал-прошепелявил конь-визирь, останавливаясь на развилке дорог. — Дальше нам не по пути. Идите налево ше-реж джунгли к реке — оттуда прямая дорога в порт.

— А ты? — спросила его Дионелла.

— Шешно шкашу, хотел я ваш царю выдать и предать с потрохами ради шобштвенного удовольштвия, — ответил визирь. — Но, штранное дело, шем больше штановилшя конем, тем больше хотел вам помочь. Да и шамому ушка-кать жажотелось. От кажней, от воровштва да от предательства куда-нибудь в штепь на волю! Денег нажил што шундуков — не нужны штали...

— Ты так богат?! — удивилась сидевшая на спине визиря младшая жена царя.

— Я ж при кажне... — скромно ответил визирь.

Дион и Дионелла спешили. После недолгого прощания визирь и его подруги-лошади поскакали дальше по дороге отвозить в родительский дом жену царя-колдуна, а бежавший раб и расколдованная принцесса углубились в джунгли. Взявшись за руки, они продирались сквозь заросли, перепрыгивали через овраги, норовя свернуть себе в темноте шею, но ни разу не расцепили переплетенных пальцев. Дионелла улыбалась, смеялась, потом вдруг плакала, снова смеялась и все время повторяла:

— Это моя первая ночь с тобой! Первая! Первая ночь!

Они вышли к реке. Полная луна отражалась в ее спокойных водах, шелестел камыш, и сама природа, казалось, подталкивала наших героев сказать друг другу самое главное. По-прежнему держась за руки, Дион и Дионелла сели на большой камень.

— Первая. Первая ночь... — снова прошептала Дионелла.

— Жаб! — воскликнул вдруг Дион и поспешно достал из кармана стебелек лилии.

Тонкий, нежный звук пролетел сквозь джунгли, пронесся над городом и нырнул под ступеньки помоста на главной городской площади. Через несколько секунд неведомая тайна воды перенесла Жаба к реке.

— Спасибо, избавитель... — с усилием проговорил Жаб и с громким кваканьем нырнул в воду.

Дион скомкал ненужный теперь стебелек и бросил его в прибрежную тину.

Казалось, ничего не произошло, но Дионеллу вдруг что-то смутило. Какая-то мысль терзала ее. Она стала печальна и даже не смотрела на Диона, отворачиваясь от него.

— Ты победил, — устало сказала она после недолгого молчания. — Я всем обязана тебе, да и не все ли равно, чьей женой стать, верно? Только не надо говорить, что ты был бескорыстен. Ты добился своего, я всю жизнь буду на тебя смотреть снизу вверх, обязанная тебе всем и навсегда униженная. Униженных не любят — ими пользуются. Считай, что ты купил меня, как вещь. Что ж, пользуйся мной, как вещью, — мне все равно. Только разреши напоследок испуститься.

Сбросив накидку, Дионелла скрылась в зарослях.

Она долго плавала и ныряла в спокойной речной воде, забиралась в камыши, снова ныряла и снова плавала, не торопясь выбираться на берег. Огромный рак неожиданно схватил ее клешней за руку. Отбиваясь от рака, Дионелла вынырнула и стала звать на помощь:

— Дион! Дион!

Дион не отзывался.

— Дион!

Дионелла отбросила рака и быстро поплыла к берегу.

— Дион! — позвала она, и в голосе ее чувствовалось раздражение.

В ответ молчание.

Дионелла выбралась на берег, стремглав промчалась через заросли и выбежала на поляну. На дереве висела ее накидка, пропущенная через кольцо с алмазом, которое Дионелла подарила юноше.

— И ты, несчастный, сможешь уйти от меня? — проговорила она, обращаясь к зарослям и думая, что Дион слышит и видит ее. — Смотри ж на меня! Смотри! Ты в силах отказаться от меня? Подлый раб, ты никогда не любил меня! Ты не можешь любить, потому что ты раб!

В ответ тишина.

— Подлец! — выдохнула Дионелла. — Ушел!

Она побежала через заросли:

— Дион! Вернись!.. Вернись!

Путь ей преградила черная пантера, оскалившаяся и готовая к прыжку.

— Прочь! — зарычала Дионелла и с такой яростью кинулась на пантеру, что та, поджав хвост, вскочила на дерево, свалилась с него и убежала.

— Клянусь этим небом и этой землей — я убью его! — крикнула Дионелла, и эхо разнесло по джунглям ее голос, ответом которому были крики перепуганных обезьян.

— Всех, кто свое ничтожное благородство ставит выше любви, убивать!

Диковинные птицы наполнили заросли воинственным криком — они были согласны с Дионеллой.

— Всех, кто не умеет без остатка отдаться страсти — гордецов, умников, властолюбцев, благородных воздыхателей, — всех превращать в пыль!

В ответ истошно вопили обезьяны, прыгая с ветки на ветку и раскачивая деревья; черная пантера, расположившись среди ветвей и изогнув дугой свое упругое тело, рвала когтями ствол дерева; на разные голоса орали диковинные птицы — все были согласны с девушкой.

— Клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу тебе, проклятый раб!

Море бушевало.

Волны с грохотом разбивались о камни. Пиратский корабль «Дионелла» уходил в плавание. Ветер трепал черный флаг с черепом и скрещенными костями. Дионелла стояла на палубе перед королем пиратов, который влюбился в нее с первого взгляда. Пират был высок и строен, лицо его было изуродовано шрамами, взгляд черных глаз был страшен, хриплый голос пугал Дионеллу, но она смотрела на него независимо и даже свысока.

Выбираясь из джунглей, Дионелла заблудилась, выбилась из сил и уснула в какой-то пещере. Сюда поутру и явились пираты, чтобы пополнить свой клад очередной богатой добычей. Пираты хотели убить девушку, которая обнаружила клад, но их предводитель и король не позволил этого.

— Или ты станешь моей женой, или я должен тебя убить, — сказал король пиратов.

— Ты любишь меня? — спросила Дионелла, всматриваясь в его лицо.

— Я назвал свой корабль твоим именем, когда еще даже не встретил тебя, — ответил великан.

Дионелла задумалась и ответила:

— Хорошо, я выйду за тебя замуж, если ты сможешь мне отомстить за смертельную обиду, нанесенную подлым рабом. Отвези меня в страну Тура, мой обидчик скорее всего там. Его ждет поединок, и я боюсь, что Тур убьет его раньше меня.

— Нам нельзя в страну Тура! — закричали пираты. — Там нас давно поджидает королевская стража! Нам никак нельзя туда!

— Труссы! — воскликнула Дионелла. — Если женщина не боится, то как можете бояться вы?

— Я назвал корабль твоим именем, — повторил пират. — Это залог того, что исполню любую твою просьбу. Поднять паруса!

— Я постараюсь полюбить тебя. Дайте мне оружие, я хочу стать настоящей женой короля пиратов.

— Для того чтобы стать королевой пиратов, — сказал одноглазый боцман, за поясом которого в чеканных серебряных ножнах сверкал драгоценными камнями дорогой кинжал, — одного оружия мало. Нужно знать пиратскую логистику и навигацию.

Пираты захохотали и окружили боцмана и Дионеллу, а одноглазый продолжал:

— Что это за птица и что она предвещает? — Пират показывал рукой в небо и улыбался.

Дионелла взглянула на летящую птицу.

— Это чайка?

— Нет, это альбатрос.

— А что он предвещает? — спросила Дионелла.

— Большую потерю! — смеясь, ответил одноглазый пират и показал ей колечко с бриллиантом.

Дионелла посмотрела на мизинец — кольца на пальце не было.

— Отдай! — протянула руку Дионелла.

— Что? — Одноглазый показал пустые руки. — У меня ничего нет. Ха-ха!

Кольцо исчезло. Пираты хохотали.

— Спасибо за науку, — вздохнула Дионелла и, посмотрев в небо, добавила: — Только это не альбатрос, а все-таки чайка. Видишь, какой у нее разрез крыла?

Пираты уставились в небо.

— Альбатрос! Это альбатрос! Девушка редко бывала в море! Ха-ха!

— Правильно, — согласилась Дионелла. — Это альбатрос, и он действительно предвещает большую потерю.

Все посмотрели на девушку — в руках у нее был дорогой кинжал, только что красовавшийся на поясе одноглазого боцмана. Острие кинжала уперлось в шею одноглазому.

— Кольцо! Иначе я воткну его тебе в глотку по рукоять!

Под восторженный рев пиратов одноглазый достал из рукава кольцо и отдал его Дионелле.

— Слава королеве пиратов! — заорала команда.

Пиратское судно легко скользило по ночным волнам. Дионелла стояла на носу и всматривалась в темноту.

— Я убью тебя, проклятый раб! — шептала она.

Светало.

И тут раздался крик впередсмотрящего:

— Земля!

Все высыпали на палубу.

— Сменить флаги! — хрипло скомандовал капитан.

Скалистый берег страны Тура проступал из утренней дымки грозным видом. Волны чередой набегали на берег. На пристани никого не было.

Когда пиратское судно причалило к пристани и пираты осторожно сошли на берег, на них неожиданно напала береговая охрана. Вооруженные до зубов воины выскочили из-за бочек и в минуту окружили пиратов. Бой был короток. Король пиратов дрался отважно, но, пронзенный копьем, упал на руки Дионелле и скончался, успев только сказать:

— Глупо умирать, когда любишь.

Дионелла была потрясена — она первый раз так близко встретила смерть. Сухими глазами смотрела она на лицо короля пиратов, изувеченное шрамами, и ничего не замечала вокруг. Когда к ней подошли стражники и попытались набросить на нее веревки, она вне себя закричала:

— Прочь! Я египетская принцесса! Меня похитил король пиратов. Я давала ему слово стать его женой, но теперь я свободна. Царь Тур ждет меня!

Услышав имя Тура, стражники со страхом и почтением поклонились красавице и оставили ее в покое.

Дионелла брела по лабиринту городских улочек и ничего не видела перед собой. Она впервые осталась одна, и это пугало ее. Она понятия не имела, куда идти и где искать Диона. Наконец ноги сами привели ее на многолюдный базар. Крики торговцев, рев ослов и верблюдов и говор тысяч людей, гомонивших на разных языках, обрушились на Дионеллу. Но в какую бы сторону ни глядела, она видела только жаровни, от которых шел дымок и неслись аппетитные запахи. Тут только Дионелла поняла, что очень голодна, и почувствовала, что у нее кружится голова. Навстречу ей двигались толпы. Дионелла внимательно присматривалась к каждому и заинтересовалась толстым купцом, раздетым в шелка. Девушка подошла к толстяку и обратилась к нему с самым невинным видом:

— Скажите, почтенный, что это за птица кружится над мясными рядами?

Толстяк увидел прекрасное юное лицо и расплылся в улыбке.

— Это ворона,— ответил он.— Но если ты, дитя, интересуешься пернатыми, пойдём ко мне, и я покажу тебе райских птиц.

— И вправду ворона,— скромно ответила Дионелла и добавила: — Я не интересуюсь пернатыми.

Дионелла исчезла в толпе, а толстяк долго еще причмокивал языком, глядя ей вслед. Он даже вспотел и засунул руку в широкий карман шелковых шальвар, чтобы достать платок, но вдруг покраснел, как рак, и стал шарить по карманам, дико озираясь по сторонам.

— Ограбили! — прошептал он и вцепился в стоящего рядом погонщика мурлов.— Это ты! Ты! Вор! Отдай мой кошелек, сын ехидны!

Собралась толпа. Погонщик выворачивал карманы и призывал бога в свидетели. Все кричали и махали руками. Началась потасовка...

Наблюдая за дракой, Дионелла ела дымящиеся куски мяса и от души смеялась. Она аккуратно собрала хлебным мякишем с тарелки соус, отправила вкусную лепешку в рот и снова растворилась в толпе.

Старая ворона, тяжело взмахивая крыльями, летела над базаром, унося добычу — в ее когтях трепетала рыба. А со всех сторон, то там, то здесь, неслись истошные крики:

— Ограбили!.. Украли!.. Держи вора!..

Перепуганные люди торопились поскорее покинуть базар, держась за карманы. Навстречу им спешили стражники. Дионелла вместе со всеми ахала и удивлялась. Как ни в чем не бывало она прошла мимо стражников и исчезла в кустах, растущих за базаром на берегу мутной реки.

Дионелла сидела одна среди чахлах кустов на пустынном берегу. Перед ней поблескивала внушительная горка золотых и серебряных монет. Дионелла сортировала их и укладывала в корзину. Потом нарвала свежих цветов, покрыла ими свое богатство и заспешила обратно на базар, выкрикивая, как заправская цветочница:

— Цветы! Цветы! Кому свежие цветы?

Дионелла чувствовала себя на базаре как рыба в воде. Она улыбалась прохожим и щедро давала милостыню.

— Спаси тебя бог, красавица! — кричали ей вслед.

В шелковых рядах она вошла в лавку и вышла оттуда, завернутая в золотистое сари, которое с рискованной откровенностью подчеркивало ее прекрасную фигуру, обнажая места молодое загоревшее тело и полоску живота с оголенным пупком. Все оглядывались на белокурую красавицу и провожали ее восхищенными взглядами.

Дионелла прошла в оружейные ряды, где отовсюду слышался звон кузнечных молотов, а возле кузни продавались кривые, тонкие и широкие сабли, всевозможные кинжалы, украшенные драгоценными камнями, пики, луки со стрелами — чего тут только не было.

Дионелла в этих рядах была единственной женщиной, и мужчины с любопытством посматривали на девушку в богатом сари и гадали, кто такая и почему интересуется оружием.

Дионелла с горящими глазами рассматривала кинжалы и не могла выбрать тот единственный, который помог бы отомстить обидчику.

— Бери! Бери вот этот — дамасская сталь, ручка в драгоценных камнях! Из Индии!

— Дарю! Бери! — протягивал другой торговец кривую саблю.

— Дарю! — протягивал третий торговец длинный тонкий кинжал. — Этот красавец входит в грудь, как в масло!

У Дионеллы закружилась голова, и она пошла прочь.

Пара внимательных глаз наблюдала за Дионеллой — нищий бродяга неотступно следовал за золотистым сари. Дионелла почувствовала на себе взгляд и обернулась. Бродяга просительно тянул к ней руку и мычал. Он жестами показывал, что нем, голоден и несчастен. Дионелла порывалась в корзинке и бросила немому золотой. Бродяга кинулся к ней в ноги и хотел поцеловать ступню. Дионелла отдернула ногу и замахнулась на него, но не ударила. Вокруг нее уже вопила, ныла и орала толпа нищих: старики, дети, женщины с младенцами на руках, карлики, убогие. Дети совали грязные ладошки в рот, показывая, как они голодны. Некоторые протягивали вместо рук короткие обрубки. Старухи показывали язвы во рту и хватали Дионеллу за руки.

На глазах у Дионеллы выступили слезы.

— Пойдемте! — крикнула она.

Окруженная толпой орущих нищих Дионелла пила дешевое вино в грязной харчевне-вертепе.

— Пейте! Пейте еще, сколько влезет! — Она бросила нищим горсть золотых монет. — Он бросил меня! Одну! В лесу, где меня чуть не съела пантера! Обезьяны хотели разорвать меня, птицы летали надо мной и жаждали расклевать мое тело, — рассказывала она. — Но я найду его! Найду и убью! Рука моя не дрогнет.

— Смерть ему! — вопили вокруг. — Смерть предателю!

— Я не стану его женой! Это беглый раб! Я выберу себе кого-нибудь из вас. И он станет первым, перед которым я скину одежды. Ну кто будет счастливым?

— Я! Я! Я! — бесновались вокруг.

— Тогда сражайтесь! Бейте друг друга до смерти за право первым увидеть мою наготу!

Завязалась неистовая драка. Дионелла с тоской и отвращением смотрела, как люди избивают друг друга. Она решила растоптать себя и хотела окунуться в грязь как можно глубже. Ей нужен был самый отвратительный подонок из толпы пьяного сброда, и расчет на драку оказался верным — в кровавом побоище нищих калек, убогих не только телом, но и душой, побеждал не самый силь-

ный, а самый подлый. Кто-то хватался за глаза, в которые была украдкой брошена соль; кто-то падал, получив удар ножом исподтишка. Не в силах смотреть на эту мерзость, Дионелла большими глотками пила кислое, но крепкое вино, и вскоре дерущаяся толпа слилась перед ее глазами в неразличимую круговерть.

— Пойдем со мной, красавица! Я победитель! — закричал какой-то отвратительный бродяга-горбун и, схватив Дионеллу за талию сильными корявыми руками, потащил ее в темную вонючую комнату...

Утром Дионелла проснулась в уютной каморке. Запах пота, винного переगरара и грязи душил ее. Она лежала на отвратительной засаленной постели, все так же одетая в золотистое сари. Узел на бедре оставался нетронутым. А вот корзины с деньгами не было.

— Он просто обокрал меня, этот горбатый ублюдок! — шептала Дионелла, пытаясь понять, что произошло.— Просто обокрал! Мной пренебрег даже вонючий бродяга!

Горбун действительно только обокрал ее. Ни ее неземная красота, ни молодость, ни невинность — ничто не привлекло бродягу, он предпочел деньги.

— Я больше не хочу быть женщиной — это слишком больно! — сказала Дионелла, но глаза ее оставались сухими.

Нетронутый наряд помог ей повторить воровской промысел, и скоро Дионелла с лихвой вернула похищенные горбатым бродягой деньги. В той же шелковой лавке она купила себе мужскую одежду и переделалась в молодого купца, наклеив себе усы и небольшую поросль волос на щеках.

— Я заставлю себя забыть, что я женщина,— твердо сказала она, выходя из лавки, и тут же лицом к лицу столкнулась с Дионом.

—мотри, куда идешь, слепец! — злобно крикнула она.

— Простите, господин,— ответил Дион,— но я в самом деле ничего перед собой не вижу. Печаль и тоска который день застилают мои глаза.

— Что же тебя так печалит? — уже мягче спросила Дионелла, не выдавая себя.

Дион не узнал девушку. Немыслимый груз утраченной любви сокрушал его сердце, и он готов был открыться каждому, кто хотя бы намекнет, что готов его выслушать. Они сели в тени, и Дион подробно рассказал своему новому другу всю историю.

— Она не простит меня, а жить без нее нет ни сил, ни смысла,— закончил он.— Я выйду на сражение с Туром и дам ему убить себя.

Юный купец плакал, слушая Диона, и отговаривал его от поспешного решения.

— Жизнь прекрасна,— говорил он.— У меня есть юная рабыня, которую я подарю тебе. Ты проведешь с ней ночь и забудешь свою возлюбленную.

— Я не хочу забывать ее.

— Брось, все забывают! Ты любишь темнокожих? Она понравится тебе — еще не знала мужчин, но страсть бьется в каждой жилке. Никогда бы не отдал ее, но надо как-то излечить тебя от твоей печали.

— Это не поможет.

— Посмотрим. Ты придешь в мой шатер, и я приведу ее.

— Не надо!

— Хорошо, прогони ее, если она не придется тебе по вкусу. Вытолкни ее вон, если она не вызовет в тебе желания, но спорим на трех моих лучших коней против твоего тощего кошелька, что ты не устоишь перед нею.

В сумерках Дион пришел в шатер, который указал ему юный купец. Он не хотел темнокожей рабыни, но провести еще одну ночь наедине со своими горькими мыслями в ожидании скорейшей смерти от меча Тура было выше его сил.

— Поговори со мной,— попросил он купца, который ждал его.

— После,— коротко ответил купец и исчез в темноте.

Дион лег на постель. Свет луны узким лезвием освещал его глаза, полные слез.

Послышался шорох. В открытом пологе силуэтом промелькнула фигура, и все стихло.

— Кто здесь? — спросил Дион.

— Я! — услышал он жаркий шепот.

— Что ты здесь делаешь?

— Раздеваюсь, мой господин...

— Уйди!

В ответ послышался тихий смех. Нагое женское тело прошло сквозь луч. Темная кожа девушки казалась лиловой, огромные серьги сверкали в ее ушах, вспыхивая в свете луны серебристым огнем. Едва различимая в лунном свете девушка легла рядом.

— Кто ты? — спросил Дион.

— Я стрела, выпущенная из лука, чтоб пронзить твоё сердце, мой господин. Я быстрая газель, обгоняющая ветер, и, когда позовешь ты, ни одна женщина не обгонит меня. Я буду твоим вечным наслаждением и никогда не надоем, потому что неистощима моя страсть к тебе. Я училась любви у воды, которая не течет два раза по одному месту! У волны, что уходит, возвращаясь, и возвращается, чтобы уйти! У ветра, что вечно ласков и каждый миг покидает навек. Я училась любви у пальмы, стан которой крепок и гибок! У ночной пантеры, которая всегда голодна и готова вонзить свои клыки в теплое тело! У рыбы, полной икры и идущей на нерест! Я училась страсти у вулкана, готового излить расплавленную лаву из своего чрева, у нежного луча утреннего солнца, у тишины и зовущей дали.

Луна уходила за тучи, горели костры, гремели тамтамы. Извивались в ритуальном танце черные тела погонщиков. У костров грелись верблюды, полулежа на боку, глядя остановившимися глазами на огонь, ничего не желая и ничего не ожидая для себя.

Над рекой вставало солнце. Дион проснулся в большом волнении. Черная рабыня исчезла. Он вышел из шатра и огляделся. Караван собирался в путь. Хлопотали погонщики, грузились товары. Дион нашел старшего погонщика и спросил его о молодом купце:

— Где мой юный друг?

Тот взглянул на юношу и неопределенно махнул рукой в сторону реки.

Дион побежал к реке.

От реки, умытая и свежая, вся в белых одеждах шла Дионелла — в ее ушах сверкали огромные серебряные серьги.

— Хорошо искупалась! — легко сказала Дионелла.— Вода, как молоко молодой кобылицы!

Дион увидел серьги, в которых юная рабыня приходила к нему ночью, вспомнил вчерашнее пари и все понял.

— Что скажешь теперь? — спросила Дионелла, позванивая серьгами.

Дион не мог найти слов.

— Поторопись отдать мне свой тощий кошелек, ничтожный раб! Вот она, ваша любовь: нагое тело, пара ласковых слов — и все забыто.

— Скажи мне только одно: вчера ночью, когда ты говорила мне эти слова, ты лгала?

— Какое это имеет значение? Ты изменил мне! Мужчины — это ничтожество и грязь. Я вас ненавижу!

Не успел Дион и слова сказать в ответ, как загремели барабаны, послышались приветственные крики толпы и победный рев медных труб. С триумфаль-

ной победой возвращался с войны доблестный Тур. Он был одет в костюм воина, и только тяжелая золотая цепь на нем говорила о его высоком положении.

— Слава великому Туру! — кричала толпа.

— Слава победителю! — кричали воины. — Слава! Слава! Слава!

Тур пригоршнями разбрасывал золотые монеты и устало смотрел по сторонам. Вдруг лицо его посуровело. Он властно вытянул руку и, что-то говоря, показал на Диона и Дионеллу, стоявших у берега. Конники Тура мгновенно окружили их. Через несколько секунд пленников, привязанных друг к другу спинами, уже везли в повозке по пыльной дороге.

Но Дионеллу волновало вовсе не это.

— Изменил, изменил, изменил! — твердила она. — Я стану женой Тура, и он убьет тебя!

— Развяжите их! — приказал подоспевший Тур.

Воины бросились исполнять приказание.

— Благородный Тур, этот подлый раб похитил меня, а потом изменил! Да, он изменил мне! — кричала Дионелла, освобождаясь от веревок. — Ты должен отомстить ему за все, если ты мужчина!

— Это правда? — спросил Тур.

Дион опустил голову.

— Ты достоин смерти.

Тур выпрыгнул из колесницы и подошел к пленникам. Он совладал со своим волнением и спросил:

— Согласна ли ты стать моей женой и хочешь ли ты этого? Пойми, я не стану тебя принуждать.

— Не хочешь ли ты сказать, что тебе все равно? — сверкнула глазами Дионелла.

— Совсем не все равно, — ответил суровый Тур. — Я все это время думал только о тебе, и я не изменял.

Дионелла растерялась:

— Тогда отвези меня сначала домой. Я не могу дать своего согласия без разрешения родителей. Но сначала отомсти за меня!

— Готовьте все для поединка, — сказал Тур своим воинам. — И дайте ему меч.

— Какой поединок? Убей изменника! — настаивала Дионелла.

— Поединок будет честным. Кто победит, станет твоим мужем.

— А если победит раб?

— Я дал слово!

Дионелла замолчала и с волнением стала наблюдать за происходящим.

Воины расступились. Секунданты принесли два одинаковых меча, Тур для верности сам сравнил их и, убедившись, что условия поединка равные, бросил меч Диону.

Толпа замерла.

Дионелла вышла вперед и сказала:

— Его мало убить... Пусть он постелет наше брачное ложе.

Тур отрицательно покачал головой.

— Но он изменил мне! — в ярости закричала красавица.

Тур поднял меч и бросился на Диона. В ту же секунду Дионелла сама, как фурия, налетела на Тура и повисла у него на руке, так, что оба оказались на земле.

— Я поняла! — Дионелла вскочила на ноги. — Он не изменил мне, он просто не смог устоять передо мной! Иначе, даже не зная, что это я, он пренебрег бы мной! Ты понимаешь, что тогда ему не было бы прощения ни на том, ни на этом свете?

Тур поднялся с земли.

— Ты любишь его? — спросил он.

— С первого дня! — задыхаясь, отвечала Дионелла.— С первой минуты, с первой секунды, всю жизнь и даже до того, как родилась!

Звонили колокола, свадебная процессия двигалась к церкви.

Когда Дионелла вернулась домой, король с королевой были вне себя от счастья. Дионелла настояла на том, чтобы свадьба состоялась на другой же день, иначе она умрет. За ночь королева-мать и Дионелла сшили роскошный свадебный наряд, который был ей весьма к лицу.

— Ничего, что Дион — раб? — осторожно спросила королева.

— Для любви раб и повелитель — одно лицо, тем более что завтра он станет принцем.

По дороге в церковь Дион не отрывал глаз от своей невесты, а она никак не могла успокоиться — плакала, всхлипывая, как маленькая, и все спрашивала:

— Неужели он любит меня? Неужели после того, что он из-за меня вытерпел, меня можно любить? Нет, это он нарочно, назло, чтобы я всю жизнь чувствовала, что я дрянь. Но теперь это не важно! Я выхожу за него не из благодарности за то, что он освободил меня от заклатья, а потому, что он не устоял передо мной, как и я не устояла перед ним,— вот и все!

Дионелла утирала слезы и всю дорогу в церковь тормозила родителей, толкая их в бок и заставляя смотреть на Диона.

— Вы только посмотрите, посмотрите, как он хорош! — тихонько говорила Дионелла и не могла остановиться.— Какой красивый, смелый, а, главное, как любит меня, как верен мне, правда?! Но ведь если он меня так любит, значит, не такая уж я дрянь, да? Я тоже чего-то стою, верно? Но он, он, он!.. Как он хорош! А я, если честно, такая жуткая дрянь, что, если бы у меня была такая подруга, я бы придушила ее или откусила ей нос!

Высоко в небе показались аисты.

— Хорошая примета,— сказала королева-мать.— В доме появится наследник.

— Не наследник, а наследница! — мстительно перебила счастливая Дионелла.— Дочь! Моя дочь!.. И берегитесь все! Все берегитесь!

Дионелла смеялась, и смех ее сливался со звоном колоколов. Закатное солнце разливало свет, а в небе летели аисты. Вот и все.

Так закончилась история дочери болотного царя. На этом можно поставить точку и самим подумать, как сложилась судьба героев и что было дальше. Есть, правда, один человек, который знает, что было потом,— это автор. Но даже он не в силах рассказать об этом, пока однажды снова не сумеет уловить тот едва ощутимый миг, когда ночь кончилась, а утро еще не наступило, и то, что может случиться лишь в сказке, происходит на самом деле. Только в эти редкие мгновения автору открывается вся правда, и он может продолжить рассказ, не кривя душой и не поступаясь истиной. Одно известно точно: у Диона и Дионеллы действительно родилась дочь. Ее назвали Юни, она не уступала матери в красоте и очаровании, но характер у нее был таков, что... Впрочем, придет время, и автор, может быть, расскажет не менее увлекательную историю под названием: «Юни — дочь Дионеллы».



Дневник читателя

Как известно, это только по молодости Федор Михайлович Достоевский впал в грех сен-симонизма, а так он был государственный, монархист, националист, милитарист и до некоторой степени юдофоб. Также общеизвестно, что Достоевский поныне остается непревзойденным гением повести и романа, достигшим таких глубин в области художественной идеи, что если бы у нас, кроме него, не было никого, мы все равно оставались бы первой литературной державой мира.

Как такое совмещалось в одной черепной коробке, понять нельзя. Конечно, можно и отмахнуться от этого феномена на том основании, что русский человек — тайна за семью печатями, а Россия — страна чудес. Но все-таки хочется понять Достоевского как поэта и гражданина, ибо наш читатель устроен таким образом, что ему хочется всё понять. Поскольку поделаться у нас ничего нельзя, по крайней мере хочется всё понять.

Всё, положим, не всё, а хотя бы это: почему Федор Михайлович, вообще не писавший о *народе*, если не считать выведенного в «Селе Степанчикове...» юного идиота, которому постоянно снится сон про белого быка, с таким упоением трактует само это существительное — «народ»? Вот читаем в его «Дневнике писателя» за декабрь 1877 года: «Если б Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие художественные сокровища для понимания народного, которые, влиянием своим, наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся до сих пор над народом в гордости своего европеизма, — к народной правде, к народной силе и к сознанию народного назначения». В этом сообщении Федор Михайлович такого туману напустил, что чуть ли не каждое слово остро подразумевает изучение и разбор.

Начнем с Пушкина. Коли предположить, что Бог есть, а это скорей всего, то, «если б Пушкин прожил дольше», он ничего бы больше не написал для вящего «понимания народного», или, вернее, так: что было предопределено Пушкину написать, то он в полной мере и написал. Думать иначе — значило бы позволить себе зайти слишком уж, до глупости далеко до несовершеннолетнего вопроса: что было бы, если бы Иван Грозный дожил до реформы 19 февраля? Да и что, собственно, еще можно добавить к «понимаю народному», больше того, что содержится в «Сказке о попе и работнике его Балде»? Собственно, ничего. Сколько существует качеств человеческого характера, столько их и заключено в персонажах сказки, от бессмысленной жесткости и отваги до редкой находчивости и страсти проехаться задарма. То есть тайна русского человека заключается только в том, что в нем есть всё от Бога и от *врага*.

Далее: что значит само «народное» и существует ли оно субстанционально как единство того или иного рода, если, сдастся, нет понятия более отвлеченного, более невнятного, чем «народ»? По науке, таковой представляет собою общность, вытекающую из единой морали, иерархии ценностей, социальных ориентиров и языка. В этом смысле сравнительно существует, например, немецкий народ, который за редкими, прямо аномальными исключениями исповедует отечество, труд, собственность, права личности, аккуратность и семейный фотоальбом. Но ведь у нас-то в России «что ни село, то ересь, что ни деревня, то

толк», еще недавно пол-Москвы сочиняло в стихах и прозе, а в поселках городского типа на зоне срок отсидеть считается так же нормально, как в армии отслужить, кто верит в хиромантию, кто во второе пришествие, кто в коммунистическую идею, по секретным лабораториям изобретают изощренные инструменты смертоубийства, а урожаи собирают как при царице Софье Палеолог. Оттого-то невольно и приходишь к заключению, что у нас нет понятия более отвлеченного и невнятного, чем «народ».

Обстоятельней говоря, за счет нашей кровной взаимосвязи как-то сосуществуют несколько самобытных народов русского корня, которые чувствительно разнятся своей моралью, иерархией ценностей и так далее, включая в этот перечень тип лица.

Что до языка: положим, и у англичан между кокни и оксфордской нормой существуют значительные различия, но у нас язык интеллигента так же не похож на язык простолюдина, как феня на эсперанто, во всяком случае, учитель всегда поймет приемщика стеклотары, а приемщик стеклотары учителя — не всегда.

Что до морали: поскольку у нашего крестьянина, с легкой руки Толстого, земля божья, то и колхозный шифер божий, и пустующая дачка, и зоотехниковы дрова; строительный рабочий свободно украдет килограмм гвоздей, но ни за что не вытащит у попутчика кошелек; участковому врачу гвозди без надобности, однако он не прочь содрать с пациента несправедный гонорар; учитель математики предпочтет питаться школьным мелом, нежели напомнит о трехрублевом долге соседу по этажу.

Что до иерархии ценностей, то тут наблюдается сверхъестественный разнороб: у кого на первом месте интересы своего департамента, будь то хоть угледобывающая отрасль, хоть балет, у иных — первоначальное накопление, у третьих — выпить и закусить.

Что до социальных ориентиров: таковые у нас заменяет вера, а русский человек до того вероспособен, даже веролобив, и даже он большой выдумщик на этот конкретный счет, что вера в прибавочную стоимость или неопознанные летающие объекты, в свою очередь, с лихвой заменяет ему витамин С, профессию и семью.

Наконец, тип лица: что бы там ни говорили, а русский интеллигент настолько не похож на русского хлебопашца, точно они представители разных рас.

Правда, Достоевский синтезировал еще одно качество нашего соотечественника, которое он считал первым из общенациональных, именно «всемирную отзывчивость», способность посочувствовать всем и понять всех, от француза до лопаря. Главным образом Федор Михайлович основывался на том, что французу Пушкина не постичь, а нам только то и непонятно во всей французской литературе, за что они казнили Андре Шенье. Пожалуй, что и так, русский человек действительно способен самым искренним образом пожалеть голодающих эфиопов, даром что у него самого печь не топлена и он полгода зарплату не получал, да уж больно кусается цена этой самой «всемирной отзывчивости» — у него потому и нестроение в хозяйстве, что его сильно занимает голодающий эфиоп. К тому же французу только оттого не понятны наша философия и литература, что у нас свободный порядок слов.

Но тогда что означают «народная правда», «народная сила», «народное назначение»? А ничего они не означают, даже в диапазоне от литературы до гадания на бобах. Разве что эти понятия содержательны в сословно-профессиональном смысле, ибо «народная правда» интеллигента прежде всего включает в себя гласность, чернорабочего — прочный паек, селянина — выпить и закусить. Разве что Достоевский иное имел в виду, оперируя такой трансцендентальной категорией, как народ, именно народ православный, объединенный не столько языком, сколько Христовой верой, — отсюда и его «правда», и «сила», и «назначение», которые в прочих редакциях не понять. Тогда по крайней мере всё вста-

ет на свои места: не надо никакого просвещения, а достаточно истины от Христа, которая заменяет рессорные экипажи, химию и асфальт, «всемирная отзывчивость» нашего хлебопашца заключается в том, что ему смешно, когда моются каждый день, «правда» — в псалтири, «сила» — в соборности, она же коллективизм, «назначение» — в аннексии Константинополя, а интеллигент, «столь возвышающийся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма», — инородец и негодай. Тут не то чтобы без критики чистого разума, без страдательного наклонения не обойтись: если б Достоевский прожил дольше да дотянул бы до великого Октября, каково бы ему показался народ-богоносец, который легко, то есть при первой же возможности, расплевался с истиной от Христа.

Слава богу, усилиями всех сословий мы за два столетия выработали беспрецедентный подвиг человека разумного — русского интеллигента, умницу, тонкого душеведа, безукоризненно нравственную единицу, и с какой стороны ни присмотришься — рафинé. Следовательно, ему что угодно можно пожелать, например, последовательности, но только не перехода к «правде народной», поскольку таковой означал бы явную деградацию от «Медного всадника» в сторону пищалки «уди-уди».

Впрочем, есть одно качество, которое между нами, русскими, можно считать действительно общенациональным, — это культура общения, в частности, способность разговариваться по душам со всяким встречным-поперечным, почувствовать кровную близость с человеком, вовсе тебе незнакомым, — вот в этом смысле мы точно народ, который един, как перст. У Пришвина есть примечательный диалог:

«— Ты за что, солдат, воевал?

— За родину.

— А что есть твоя родина?

— Это такая земля, где каждая встречная старушка — «мамаша», а каждый встречный старичок — «папаша». Вот за это и воевал».

А так, конечно, нет понятия более отвлеченного и невнятного, чем «народ».

Русский читатель, то есть существо ненасытное и в своем роде самоотверженное, читает всё, что ни попадается на глаза. Хорошо это или плохо, вывести мудрено. С одной стороны, вроде бы плохо, поскольку у нас имеется целая культура инскрипции на заборе, но, с другой стороны, вроде бы хорошо, поскольку нет такой гадости, которая так или иначе не способствовала бы деятельности ума.

Вот идешь, допустим, деревенской улицей — пускай это будет центральная усадьба колхоза «Путь Ильича» Зубцовского района Тверской губернии, тринадцать километров в сторону от шоссе Москва — Рига, — идешь и вдруг видишь объявление на двери сельского магазина, которое написано наскоро, от руки. Читаешь: «Кто еще не получил мешок рожков, то зайти в правление колхоза и получить».

На дворе канун третьего тысячелетия от рождения Христова, страна всю осваивает космическое пространство, простой селянин может свободно позвонить из дома в Париж, а в колхозе «Путь Ильича» вместо зарплаты дают рожки. Да и то не всегда, а в зависимости от противостояния Юпитера и Луны. Конечно, с голоду земледелец в любом случае не помрет, но соль-спички — это в хозяйстве надо, а ребяtnю обувь, одеть, а за электричество заплатить, а стаканчик выпить под настроение и вообще?.. Между тем колхоз который год существует себе в убыток, хотя и при большевиках тут собирали с гектара по пятнадцать центнеров зерновых, и при демократах у них та же самая урожайность, вот только настроение уже не то. Спрашивается: в чем же дело? кто виноват? Ну и

прочие возникают «проклятые вопросы», из тех, что издавна угнетают народный ум. Ох, не так страшны эти самые «проклятые вопросы», как проклятые ответы, буде они найдутся на каждый такой вопрос.

Во-первых, примем в соображение, что наше сельскохозяйственное производство — это беда, которая сопутствует нам искони, наравне с нашествиями иноземцев и засилием дураков. Ведь со времен Нестора-летописца у нас чуть ли не каждый третий год резко неурожайный; на самых тучных черноземах в Европе мы всегда умудрялись собирать втрое меньше хлеба, чем немцы со своих супесей; у нас соху волокла савраска, похожая на большую собаку, у них плуг — першерон, похожий на маленького слона; у них крестьянин по воскресеньям газетой развлекался еще при «железном канцлере», у нас отхожее место как категория появилось незадолго до Великой Отечественной войны; у них деревня — картинка, у нас — кошмар.

Так в чем же причина и корень зла? Уж, во всяком случае, не в геоклиматических условиях, ибо известны народы, которые с лихвой обеспечивают себя хлебом, живучи на голых скалах и практически без дождя. Следовательно, причина скорее в том, что либо в нашей почве таится какой-то яд, либо в крови у русского крестьянина бродит какой-то яд. Последнее вероятней, как ты ему, бедолаге, ни сочувствуй, как ты его по-своему ни люби. Таким образом, вопрос «в чем дело?», из той же серии «проклятых», логически перетекает в вопрос «кто виноват?».

В том-то всё и дело, что никто персонально не виноват, а, видимо, Россия — это просто-напросто такая заколдованная страна. Все-таки наш крестьянин — труженик, даже из беззаветных, даже из способных на кое-какие подвиги, например, в страду он в рот не берет хмельного, и, в свою очередь, начальство по аграрному департаменту у нас до такой степени бестолковое, что по-настоящему ни поспособствовать не может, ни помешать. Тем не менее в России что ни год, то крутой недобор зерна. Это, конечно, явление прямо трансцендентальное, но некоторые его корни нащупать можно, хотя в общем и целом понять нельзя.

Так вот русский земледелец есть прежде всего человек отравленный, не химически, разумеется, а идейно, и виною всему — община, в диапазоне от первобытной выти до полеводческого звена. С допотопных времен, когда у наших пращуров и в уме не было обменивать дары юрского периода на пшеницу, сельскохозяйственное производство у нас существовало по принципу: работай не работай, а с голоду помереть тебе не дадут. Уже Галилей открыл, что Земля вращается вокруг Солнца, братья Монгольфье изобрели воздушный шар, Яблочков выдумал «русский свет», а у нас всё господствовали доисторические аграрные отношения, из которых логически вытекала круговая порука и, стало быть, безответственность, коллективный труд и, стало быть, каравай пополам с опилками, — а всё потому, что у нас земля божья, покос ничей. На Западе собственник, он же жлоб, из поколения в поколение обрабатывавший кровный клочок земли, давно возвысился до фантастических урожаев, а мы всё уповаем на Китеж-град. Правда, есть в этом уповании что-то неотчетливо симпатичное, намекающее на социал-демократическую ориентированность души, да только такая хороша как следствие и губительна как причина, потому что добро всегда является через зло. Нашего крестьянина, вообще труженика, до такой степени заморочили общинные настроения, что он отказывается понимать непреложный закон природы: добро всегда является через зло.

Поскольку человек есть в некотором смысле болезнь природы, то в свое время понадобились крестовые походы и сожжения на кострах, чтобы человечество пришло к примату гражданских прав, изобретение прямо адского оружия, чтобы изжить мировые войны, ужасы большевизма, чтобы бесповоротно встать на эволюционный путь развития и разглядеть в кумире обещанного врага. Так и в экономике: чтобы достичь высокой продуктивности производства, всеобщего благосостояния народного, нужно пройти через эксплуатацию боль-

шинства меньшинством, вопиющее неравенство и уворованный капитал. Но этого-то и не приемлет русская, искони социал-демократическая душа, которая вожделеет правды как закона природы, равенства как следствия этой правды и благосостояния как результата равенства, которая требует подать ей всеобщее счастье в ближайший понедельник и навсегда. Но ведь недаром у нас говорят: «От добра добра не ищут», — потому что добра ищут как раз от зла.

Кроме того, русской натуре свойственна одна загадочная черта: наш соотечественник почему-то, как правило, не удовлетворен, причем глубоко, даже оскорбленно не удовлетворен своей профессией и судьбой. По непонятной еще причине он настолько высокого мнения о себе, что наш самый общенациональный вопрос таков: почему я моторист, а не министр финансов? или не артист филармонии? или не адмирал? Оттого-то телефонистка разговаривает с вами так, точно вы обещали на ней жениться и обманули, официант — точно именно вы положили ему мизерную зарплату, колхозник — точно от вас зависят размеры скотского падежа. Между тем одно из огромных достижений Европы состоит в том, что там давно выработалась прочная профессионально-сословная психология: я есть то, что я есть, и лучшего не дано. Поэтому французский официант чуть ли не гордится тем, что он французский официант, и стремится исполнять свои обязанности наилучшим образом, лелея в себе надежду, что он лучший в мире официант. Достоевский называл это «победой над трудом», когда человек до такой степени сживается со своим положением в обществе и профессией, что в любом случае считает себя счастливым, облаканным провидением не меньше, чем адмирал.

Наконец, русский крестьянин не лаком до материальных благ, ибо неоткуда было в нем взяться этому тяготению к избыточному продукту, ибо, кроме «лампочки Ильича», он от жизни ничего хорошего не видал. Душою он еще способен посочувствовать колхозному производству, но ради лишней пары сапог пальцы не шевельнет, и пусть его забор валится на обе стороны, зато в избе ходики по-особому тикают и за печкой лежит гармонь. Главное — его всегда выручит изворотливый русский ум: то у него Борис Годунов виноват, то кулак-мирод, то налог на яблони, то демократы, которые зажили кредиты и не желают прощать долги. Борис Годунов, конечно, виноват, но, с другой стороны, ничто не мешает нашему селянину поднапрячься и выдумать себе побочное занятие, которое обеспечило бы и порядочный рацион, и душевное спокойствие, и забор. Положим, колхоз на ладан дышит, второй год денег не платят, хоть с водки на мухоморы переходи, но ты, братец, возьми в предмет, что на Западе один грамм сушеных белых грибов стоит одну условную единицу, а у тебя эти самые грибы только что из темени не растут.

Разве что на это соблазнительное предложение найдется законное возражение.

— Ага! — скажет нам полевод. — У нас было нашелся один такой умник, тюльпаны взялся разводить да во Ржев на базар возить...

Мы поинтересуемся:

— Ну и что?

— А то, что приехал к этому умнику из-за Волги какой-то хмырь, вытащил из багажника двустволку и застрелил!

Тут-то собака и зарыта: генеральная наша экономическая проблема — не убогая производительность труда и не кризис неплатежей, а безнравственность, которая при случае перемелет в ничто самое благое начинание и порыв. Ты задумашь отремонтировать дорогу, чтобы без молитвы за руль садиться, но кто-нибудь, даже не из жуликов, перехватит машину щепня, ты заведешь голландских несушек, способных обеспечить яйцами поселок городского типа, а сосед спяну подпустит тебе «красного петуха», ты только тюльпанами займешься, как из-за Волги приедет хмырь... Так вот поскольку у нас не существует общенациональной морали как составной генетического кода, постольку все наши

конструктивные усилия так или иначе обречены, если всегда можно купить, обмануть, украсть, застрелить и укрыться в республике Гондурас.

По той простой причине, что нравственный закон хотя дело и наживное, но подразумевающее слишком уж протяженную историческую эпоху, то, может быть, ляд с нею действительно, с эффективностью сельскохозяйственного производства, ибо, может быть, отнюдь не в ней наше призвание и судьба. Все-таки мы народ исключительных свойств души, имеющий в своем языке понятие «совесть», но, главное, мы — созидатели высочайших культурных ценностей, без которых немислим мир. Не беда, что нам и впредь придется перебиваться с пельтики на пуговку, с этим легко смириться, и вот, собственно, почему: потому что, как показывает практика, культура последовательно изживается там, где последовательно крепнет высокопродуктивное производство, и, стало быть, пусть Европа на нас поработает в смысле «хлеб наш насущный даждь нам днесь», а мы поработаем на европейскую культуру — в результате получится так на так.

Интересное наблюдение: видимо, мы на зависть здоровы духовно, если можем себе позволить сколько угодно предаваться излюбленному национальному занятию — именно наводить жестокою критику на отечественные порядки и мешать с грязью самих себя. (Даже когда во всех наших бедах мы виним затерявшихся меж нами инородцев, то как раз мешаем с грязью самих себя.) Объявись такая мода в какой-нибудь устоявшейся европейской стране, то там еженедельно совершался бы государственный переворот, либо останавливалось бы всякое производство, либо имел место массовый суицид. А у нас — ничего, стоит страна, только диапазон нервных расстройств ширится и растет.

Эта манера, то есть безотчетное расположение к тому, чтобы в каждый горшок плюнуть, взялась не сразу. Во всяком случае, последовательными хули-телями всех и вся мы сделались много позже того, как странствующий рыцарь Поппель открыл для Европы нашу Россию, как Колумб по ошибке Америку открыл — всему культурному миру на посрамление и беду. А так — то Нестор-летописец выведет обратную зависимость между изобилием и порядком, то целую эпоху спустя Аввакум Петров выставит в неприглядном свете администрацию, то Александр Радищев укажет на злоупотребления в центре и на местах.

А вот чтобы пройтись по нашим отечественным безобразиям, как с утра зубы почистить, — это пошло с Петра Яковлевича Чаадаева, «государственного сумасшедшего», острошлова и мудреца. Вроде бы не было у него особых оснований жаловаться на провидение: богатый помещик, блестящий гвардейский офицер, кавалер российских и иностранных орденов, красавец, бонвиван — и вдруг на тебе, читаем у него такую желчную критику на богоданную родину, что куда там Байрону и Гюго. Например, читаем в его первом «Философическом письме»: «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу...» — вот как это прикажете понимать?

Так это следует понимать, что благополучие благополучием, а сидит в русском человеке какой-то зловредный червь, который ему покоя не дает и, главное, мешает сосредоточиться на себе. Вроде бы все у тебя есть, вплоть до Кульмского креста, сыт, пьян и нос в табаке, ну и жуируй себе до скончания дней — так нет: обязательно нужно вляпаться в историю на том основании, что вот французы выдумали воздушный шар и консервы, а мы только пищалку «удиуди». Ведь, дескать, если взялась за дело обстоятельно, то даже матрешка — не наше, даже самовар пришлого происхождения, даже водку из Голландии завезли! Ну что такое Россия после этого? Недоразумение и дыра...

Водку точно из Голландии завезли, это научный факт. Однако монгол совершенно и при любых обстоятельствах удовлетворен тем, что он не что-нибудь, а монгол, но русак Чаадаев прямо жалуется на то, что он не что-нибудь, а

русак. Петр Яковлевич так и пишет, обуруемый комплексом национальной неполноценности: «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его... ни одна научная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая идея не вышла из нашей среды... Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы». Или вот: «Так как мы воспринимает всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели». Предположительно, за таковские откровения при государе Иване IV с автора сняли б кожу.

Слава богу, дело было при государе Николае Павловиче, который считался по образованию инженером, отличался просвещенными манерами и был человеком умным, — посему отставного поручика Чаадаева всего-навсего объявили умалишенным и учинили за ним соответствующее попечение и надзор.

Гуманно и поделом; то есть исходя из нашей административной традиции, гуманно и поделом. Шуточное ли дело: навести такую неслыханную критику на страну, которая единственная в Европе смогла урезонить Наполеона, дала культурному миру Пушкина и Гоголя, не оцененных им исключительно потому, что у нас свободный порядок слов, наконец, изжила смертную казнь еще при императоре Петре III, когда в Германии вовсю практиковалось сожжение на костре. Поделом еще потому, что дед Чаадаева, Петр Васильевич, крупный губернский чиновник, после одной из ревизий сошел с ума, по крайней мере объявил себя персидским шахом, тайно вывезенным в нечерноземную полосу. Правда, злые языки утверждали, будто бы его помешательство мнимое, ибо старика было арестовали по обвинению в стяжательстве на паях. Но, главное, Петр Яковлевич потому заслуженно пострадал, что он легко мог угадать великую будущность России и ее образцовые заслуги перед человечеством, однако не угадал.

Как же «мы ничего не дали миру», когда у нас родилась самая утонченная литература, если наш вклад в мировую музыкальную культуру, что называется, трудно переоценить, именно русские художники синтезировали прекрасное вне природы, кинематограф как искусство начался в России, а наша театральная школа по-прежнему эталон?.. Как же «ни одна научная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины», когда террорист Кибальчич открыл принцип реактивного движения, Яблочков изобрел электрическую лампочку, Попов — радио, Зворыкин — телевидение, если у нас один мужик на зоне сделал вертолет из мотопилы «Дружба» и улетел?.. Как же «мы растем, но не созреваем», если Россия воспитала интеллигента, этого европейца из европейцев, человека грядущего, которому со временем будет принадлежать мир...

Скажут: легко обвинять Петра Яковлевича в непрозорливости с высоты исторического знания, — мы в ответ: не в том грех Чаадаева перед Россией, что он оказался непрозорлив, а в том, что он явил редкую неосмотрительность, сочинив свое первое «Философическое письмо». Нечего было на державу критику наводить, если ты не понимаешь родную землю, не чувствуешь ее прошлое и не осознаешь значение настоящего, чреватого таким будущим, которое мудрено было не угадать. Ведь, поди, и в середине прошлого столетия было ясно, что всего можно ожидать от народа, который выдумал кашу из топора. Это еще государь Николай Павлович явил милость, когда распорядился насчет Чаадаева: «Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать».

Нет, как раз самое главное Чаадаев так-таки угадал. Вот он пишет: «И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять». Как в воду смотрел Петр Яковлевич: прошло меньше ста лет, и в России свершился Октябрьский переворот, послуживший наглядным уроком для нынешних поколений, которые сумели совершенно его понять. Именно стало яснее ясного, что

общественное благоденствие достигается только естественной, эволюционной методой, через постепенное преодоление неравенства и хищнической эксплуатации человеческого труда. Что ежели огнем и мечом проводить в жизнь высокие идеалы, то ничего не выйдет, кроме империи нищих и дураков.

Следовательно, за нынешнее процветание цивилизованного мира именно Россия заплатила почти столетием разных мук. И, следовательно, огромно ее значение в истории человечества, беспримерна трагически-возвышенная ее роль. Ведь что такое, в сущности, Октябрьский переворот? Да второе пришествие Христа, которого просто не заметили, вернее, один Блок заметил, потому что по сравнению с началом так называемой новой эры человечества чрезвычайное множество развелось. Как раз под 25 октября 1917 года спустился Христос в Россию, поскольку это оставалась единственная страна, где понятие «душа» так же объективно, как зрение или слух, и ну давай ее мучить войнами, лагерями, коллективизацией, электрификацией, чтобы она искупила своими муками социал-демократический грех мира и через это самое вознеслась.

Запад, правда, про это ничего не знает, но тем прискорбнее для него. Но и мы тоже хороши: за наши всемирно-исторические муки нам отпустятся даже наши дороги, которые Афанасий Фет называл «довольно фантастическими», а мы по-прежнему гнем свое: страна, блин, пропащая, живем в ней, как в стане заклятого какого-нибудь врага...

Да! вот еще что Чаадаев угадал, когда он предсказывал России некое необыкновенное будущее: что Россия — сперва религия и только потом — страна.

Не то удивительно, что человек по-прежнему живет худо, а то удивительно, что он как-то еще живет. Скажем, если животное приобретает некий полезный навык, например, способность к мимикрии, то оно уж не растает с ним во всех предбудущих поколениях, никогда. Что же до человека, то сколько ты ему ни вгоняй ума в задние ворота, как ты его ни мучь, каждое следующее поколение начинает жить точно заново, с чистого листа, как будто не было до него ни греко-персидских войн, ни якобинцев, ни великой депрессии, ни великого Октября.

Такое легкомыслие еще удивительно потому, что примерно сто пятьдесят лет тому назад Николай Иванович Греч писал:

«Положим, что вы ни во что не ставите присягу, но между царем и мною есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицы, зажигать фонари, а с меня требует только: сиди тихо! — вот я и сижу».

С тех пор как Николай Иванович Греч вывел сию, в полном смысле спасительную, формулу взаимоотношений между гражданином и государством, много чего претерпела наша святая Русь. И таскали на Семеновский плац петрашевцев, и произошла долгожданная эмансипация крестьян, минула эпоха народо-вольческого террора, образовалась мода на Маркса и социал-демократическая волна, наконец, грянули целых три революции, и вот поди ж ты — человек по-прежнему живет худо...

Интересно, с чего бы это, если вся его разрушительная энергия направлена на то, чтобы жить именно хорошо? По всей видимости, с того, что хоть сиди тихо, хоть режись с правительством до последнего издыхания, жизнь от этого не станет ни счастливее, ни умней. Сам человек может в результате сделаться чуть развязнее или больше себе на уме, чуть осведомленнее или религиознее — это да, но как в прошлом столетии дед Пахом был недоволен всем, то есть буквально всем, от климата до старухи, так и его потомки бесперечь в претензии на судьбу. Недаром эти потомки дали диссидентуру, которая самозабвенно боролась с властью, в сущности, ради падения нравственности, урожайности зерновых, законопорядка, художественного дела, промышленности и рубля. Занятно, что та-

ковая диссидентура взялась в стране, где можно было безбедно существовать, делая пакости или в лучшем случае не делая ничего.

Из этого вытекает, что внешние формы жизни не имеют никакого отношения к счастью человеческому, которое, по замечанию Достоевского, «гораздо сложнее, чем полагают господа социалисты», которое бытует, видимо, в какой-то иной плоскости и отнюдь не вследствие того, что время от времени сходятся в схватке законники и борцы.

Мы не знаем, от чего оно зависит; точно только, что не от нас. Вернее, от нас зависит так называемое личное счастье, доступное и в условиях абсолютной монархии, и при большевиках, и когда правят бал ушлые люди, которым нипочем ни общественное мнение, ни Христос. Если ты существо вникающее, в отличие от таракана тонко и благодарно осознающее факт личного бытия, то ты по определению счастливчик и баловень высших сил. Ведь счастье, хотя и «гораздо сложнее, чем полагают господа социалисты», но, с другой стороны, гораздо проще, чем думает неудачник; по крайней мере Пушкин свидетельствует: ему адекватны покой и воля. То есть оставь человека в покое, позволь ему распоряжаться самим собой, и он самосильно построит личное счастье, как любой мужик построит изгородь и сарай. Кстати заметить, это поразительно, что лично счастливых людей немного, ибо покой и воля доступны всем: покой дается, если просто сидишь тихо, равно в твоей воле даже небытие. Вот и Толстой пишет: «Мне говорят, я не свободен, а взял и поднял правую руку», — следовательно, человек, который даже условным рефлексам может противостоять, свободен и самостоятелен, как ничто.

Другое дело — неясно, как можно осчастливить потомка деда Пахома в социально-экономическом плане, если он и коммунистов не жалует, и демократы ему сильно не по душе, если чего ни коснись, всё у него недоразумение и беда... Видимо, никак его нельзя осчастливить, ибо счастье дается человеку как ощущение, а социально-экономического благополучия в качестве нормы на Руси в принципе не дано. Ну не было в нашей тысячелетней истории ни одного маломальски достоверного периода, когда русский мужик так или иначе не страдал, не голодал, да еще вечно у него приключения приключаются по духовному департаменту: то сволочи князя Владимира сволокут в Днепр креститься в чужую веру, то повернут его в немецкую веру приспешники Ильича. А если нельзя, то, стало быть, и не нужно, может быть, даже всеобщее счастье в социально-экономическом плане — это лишнее, как высшее образование для амазонца, которому и таблица умножения ни к чему. И даже не исключено, что всеобщее счастье губительно для прогресса, ибо основной закон диалектики состоит в том, что поступательное движение обеспечивают единство и борьба противоположностей, например, сосуществование интеллигенции и обозленного большинства. Также и всеобщее равенство — это лишнее, во-первых, потому, что оно недостижимо, даже если всех переобуть в галоши на босу ногу, а во-вторых, потому, что всеобщее равенство и вопиющее неравенство дают на удивление одинаковый результат. Так, если доход землевладельца во многие сотни раз превышает доход поденщика, то жди штурма Зимнего дворца и крушения всех начал, а если академик и приемщик стеклотары зарабатывают одинаково, то жди штурма здания парламента и крушения всех начал. Что же до свободы слова, собраний и манифестаций, то по-настоящему она нужна только десятку-другому интеллектуалов, сумасшедших и тех проходимцев, которые спят и видят, как бы дорваться до власти, а потом разом ее зажать. Вот Россия никак не может прийти в себя от удивления на себя: как это она сподобилась лишиться прочной пайки вином и хлебом того лишь ради, чтобы компания бездельников могла свободно грызться в своем кругу...

Таким образом, всеобщее счастье недостижимо, потому что оно вредно и потому что достигнуть его нельзя. Кроме того, очевидно, что общество развивается по законам, определенным задолго до «Феноменологии духа», равномерно

и неотложно, как насекомое от личинки до бабочки «адмирал», а не так, как грезится отдельно взятому Ильичу. В частности, из спонтанного штурма Бастилии получилась буржуазная демократия, а из четко спланированного штурма Зимнего дворца — гиблый эксперимент. Но тогда спрашивается: из чего бесилась наша диссидентура, от Радищева до Болонкина, — вот вопрос!

Кажется, из того, что существует такой чисто русский недуг — несовместимость с человеческим страданием, и всякий незадавшийся адвокат мечтает его изжить. В обществах устоявшихся за каждым гражданином давно признано право на социально-экономическую беду, и, например, бездомные там воспринимаются как стихия, в России же стоит повстречать в подземном переходе нищенствующую старушку, и сразу захочется вырезать полстраны, чтобы осчастливить бабушку непременно, завтра и навсегда. Это стремление тем более заразительно, что в практической плоскости оно обеспечивает след в истории тем недужным, кто не располагает особыми дарованиями, но страстно хочет оставить след, — недаром в борьбе за всеобщее счастье заключается не смысл жизни, а смысл смерти, как утверждает Альбер Камю. Хорошо еще, что желающих перевести сострадание в практическую плоскость не так уж много, что большинство все-таки понимает: на смену нищенствующей старушке обязательно придет нищенствующий старичок, поскольку нищество — не так результат общественного нестроения, как болезнь.

Следовательно, блаженны те, которые сидят тихо, они соль земли и настоящие благодетели, потому что от них баснословные урожаи и неземная производительность труда, а в российском случае — сказочная музыка, великая словесность и навык общения по душам. А от диссидентуры только того и жди, что тебя за здорово живешь подведут под государственную измену либо заведут такую свободу слова, что нечем будет за электричество заплатить.

Только вот какая незадача: ни история, ни даже личный опыт нас ничему не учат, и каждое новое поколение у нас мечтает про Китеж-град. Как бы это дело плохо не кончилось, ибо одна родовая память, если что, всегда вывезет и спасет. Отсюда не то удивительно, что человек по-прежнему живет худо, а то удивительно, что он как-то еще живет.

Есть один пункт, в котором сходятся большинство писателей и мыслителей, именно: что самое счастливое время жизни — молодость, а самая здоровая часть общества — молодежь. Может быть, отчасти оно и так, тем не менее по-своему удивительно, что никакая иная возрастная категория не пользуется такой симпатией и поддержкой, как эта самая молодежь. И специальные государственные программы составляются, чтобы потрафлять ее интересам, и признана за ней самостоятельная культура, и целые министерства существуют по делам молодежи, и возводятся под ее шабаши мраморные дворцы. Вот и Белинский пишет: дескать, в молодости человек доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному — следовательно, только на него и приходится уповать. После этого как не согласиться с такой, казалось бы, очевидной несправедливостью, что министерства по делам одиноких женщин нет, а по делам молодежи есть...

Нет, наверное, такая односторонность по-своему справедлива, потому что на самом-то деле молодость не самая прекрасная пора жизни, а род недуга и беда.

Поскольку это положение, вероятно, покажется слишком свежим, требуется объясниться подробно и широко. Итак, почему род недуга? Потому, что, начиная примерно с десятилетнего возраста, человек, в сущности, не столько живет, сколько превращается, то есть претерпевает сложную и мучительную процедуру, схожую с илизаровской операцией на ноге. Кто помнит себя, тот, наверное, согласится: сначала из маленького ангела ты превращаешься в маленького

негодяя, потом в негодяя средних размеров, сентиментального и вдумчивого, потом в балбеса, который терзается вопросом, где достать денег и чем бы себя занять, пока, наконец, ты не превратишься в психически нормативное существо, достаточно осведомленное на тот счет, что действительно плохо, а что действительно хорошо. То есть в течение десяти — пятнадцати лет человек переживает форменную болезнь, которая, правда, дает темную симптоматику, хотя, с другой стороны, клиника налицо: тут тебе и халатное отношение к жизни, и резкие перемены настроения, и странные вопросы, например, почему сахар в стакане чая обыкновенно размешивают против часовой стрелки, комплекс Герострата и беспочвенный романтизм. И при этом какие борения, пертурбации, страсти,— впрочем, органичные для юного существа, которое долгие годы живет на волоске от духовной смерти да еще постоянно температурит по департаменту психики и ума.

Теперь почему беда... Ну как же не беда, если именно в молодые годы человеку выпадают самые тяжкие, самые обременительные труды? Во-первых, нужно как-то приспособиться к внешнему миру, который гораздо глупее, злее, вообще неблагонадежнее, нежели ты сам как нравственная единица, образ и подобие, нечто предназначенное для бытования в русле, а вовсе не вопреки. Во-вторых, нужно выучиться на работника, а это такая мука, что с ней сравнится только тюремное заключение ни за что. В-третьих, кровью и потом завоевать себе право заниматься любимым делом, что несколько сложнее, чем собственно делать дело, и связано с известным риском, поскольку посмертное признание работнику не с руки. Наконец, напасть на подругу жизни и воспитать ее под себя. При этом хорошо бы не спиться с круга, вытерпеть бесчисленные лишения, а также избежать соприкосновения с органами следствия и суда.

Молодость еще потому беда, что в молодости мы все отпетые дураки. Даже если взять победителей и призеров математических олимпиад, медалистов серебряных и золотых, краснодипломников, просто вундеркиндов, так и те отпетые дураки, даром что они могут порассуждать о семантическом значении острых колен у девушек и верят в бесконечность личного бытия. Вот даже какого ни возьми книжного героя из молодых, будь то Чацкий, Ленский, Онегин, Печорин, Нежданов у Тургенева,— все как один более или менее дураки. Например, Нежданов из «Нови», по замыслу деятель самого честного направления, вместо того чтобы самосильно пахать и сеять, распространял по кабакам прокламации революционного содержания, покуда не надоел, покуда селяне не напоили беднягу до полусмерти и не отправили по назначению просыхать.

Особенно у нас в России молодость — не что-нибудь, а беда. На Западе начинающий человек ведет себя как заводной механизм, по сословной схеме, заранее зная, что его ожидает, к чему готовиться и с кого именно брать пример, а у нас в России традиций нет, да и откуда им взяться, если у нас даже общенациональных праздников, и то нет. Правда, в нашем краю снегов и сараев молодость как беда выпадает и на долю людей зрелых, кому сильно за пятьдесят, но это другой сюжет. Этот сюжет про то, что большевиком можно оставаться в том только случае, если ты невежда, или жулик, или юн, как в пятнадцать лет.

Одним словом, обратись к нормальному человеку с академическим предложением начать всё сначала, он ответит, не задумавшись: ни за что! Это чтобы опять глисты и ветрянка, шесть раз по сорок пять минут про бинном Ньютона, «хвосты» по основам советской гигиены, черный хлеб на завтрак, обед и ужин, десять лет трудов над диссертацией про то, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе,— ни за что!

Таким образом, молодежь по праву пользуется сочувствием общества, которое то ли попустительствует ей, то ли задабривает ее еще и по той причине, что никакая другая возрастная категория не дает столько революционеров, уголовных преступников, разного рода баламутов и «солдат удачи», как эта самая молодежь.

Вот только молодежной культуры не может быть. Как не может быть культуры одиноких женщин, так и молодежной культуры не может быть. То есть существует собственно культура и нечто облегченное под угловатость, возбужденность и прыщи.

И так, конечно, жаль молодых людей, тем более что по-настоящему их некому пожалеть. В другой раз увидишь: идет такой бедняга, вместо лица миниатюрное солнце, глаза поют, а ведь он даже и не подозревает, что молодость — род недуга и беда.

Нет, Америка — точно великая страна.

Эта характеристика приходит в голову потому, что вот Агата Кристи, которая, как известно, никакого отношения к Америке не имеет, пишет в своей «Автобиографии»: де, проза детективного направления, да еще женского дела, — «это естественно развитое умение вышивать диванные подушки». Какая умница! а главное, какая трезвость в оценке жанра — и вообще, и в проекции на себя.

У нас такое невозможно: поскольку в России каждая кухарка может управлять государством, равно как каждый дворник в душе — главный милиционер. Оттого-то наши частушечники, кроссвордисты, авторы картин из жизни простонародья, приключенцы и прочие кустари чувствуют себя так, точно Нобелевской премией их обошли по недоразумению, впопыхах. Удивительная публика: нет, чтобы посмотреть правде в глаза и хотя бы перед самим собою сознаться в том, что в лучшем случае твой дар имеет чисто семейное значение, а в худшем случае он представляет собой малое предприятие по выколачиванию денег из простофиль; так нет — каждый метит в заслуженные труженики пера...

Правда же состоит в том, что настоящих писателей очень мало. Пишущих много, даже и чересчур, а вот писатели, то есть специалисты по созиданию миропорядка и извлечению чистой красоты, — эти наперечет. Сколько бы ни приходилось на определенный отрезок времени прозаиков и поэтов, как бы ни возносили десяток-другой из них общественное мнение и молва, настоящих художников слова так мало, что это даже нехорошо. Но тут уж ничего не поделаешь, потому что в литературе, как у Христа: много званых, да мало призванных, в нашем конкретном случае, кажется, вовсе ни одного. Другое дело, что общественное мнение легко обмануть, недаром во времена Пушкина самым читаемым автором был Алексей Кассиров, во времена Гоголя — Марлинский, Толстого — Крестовский, Чехова — Пшибышевский, Бунина — Мережковский, Платонова — Бубеннов. Впрочем, для настоящего писателя это не важно, кого больше читают, приключенцев или его, ему нет дела ни до популярности, ни до вечности, ни до читателя, ни до денег, и сочиняет он, собственно, потому, что ему донельзя нравится сочинять.

Но это писателю только так кажется, будто ему просто нравится сочинять, на самом же деле он болен редчайшим даром — даром превращения невидимого в видимое при некотором попустительстве Высших Сил. Вот как Дмитрий Иванович Менделеев превратил количество химических элементов в качество периодического закона, так, например, и Николай Васильевич Гоголь сублимировал до степени национального бедствия разمولку двух чудиков, которые поцапались исключительно потому, что им было нечем себя занять.

Стало быть, литература есть то, что, во всяком случае, не возбуждает вопроса, зачем это написано, и действует просветительно, как вино. Кроме того, литература не занимается правдой жизни, адекватным отражением действительности и выведением героев того или иного времени, на каковой предмет существуют диссидентура, фотография и суды. И уж, разумеется, писатели пишут не для того, чтобы развлекать публику, как-то скрашивать ей досуг. Между тем

раскупаются и читаются в наше смутное время именно разные снадобья против скуки, даром что жить в России и без того увлекательно и смешно. В другой раз сдуру откроешь такую книжку, прочитаешь: «— Проклятие! — воскликнул злодей, обливаясь кровью...» — и так сразу одиноко делается на душе, точно ты очутился посредине пустыни Гоби. Подумаешь — чего мучился Виссарион Григорьевич Белинский, зачем старался, когда наставлял народ: «Наши писатели (и то далеко не все) только одною ступенью выше обыкновенных изобретателей и приобретателей; наши читатели (и то далеко не все) только одною ступенью выше людей, которые в преферансе и сплетнях видят самое естественное препровождение времени», — вот уж напрасно старался великий критик, если у нас и через сто пятьдесят лет вертится та же самая карусель. Если писатель корысти ради по-прежнему сочиняет книжки для застрявших в одиннадцатилетнем возрасте, если читатель по-прежнему действует, как тот чеховский обормот, который проглатывал всё, что ни попадет под руку, от учебника по химии до мордовского букваря.

Природа этого феномена проста и очевидна: по-настоящему культурных людей мало, и поведением рынка руководят сравнительно дикари. Тут поневоле помянешь добрым словом большевиков, которые навязывали обывателю не только рапсодов линии ЦК, но и серьезных писателей, знавших цену художественному слову и умевших его подать. Вот ведь какой парадокс: стоило народу обрести долгожданные демократические свободы, как высокая словесность оказалась в загоне, а на авансцену вышла пошлая чепуха. И еще один парадокс: если литература и имеет какое-то дидактическое значение, то заключается оно в том, чтобы способствовать превращению человека по форме в человека по существу. И вот поди ж ты — кто позарез нуждается в такой операции, тот потребляет литературу для застрявших в одиннадцатилетнем возрасте, а серьезные книги читают как раз люди по существу...

Сдается, что в силу этих двух трагических противоречий настоящее искусство обречено. Если таковое с 1917 года принадлежит народу, а оно ему, оказывается, на дух не нужно, если правят бал умельцы вышивать диванные подушки, если мир точно пойдет по демократическому пути, то серьезным писателям пора учиться колоть дрова. В лучшем случае литература должна превратиться в занятие для ненормальных, вроде выжигания по дереву, а на писателя уже будут показывать пальцем, как на деревенского дурачка. Тогда наступит диктатура дурного вкуса как венец общественного развития человечества и воплощение светлых дум.

Нет, Америка — точно великая страна, поскольку она первая угадала, кому в действительности принадлежит мир, и подладила всё, от средств передвижения до культуры, под законопослушного дитя, который превыше всего чтит рождественскую индейку и аспирин.

Все там будем, надо полагать, ибо к этому и идем.

Пушкин велик, кроме всего прочего, потому, что он вывел основные русские истины, которые с тех пор приобрели вполне математическое лицо. Вот Достоевский пишет о Татьяне Лариной: «Она глубже Онегина и, конечно, умнее его... Пушкин, может быть, даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо, бесспорно, она главная героиня поэмы...» — именно так и есть. Если учесть, что Ленский, по-нашему, сравнительно дурачок, Онегин — праздношатайка, хотя и не без симпатии, то Татьяна Ларина — точно самый значительный персонаж. И не только в рамках пушкинского романа в стихах, а, может быть, всей нашей литературы, ибо обаянием, цельностью характера, внутренней культурой, вообще рафинированной русскостью она заметно превосходит прочие образцы. Пушкин как-то почувал, сердцем постиг, что именно женский образ органично включает в себя все наши лучшие националь-

ные свойства, — и угадал. С тех пор Татьяна Ларина есть идеал совершенства, всероссийская возлюбленная и средоточие всех причин.

Почему идеал и возлюбленная — это ясно, а вот почему средоточие всех причин?..

Потому что на Руси главное действующее лицо не мужчина, а женщина, и на ней у нас держится всё и вся. Даже за обороноспособность российской державы отвечает прекрасный пол, ибо что, собственно, обеспечивает нашу обороноспособность? Да одна неумная деторождаемость, больше, кажется, ничего. Разве что в эпоху суворовских войн успех гарантировали нам «пуля-дура» и «штык-молодец», а так православное воинство выезжало главным образом на случае да числе. Татар на Угре просто-напросто перестояли; единственно за счет последней народной рубашки поляков изгнали вон; шведов задавили четырехкратным численным превосходством; французов в 1812 году взяли мрачной настырностью и одолели нашествие «дванадцать языков», не выиграв ни одного сражения, дурачком; в финскую кампанию победили, положив до двадцати красноармейцев за одного чухонца, даром что белоглаз; наконец, в Великую Отечественную войну, по горькому замечанию писателя Астафьева, задушили немцев трупами и утопили в своей крови. Вот и выходит, что обороноспособность отечества обеспечивает не армия, а русская женщина, и вообще наша армия не страшна, народ страшен — это что да, то да.

Далее: русская женщина чувствительнее нравственнее мужчины, точно ей как-то дано понять, что, живучи в России, нужно на всякий случай быть положительной за двоих. Вот как Татьяна Ларина:

...любит не шутя
И предается безусловно
Любви...

— так и всякая наша женщина, безусловно, предана всему, к чему ни представит ее судьба. Если она подруга, то обожает тебя деятельно и до самоотвержения, если жена, то ты как за каменной стеной, если мать, то носится со своими детьми до глубокой старости, точно дурень с писаной торбой, если бабушка... так ведь понятие «бабушка» — чисто русское, и в иных землях про этот феномен вроде бы не слыхать. Замечательно, что и в сфере товарного производства наши Татьяны Ларины обеспечивают нравственное начало, на котором в России только и держится товарное производство, за перманентным отсутствием всего того, что называется — интерес. Во-первых, они крайне редко и неохотно меняют род занятий, хотя бы это было мытье полов, во-вторых, на работе они куда прилежней и ответственней, чем мужчины, в-третьих, если что, много не унесут, в-четвертых, занятость их по дому находится в злостном противоречии с законодательством о труде. Нет, действительно, это даже странно, почему Александр Сергеевич назвал свой роман в стихах именем Онегина, которого, по-нашему, надо судить за преднамеренное убийство в соответствии со статьей 105-й, пункт «б», а тот у него какой-никакой — герой.

Далее:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё...

Тут нам Пушкин дает понять, что прекрасное, отвлеченное играет в жизни женщины такую же роль, как у мужчины политика, пьянство и преферанс. Диапазон мужских увлечений, конечно, шире, однако же правда то, что женщины суть самые проникновенные читатели, слушатели, зрители, вообще потребители прекрасного, если не разумом, то чутьем. Как творцы в области отвлеченного наши подруги, понятно, слабее нас, но это не важно с общечеловеческой точки зрения, поскольку читатели, слушатели, зрители куда насущнее, чем творцы. Может быть, суждение по половому признаку в этих сферах недопустимо, но в

другой раз обратишь внимание на то, что женщины в метро газет не читают, и это сразу приятно насторожит.

Далее: Татьяна Ларина исповедует истинную, по крайней мере глубоко национальную, иерархию ценностей, ибо она готова все блага цивилизации отдать

За полку книг, за дикий сад...

— в то время как в стане мужчин на этот счет резкий наблюдается разбой. Вообще это в нашем характере — всю жизнь метаться от непротивленчества к топору, а русская женщина, как встала на четвертом сне Веры Павловны, так, голубушка, и стоит. Что до Онегина, то он вовсе никаких ценностей не признает, последний дикарь признает, а Онегин — нет. Правда,

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны...

— но эта милая слабость только пуще симпатизирует ее образ, а кроме того, на вопрос, что нас скорей выручает в жизни, то ли, что наш брат знает, или то, что их сестра чувствует, отвечаем: это пока темно. Наконец, сдается, что тут Александр Сергеевич сообщил Татьяне Лариной родственным делом свою собственную черту, ибо он, как известно, был «человек с предрассудками», безоговорочно верил в приметы и не любил тринадцатое число.

Далее: Татьяна, уже будучи замужем за генералом, выговаривает Онегину, дескать,

Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя...

— из чего следует, что вообще женщина недобродушна и злопамятна, как верблюд. Но в том-то все и дело, что это свойство, малопривлекательное в быту, может работать во благо на общественном уровне, где вещи существуют как бы наоборот. Ведь почему наши вельможи взяли моду жировать на казенный счет? Потому, что с самой княгини Ольги власть в России мужского рода, а поскольку наш русачок есть существо прежде всего добродушное, постольку в государстве у нас вечные нелады. Между прочим, заметим, что русское оружие прогремело на всю Европу именно в царствования Елизаветы и Екатерины, которые ревели над реляциями о потерях, но казнокрадам резали языки.

И вот спрашивается: если Татьяна Ларина как собирательный образ русской женщины чувствительно совершенней Евгения Онегина как собирательного образа русского мужчины, то почему все-таки Онегин вышел на первый план? А потому, что «на свете правды нет», потому что ни мышечная масса, ни быстрота реакции, ни размер обуви для такого первенства не резон. Правда, мужчина изобретательней женщины на всякие выдумки, приспособления и уловки, но они в силу его загадочной ограниченности всегда оборачиваются во зло. В лучшем случае таковые внешним образом, количественно работают на прогресс, например, колесо скорее всего выдумал мужчина, а не женщина, но разве мир стал совершенней с изобретением колеса... Мир стал совершенней оттого, что Христос родился, но, как известно, мужчины тут ни при чем.

Итак, на Руси главное действующее лицо — женщина, и эта истина имеет вполне математическое лицо. Чем скорее мы с ней смиримся, тем это будет даже патристичней, а то как бы их сестра, окончательно осерчав на нас, остолопов, не отправилась бы обеспечивать обороноспособность куда-нибудь еще, где ее оценят и вознесут.

Жак Неккер пишет: «Нравственность в природе вещей» — и это на первый взгляд проходное соображение провоцирует настоящий разгул мысли вокруг вечнового вопроса: откуда берется зло?

А действительно, откуда оно берется, если нравственность в природе вещей, или, может быть, не прав Жак Неккер, или по меньшей мере зло так же естественно, как добро?

Как раз сдается, что Неккер прав. Собственно говоря, зло есть больше отношение, чем феномен, и существует оно постольку, поскольку человеческое сознание способно определить его как нечто противное норме и естеству. Вот живая природа не ведаёт зла, если не считать генетического знания на тот счет, что бытие есть добро, а небытие — зло. Между тем в природе только пауки пауков едят, а уже «ворон ворону глаза не выклюет», и лиса лисе не откусит хвост — следовательно, зло в законодательном порядке выведено за рамки одного вида и немислимо, как людоедство среди коров. Таким образом, человек, по логике вещей, должен был бы являть собой предел нравственного совершенства, ибо, с одной стороны, он умеет провести разницу между пощечиной и поцелуем, а с другой стороны, он — высшее животное и венец. Так вот поди ж ты: на такое лихо способен человек, этот конечный продукт природы, которого не знает ни одна из пяти стихий.

Вместе с тем очевидно: человек оттого и человек, что он носитель врожденного нравственного закона, то есть способности наитием отличать доброе от дурного и понимать последнее как нечто противное норме и естеству. Иначе чего бы он ужасался смертоубийству, хладнокровно относился к посторонней собственности, сострадал бы чужому горю и в 99 случаях из ста предпочитал пощечине поцелуй... Видимо, человек расчетный вышел настолько универсальным, способным на все, даже на самоуничтожение, что оказалась под сомнением его способность к социальному бытию. И вот постольку высшие качества человека могут проявляться только через общение с себе подобными, постольку возникла необходимость ограничить его внутренним законом, ибо злодейство, в диапазоне от убийства до мелкого воровства, на деле куда выгодней и занятней, чем, скажем, переплетное мастерство.

Но тогда логично будет предположить, что способность человека, например, к нанесению тяжелых телесных повреждений есть признак выпадения из подвида хомо сапиенс в какой-то иной подвида. Вернее всего, это будет узкая группа лиц, которые страдают латентными душевными заболеваниями, может быть, не опознанными современной психиатрией, но при этом самого медицинского существа. Как правило, эти особи пребывают в своем уме, но даже в том случае, если злодейство вызвано непосредственным интересом, положим, материальной выгодой или мстостью, очевидно, что тут налицо лишь повод, а первопричина зла, видимо, такова: субъект всякого насильственного преступления — не то чтобы не человек, а, так скажем, ограниченно человек. Видимо, в известный период жизни, когда образуется нравственный аппарат, что-то у иных особей заедает в машинке, ответственной за правильное психическое развитие, и в результате является нечто промежуточное, уродливое, как тритон. Такие особи не отличают добра от зла, всесторонне враждебны миру и страдают своеобразной амнезией, то есть из всех человеческих навыков способны только жалеть мамаш да знают, как расстегиваются штаны. Недаром собирательный образ так называемого матерого уголовника дает точно такую же картину, но наблюдается среди душевнобольных, склонных к самоубийству: злодей настолько не уважает человека в самом себе, что ему ничего не стоит, например, вскрыть себе вены, проглотить тюремную ложку или засыпать толченым стеклом глаза.

Таким образом, злодей, он же преступник насильственной ориентации, есть прямая психическая аномалия, будь он хоть Ванька Каин, хоть венценосный Наполеон. Между прочим, из этого следует, что круг по-настоящему сумасшедших куда шире, чем принято полагать. Правда, им по-разному отзываются их злодеяния, часто и вовсе никак не отзываются, а бывает, сколь это ни поразительно, что сих болезных всячески возносит поэтизированная молва. Взять хотя бы идиота Савонаролу, банального бандита Степана Разина или Александра Маке-

донского, который завоевал полмира, собственно, от нечем себя занять. Посему разница между Александром Македонским и вором-домушником заключается только в том, что душевнобольные из числа деятелей и героев орудуют в таких сферах, где убийства и грабежи нечувствительно перетекают из категории «уголовное преступление» в категорию «государственная политика», вроде того как количество крестьянских коров, подошедших от бескормицы, превращается в абстрактное качество падежа.

Однако ежели это так, то есть ежели злодей оттого и злодей, что по нем плачет отделение для буйнопомешанных, то приходится ставить крест на всей юриспруденции, над которой корпело человечество со времен государства Ур. Ведь из чего исходит эта самая юриспруденция? Да из скрижалей Моисеевых, из древнего завета «око за око и зуб за зуб». При этом законники всего мира стоят на том, что, конечно, встречаются экземпляры, способные резать одиннадцать человек в состоянии аффекта, но вообще-то между народным заседателем и убийцей — разницы никакой. Поэтому убийца должен быть неотвратимо пойман, осужден и наказан сообразно размаху своей вины. Таким образом, юриспруденция ставит себя в положение царя Дария, приказавшего высечь море. В том-то вся и штука, что закон, выдуманный людьми психически здоровыми, так сказать, рассчитан на людей психически здоровых, в то время как объект его — преимущественно идиот.

Спрашивается, во-первых: что значит наказать существо, которое походя зарезало одиннадцать человек? Во-вторых, спрашивается: а зачем его наказывать, если все равно убиенных к жизни не возратить, если потенциальных убийц напугать нельзя, ибо им пугаться нечем, если однажды убивший непременно убьет опять? Или неправда это, что люди столько времени уничтожают себе подобных, сколько существует заповедь: «Не убий»? Наконец, спрашивается: ну куда это годится, чтобы в Христовом мире, исповедующем высшие, иногда иррационально высокие ценности, вроде любви к врагам, правосудие совершалось бы, исходя из правила: око за око и зуб за зуб?..

Следовательно, не наказывать надо злодеев, а изолировать и лечить. На неопределенно длительную перспективу — пожизненно-медикаментозно, как пользуют необратимо умалишенных, пока, наконец, не изобретут вакцину против нравственного помешательства, вроде той, что существует против оспы, деторождаемости и чумы. Ведь чего напридумали: газеты из космоса читать, сидючи дома, узнавать про погоду в Новой Гвинее! — стало быть, есть надежда, что когда-нибудь человечество найдет средство от насильственной формы зла.

Вот, чай, тогда-то и заживем!

Читаем у Александра Ивановича Герцена: «Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации». Мы от себя добавим: почему же только западной? Человеческой цивилизации вообще. Если уж так сложилась история с географией, что именно западный мир обозначил пути прогресса, то, видно, даже такой самобытной стране, как Россия, этой злой доли не избежать. Тем более что самобытность наша какая-то подозрительная, надежды на крестьянскую общину не оправдались, и марксисты обмишурились с пунктом приложения своих сил. Правда, в России покуда модничают, гнушаются мещанской системы ценностей, но это исключительно оттого, что мы задержались со стартом на триста лет. Вот и Герцен опять же пишет: «В нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное, но нет ничего пошлого...» — это верно, да только оттого-то и верно, что мы задержались со стартом на триста лет.

А впрочем, мещанство как окончательная форма цивилизации — такая ли уж это катастрофа, как может показаться? Ведь, с одной стороны, общественный прогресс в такой же степени подчинен объективной закономерности, как и

развитие Вселенной, и нравится нам, что у Юпитера имеются кольца, или не нравится — это даже сравнительно не вопрос. С другой стороны, что такое мещанство? А доминанта посредственности, благополучие в качестве единственной цели жизни, оперетка как высшее проявление прекрасного, Христос как ходатай и прокурор. Кажется, ничего страшного, всё в пределах здравого смысла, но тогда почему в глазах русака эти добродетели — сомнительные добродетели и против них бунтует причудливый русский ум? Видимо, потому, что на Руси мор, революция, неурожай, романтизм, тюрьма да сума — это будет норма, а достаток и торжество правопорядка — приятная аномалия, что-то вроде каши из топора. Положим, и голландцы в начале семнадцатого столетия страдали острой формой романтизма, пепел Клааса стучал в сердца, и с продуктами питания у них были перебои, и мудрец Борух Спиноза мутил умы, но минуло три столетия упорядоченного, созидательного бытия, и оперетка вышла на первый план. А мы по-прежнему норовим жить высокими идеалами, поскольку еще не оправдали себя наши тучные черноземы, русачок никак не научится переходить улицы на зеленый сигнал светофора, и коммунальное сознание сидит у него в крови.

Таким образом, загадка прогресса состоит в том, что успехи культуры находятся в обратной зависимости от успехов цивилизации, то есть чем благоустроенней государство, тем уже и пошлее собственно человек. Разгадки эта загадка, видимо, не имеет, как не имеет ответа простой вопрос: почему из соединения водорода и кислорода получается вода, а не фантики от конфет?.. Зато мало-помалу выясняется цель истории, которая, по всем вероятностям, заключается в выведении оптимального человека, этакого гибрида из хорошиста, папаши Гранде и соседа по этажу. Насущность сего оптимального человека можно объяснить тем, что именно протак, исповедующий Лютера и двойную итальянскую бухгалтерию, способен обеспечить всяческий, органичный и вечный мир.

Нужно сознаться в греховной мысли: правопреемников сепаратиста Джорджа Вашингтона почему-то не жаль, а вот русской культуры жаль. Тем более что у нас в России дело, очевидно, идет к тому, что все виды духовной деятельности вот-вот задавят телевидение и кино. Кино — это куда ни шло, оно еще при Эйзенштейне нащупало себя как самостоятельное искусство, даже не сказать, что общедоступное, но телевидение — это Содом и Гоморра нашего времени, прямой наследник масленичного балагана, первый потатчик невеже и дураку. Вот что любопытно: на Западе телевидение идет сразу после Библии, потому что так звезды расположились, а в России главенствует потому, что большевики аристократию извели.

Как бы там ни было, а до изобретения Зворыкиным принципа передачи изображения на расстояние ничто до такой степени не прислужилось запросам обывателя, как «голубой экран», ну разве еще кровавые состязания гладиаторов и лубок. Оно и понятно, поскольку зворыкинская новелла позволила охватить несметную аудиторию остолопов, которые заказывают музыку по праву огромного большинства. Непонятно другое: почему посредством вываренного чернильного ореха человечеству передается категорический императив и «Братья Карамазовы», а посредством невообразимых технических ухищрений — викторины для дураков? Видимо, все-таки потому, что бог вещь чего ради успехи культуры находятся в обратной зависимости от успехов цивилизации, что вообще человечество развивается по Платону, который, как известно, недолго любил поэтов и чаял торжество всяческой простоты. Разумеется, глупо сетовать на характер научно-технического прогресса, да, собственно, никто на него и не сетует, а просто мучительно грустно сосуществовать с этакой объективной закономерностью, как с вечной чередой нищих от паперти до ворот.

Занятно, что успехи науки и производства не так влияют на общественно-политическое развитие человечества, во всяком случае, паровоз, электрическое освещение, радио, самолет были изобретены в эпоху абсолютизма, который от этого нисколько не пострадал. Хотя это еще бабушка надвое сказала, может быть,

как раз из-за паровоза и пострадал. Положим, сидит калужский мещанин в вагоне третьего класса и думает: что за ерунда! Который год по рельсам ездим, а государственное устройство как при Владимире Красное Солнышко — стыдоба! И вот эта революционная мысль ширится, крепнет, помаленьку становится материальной силой, и в результате Россия откатывается в «золотой век» натурального обмена, антропофагии и культа каменного вождя. Правда, при этом наблюдается небывалый подъем народного духа, который Европа знала разве что в эпоху религиозных войн, но по департаменту материальных благ мы постепенно сравниваемся с буддийским монастырем. Тут уж ничего не поделаешь, потому что русский мещанин если призадумается ненароком, то жди чего-нибудь фантасмагорического, даже и не беды.

Ведь это у них мещанин — третье сословие, крестник энциклопедистов, а у нас он — сгусток отрицательной энергии, который, если что, первым делом инородцев режет, как поросят. Вот извел русский мещанин нашу аристократию, то есть именно мещанин извел, озлобленный от собственной беспомощности, недоучившийся, завистливый и потому большой охотник до каши из топора... И что же? А то, что, сдается, только на аристократии и держалась непутевая, нечистая на руку наша Русь. Даже демократ, хотя и граф, Клод-Анри де Ревруа де Сен-Симон считал: «Понятие о чести есть более сильный стимул нравственности, чем любое уложение о наказаниях», — следовательно, в стране, где законов нету, одна «голубая кровь» в состоянии гарантировать правильное отправление государственности от подрывной деятельности самородков, исстари воспевающих Стеньку да Пугача.

То-то теперь днем с огнем не сыскать такого государственного мужа, в котором можно быть твердо уверенным: этот не украдет. То-то во властителей дум теперь ходят выдавшие виды тетки и тертые мужички, которые песенки поют, отчего складывается такое впечатление, что у нас только и делают, что поют. То-то наше телевидение — прямой наследник масленичного балагана, который затмил все, от музыкальных вечеров до литературы, а также первый потатчик невеже и дураку. Словом, и в России буржуа торжествует, даром что он куда больше урка, чем буржуа.

Правда, еще жива аристократия духа — русский интеллигент, но силой вещей он поставлен в такое жалкое положение, что его можно и не считать. Он еще дует в свою дуду: дескать, гуманистические идеалы, дескать, не хлебом единым жив человек, но какое это может иметь всемирно-историческое значение, если ему не на что купить дополнительные штаны.

Однако возьмем в предмет, что Россия всецело под мещанином — это уже не Россия, а опасное недоразумение, «потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...»*.

В преклонном возрасте человек еще потому несчастен, что ему нечего почитать. То есть давным-давно все прочитано, во всяком случае, из того, что стоит внимания серьезно ориентированного субъекта, и поэтому к старости он несчастен дополнительно, ни за что.

Правда, никто ему не мешает пройти по второму кругу, перечесть кое-какие капитальные сочинения, на которых зиждется мировая художественная культура, не вершки ее, а именно корешки. Сдается, что такое повторение может оказаться питательным, и вельми, поскольку в молодости нам не все дано прочувствовать и понять.

Положим, вернешься к «Мыслям» Блеза Паскаля, которые по молодости лет читал через пятое на десятое, вдруг наткнешься на максиму: «Людей учат чему угодно, только не порядочности», — и до того она покажется чреватой, что

* Оборванное заключение «Мертвых душ».

даже станет не по себе. Подумаешь: как же ты, дурень, в свое время проморгал такую златую мысль...

Ведь действительно со времен царя Хаммурапи детей в школе учат тому-сему, но только не тому, чему в первую голову следует их учить. А учить начинающего человека нужно не химии и не математике, а простейшей вещи — чтобы он трактовал ближнего, как себя. Между тем в каждом выпускном классе, среди молодых людей, превосшедших хитрости интегрального исчисления и нуклеиновой кислоты, наверное, найдется пятеро доносчиков, десять душ беспринципных дельцов, два вора, один убийца и пара очкариков, неспособных ударить одноклассника по лицу. Отчасти такая вариативность объясняется тем, что возможности воспитания человека исчерпываются еще во младенчестве, лет так в пять, причем в нем на равных участвуют и отец с матерью, и худое питание, и бандит, который живет за стенкой, потому-то этот процесс предполагает гадабельный, непредсказуемый результат. Другое дело — образование, каковое всегда система, имеющая в виду определенную цель, оперирующая известными инструментами, учитывающая то трансцендентальное обстоятельство, что человек способен учиться до окончания своих дней. Вот только учат его, как нарочно, всё химии с математикой, а не порядчности, и в итоге мы постоянно испытываем нехватку очкариков, неспособных ударить одноклассника по лицу. Химия-то с математикой, дай срок, забудутся, и уже после первого аборта ни одна молодка тебе не скажет, что это за материя такая — нуклеиновая кислота, а вот навык доношительства — это прочно и навсегда.

Надо отдать должное нашему обществу, — его издавна беспокоит этот отъявленный парадокс, недаром никакую иную отрасль российской государственности так не замучили реформаторы, как школьное образование: то они вдруг лицеев пооткрывают по французский манер, то у них латынь с древнегреческим во главе угла, то обучение по половому признаку, то ни с того ни с сего сделают упор на слесарное ремесло... Дело тут, впрочем, не в одном беспокойстве, может быть, даже преимущественно дело в том, что общество наше чересчур переменчивое, бойкое, охочее до крайностей, и посему школа у нас периодически теряет ориентир. Например, в стране идет планомерный отстрел государственных чиновников, а гимназистов донимают генеалогией древа Авраамова, которое так же соотносится с российской действительностью, как между собой соотносятся винтовка Мосина и балет. Например, в стране идет борьба с безродными космополитами, они же жида пархатые, а школьников по-прежнему учат извращенной международной, он же интернационализм, дескать, «несть ни еллина, ни иудея», а есть пролетарии и злокозненный капитал. Следовательно, основной недуг нашего образования состоит в том, что оно поневоле противостоит жизни, направлению общественного развития и так называемой злобе дня. То есть образование-то сравнительно ни при чем, это общество оголтелое, которое даже не знает толком, куда идет. Оно думает, что идет к экономическому процветанию и парламентаризму, а приходит к гражданской войне, в которой побеждают господа недоучившиеся, разнорабочие, иностранцы и босяки. Или оно думает, что идет к социальной гармонии и распределению по потребностям, а приходит к империи старокитайского образца. Наконец, оно думает, что идет к демократии и торжеству всевозможных гражданских прав, а приходит туда, не знаю куда, где даже и украсть нечего, хотя основная фигура — вор. Ну как нашему многострадальному образованию за такими кульбитами уследить? Разве что следовало бы раз и навсегда отделить школу от государства, как в свое время от него церковь отделили, ибо и у школы, и у церкви ценности неизменные, и жизнь установившаяся, и развитие органичное, и непреходящая злоба дня. Эта последняя, повторимся, состоит в том, чтобы учить молодежь порядчности, то есть правилу трактовать ближнего, как себя.

Другой вопрос, что у нас вообще с порядчностью дело обстоит непросто, сложнее даже, чем с урожайностью зерновых. Вот у немцев в помине нет тако-

го понятия — «порядочность», потому что у них немислимо назначить встречу и обмануть. Кроме того, все народы, безусловно подверженные европейской цивилизации, обходятся одним словом «мораль», а слова «нравственность» у них нет, а у нас существуют и нравственность, и мораль. Дело тут не в перлах и диамантах нашего языка, дело, напротив, в том, что, по Достоевскому, «широк, слишком широк человек» нашей российской складки; например, ему отлично известна та мораль, что красть не годится, а он возьмет, дурында такая, и украдет, хотя в другой раз под настроение принципиально не украдет. То есть, по-нашему, «мораль» — общественное, «нравственность» — личное, это про то, до какой степени ты широк. Отсюда нимало не удивительно, что европейские народы обходятся одной моралью, поскольку родители у них генетически передают заповедь «не укради», у них оттого и на химию с математикой напирают, что нормы морали сидят в крови.

Мы же не можем себе позволить такой узкой специализации — не дано. С одной стороны, российское общество еще не устоялось ни в моральном, ни в нравственном отношении, оно покуда находится в движении-брожении, и у нас многое впереди. С другой стороны, что в нуклеиновой кислоте, что в интегральном исчислении нет души, как в березовом полене, и, дидактически рассуждая, за порогом школы им грош цена. Наконец, мы не смеем уповать на генетику и сугубо семейное воспитание, ибо в иных семьях старики по материнской линии служили в СМЕРШе, в иных же пьют горькую по неделям, а так существуют на сухарях.

Словом, это даже не удивительно, это страшная тайна жизни — зачем молодежь в течение десяти лет учат тому, что не пригодится в зрелости и забудется скорей, чем приятный сон. Ну какой кроется воспитательный момент в том, что молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода? А никакого, вовсе не скажется это самое H_2O ни на течении семейной жизни, ни на количестве уголовных преступлений на душу населения, ни на урожайности зерновых. Между тем существуют дисциплины, которые прямо работают на развитие прекрасного в человеке и способны сузить диапазон его возможностей до пределов моральных норм. Может быть, вообще молодежь следует учить преимущественно астрономии, ибо ничто так не выделяет человека среди прочих дыханий мира, как чувство вечного и брэнного, чудесным образом держащее нас в узде. Это действительно странно и непостижимо, но тот Иванов, которому известно, что через шесть миллиардов лет Земля превратится в мертвую глыбу, бессмысленно кружащую во Вселенной, ни за что не украдет у соседа берема дров.

Тем не менее: уже три столетия с лишком, как покоится Блез Паскаль, а нас по-прежнему учат чему угодно, только не порядочности — глупо и не смешно. Хотя, строго говоря, эта французская максима довольно-таки темна, потому что в действительности никто вам не скажет, отчего в семье Ивановых старший брат — делец, средний — священник, а младший — вор.

Вроде бы установлено: ничто так полно и откровенно не обрисовывает характер народа, как песни и сказки, которые сложились в его среде.

Что до народных песен, то у англичан о Джеке-потрошителе ничего нет, а у нас о Ваньке-Каине есть, у немцев все больше поют о девушках по-над Рейном, а у нас «Из-за острова, на стрежень...» про уркагана Степана Разина, который топил в Волге пленниц и вырезал целые города. Ладно, если бы мы были народ нахрапистый и жестокий, а то ведь беззащитный, в сущности, мы народ, и поэтому непонятно, отчего нас тянет по фольклорной линии на разбой. Или действительно грабить-резать — это у нас в крови? Или национальные склонности сами по себе и сами по себе частушки и хохлома?..

Что до народных сказок, то тут тоже многое загадочно и темно. Например, известно точно, что в Нижней Саксонии не меньше дураков, чем в Вологодской области, между тем наш любимый сказочный персонаж не кто иной, как Иван-дурак. Вот читаем у собирателя Афанасьева:

«Дурак лег на печь и лежит. Невестки говорят ему:

— Что же ты, дурак, на печи лежишь, ничего не работаешь! Ступай хоть за дровами.

Дурак взял топор, сел в сани, лошади не запряг.

— По щучьему,— говорит,— велению, по моему хотению катите, сани, в лес сами...»

На самоходных санях по дрова — это куда ни шло, но предел народных мечтаний там, где открывается возможность ездить к самому царю в гости со всеми мыслимыми удобствами, то есть непосредственно на печи. В том-то все и дело, что не на ковре-самолете, а на печи любимой, и не к деверю, а к царю. Знай, мол, наших, что мы тоже не лыком шиты, тебя Бог умудрил державой править, а мы на печках ездим — и ничего. Кстати напомнить, цель этой аудиенции была злая: позавидовал государь Ивану-дураку и решил его засадить в тюрьму. А накануне царедворцы ему нашептали: «Так его не взять, надобно обманом залучить, а лучше всего обещать ему красную рубаху, красный кафтан и красные сапоги». Польстился Иван на царевы подарки и покатил.

Сказка, конечно, ложь, но в данном конкретном случае нам намек, что за этой интригой — весь русский человек, а если и не весь, то по крайней мере в мечтательной его части, которая, впрочем, иногда дает себя знать в практических плоскостях. Недаром Григорий Отрепьев, выдававший себя за убиенного царевича Дмитрия, сказочно легко рассеял огромную армию Годунова и самосильно уселся на трон Рюриковичей. А все почему? Потому, что он был тот же Иван-дурак, излюбленный персонаж, который въехал в белокаменную без малого на печи. Недаром горстка большевиков, точно по щучьему велению, за двенадцать дней покорила огромную страну, посулив народу «красную рубаху, красный кафтан и красные сапоги». И разве мы, наследники легковых, семьдесят лет не путешествовали на печи в поисках молочных рек с кисельными берегами, где человек человеку исключительно брат и справедливость вершится сама собой?.. Также недаром мы и в текущий исторический момент поем Лазаря всей страной, поскольку мы любим, чтобы сани ехали сами, а сами они, как назло, нейдут.

Выходит, что некоторым образом сказочный народ — русские, ибо и живут они точно в сказке, как-то неправдоподобно, и мыслят сказочно, на манер: дважды два = категорический императив,— и вечно чают сказочных перемен. Это все, видимо, оттого, что климат у нас характерный, ненадежный: посеешь огурчика, а вырастет разводной ключ. Ну не располагает наш климат к неустанным трудам, интенсивному способу производства, и отсюда истома, которая постоянно выливается в ленивые, продолжительные мечты. Ведь почему, собственно, свершился Великий октябрьский переворот? Только из-за мечтательности и лени, иных-прочих резонансов нет. Ибо для того, чтобы построить общество справедливости и избытка, нужно сто лет трудиться не покладая рук, изо дня в день, до седьмого пота, вот как наши ближайшие северные соседи, у которых давным-давно существует реальный социализм, но нет, нам такие невидные подвиги не с руки. По-нашему, куда веселее пожечь господские усадьбы, вырезать очкариков, взять Варшаву, и тогда социализм устроится сам собой. И еще хорошо бы, чтобы это дело вышло по немцу Марксу, в мировом масштабе, чтобы сравнивать было не с чем и чужая благопристойность не так колола бы нам глаза.

Одна услада: до того действительно русский Бог велик, что в снисхождение к нашей непродуктивной мечтательности нам дадены самые тучные черноземы и вся-то таблица Менделеева в недрах родной земли. Тем не менее Лев Толстой жалуется в дневниках, что его вконец замучили яснополянские крестьяне: то де-

нег дай, то леса на даровщинку, то яблочков, то муки. И это так отличались тульские земледельцы, имевшие до пяти — семи десятин отъявленного чернозема, который даже при нашем характерном климате способен давать убедительный урожай. Для справки: немцы на своих супесях в начале века собирали до тридцати центнеров с гектара разного названия зерновых, мы же на своих черноземах — много когда пятнадцать, и это еще считалось чудо, знак благоволения от небес. Таких чудес у нас и потом хватало: когда, например, окончательно оказалась себя социалистическая экономика, вдруг откуда ни возьмись забили фонтаны нефти на радость большевикам, а то бы их поели заместо докторской колбасы. Или вот еще чудо из чудес: как только нам объявили свободу слова, сразу пошли перестрелки среди бела дня.

Следовательно, надо ждать новых народных сказок, положим, про то, как объявился Илья Муромец нашего времени и вырастил под Муромом убедительный урожай. Хотя... хотя у нас и старые сказки не все про Ивана-дурака, есть и про братца Иванушку, которому сестра наказывала не пить из козлиного копытца, а то, дескать, как бы чего не вышло, как бы ненароком не обернуться легендарным животным, на котором древние греки вымещали свои грехи.

Вовсе не обязательно целое сочинение одолеть, чтобы заразиться какой-то мыслью, а в другой раз достаточно наткнуться на проходное, вроде бы незначительное замечание, как сразу начинается движение в голове. Вот читаем у Зинаиды Николаевны Гиппиус: «До первой (имеется в виду мировой) войны границ в Европе между государствами почти не существовало. Только и была одна настоящая граница — русская». Читаем и удивляемся: с чего бы это Россия вечно отгораживалась от соседей, особенно на западе, чего ей вообще так дороги противостояние и забор?

Вопрос обширный, хотя, как и все обширные русские вопросы, он разъясняется в двух словах.

Начать с того, что никто в целом мире так не носится со своей национальностью, как русак. Оно и понятно, то есть понятно, почему австрийцу не так интересно, что он австриец, и с какой стати он австриец, и нет ли в этом какого-нибудь тайного смысла, и не заметно ли тут влияния высших сил. Потому, что в большинстве своем народы самодостаточны, давным-давно они устоялись, закоренели, и что австрийца возьми, что китайца — каждый, как нельзя больше, доволен самим собой. Азиат, правда, при этом замкнут и нелюдим, а европеец открыт, общителен, добродушен, веротерпим, но оба до такой степени законесли в предубеждении, будто, кроме австрийца или китайца, никого на свете не существует, что национальной проблематики у них нет. Первопричины такой индифферентности очевидны: на Востоке это будет древность и духовная цивилизация, на Западе — техническая цивилизация и мораль. Также очевидно, что европеец оттого и добродушен, что по отношению к соседям он чувствует себя, как просвещенный мореплаватель по отношению к дикарю.

У нас на Руси не то. У нас ежели ты русский, то это серьезно и живет в тебе, как хроническая болезнь. Основные ее признаки таковы: нам бесконечно интересно, что мы русские, и с какой стати мы русские, и чьем мы в этой причастности умысел и влияние высших сил. Словом, болезнь как болезнь, разве что из тех, с которыми сживаешься до такой степени, что расставаться бывает жаль.

Занятно, что русскость имеет свою историю. В допетровскую эпоху нашим пращурам было свойственно острое национальное самомнение и всему инородному они противились как угрозе, то есть ежели ты чужак, то неприятней тебя только засуха и чума. Само имя чужаку было — немой, и селили его на отшибе, за глухим забором, и знаться с ним запрещали под страхом смерти, вообще вели иностранную политику по старокитайскому образцу. Но китайцы всячески отгораживались от варваров того ради, чтобы предохранить от чужеродного вли-

яния свои древние установления и культуру, а мы-то чего с царя Гороха исповедовали противостояние и забор? Пороха мы, кажется, не выдумали, шелка не изобрели, медицины не знали, науку только ту и имели, которую вгоняют в задние ворота, с народной религией расплевались задолго до вторжения монголов, следовательно, из чего мы чванились — не понять. Острое национальное самознание тем более загадочно, что Москву белокаменную строили итальянцы, самыми надежными солдатами в русской армии были немцы, и вот даже водку к нам из Голландии завезли. Наверное, мы оттого чванились, отчего глинобитные китайцы искренне считали варварами скорострельных французов и англичан, именно от гордыни, только у них были на то резоны, а у нас — нет. Но вот при царе Борисе Годунове послали учиться в Европу двенадцать душ отроков из боярских семей, и ни один назад не вернулся, что можно считать отдаленным предвестием перемен.

И ста лет не прошло, как на Руси и в самом деле резко поменялось отношение к чужаку. Именно после Петра Великого у нас впали в другую крайность: какая-то образовалась трепетная, драматическая влюбленность в европейскую новину, решительно во все, что виднелось за последним шлагбаумом, выкрашенным в правительственные цвета. Вдруг такими мы сами заделались европейцами, что в высшем обществе двести лет по-русски не говорили — явление беспримерное в истории цивилизации — и даже перестали считать людьми 99% населения империи, то есть наших азиатствующих хлебопашцев-бородачей. А то как же: за последним шлагбаумом «ружья кирпичом не чистят», конституцию изобрели, на распоследнем мастеровом камзолчик с мерцающими пуговицами и целые башмаки. Тем не менее на континенте по-прежнему «только и была одна настоящая граница — русская», Павел I даже ноты из Европы не пропуская. Забавно и таинственно: ну ничего у нас нет природного, своего, — бог иудейский, алфавит греческий, отвлеченные понятия из латыни, — и при этом всякое русское правительство, хоть царское, хоть большевистское, проводит одну и ту же внешнеполитическую линию, которая упирается в противостояние и забор...

Любопытно было бы выяснить — почему? Может быть, потому, что у нас исстари боялись что-то открыть чужому, нерасположенному зрачку, что-то уж совсем постыдное, безобразное, чего не сыскать нигде, положим, то феноменальное попущение, что у нас ничего нет природного, своего. Но ведь и в Париже вывески написаны латинскими буквами, в Лондоне в заводе нет смесителей для воды, в Венеции вор на воре, в Кёльне путают Льва Копелева с Львом Толстым, — и ничего, добро пожаловать хоть в Венецию, хоть в Париж. Разве что у нас где-нибудь в Усть-Орде вор на воре, слыхом не слыхивали про Льва Копелева и нет смесителей для воды. Но до Перми точно есть, а дальше Перми иностранца не заманить.

Или, может быть, наши владыки не чужого зрачка боялись, а подначального, своего. Думают: вот уберешь забор, а эти охломоны и разбегутся от резко континентальных порядков своей страны; и это еще ладно, если они растворятся на просторах Европы, как юные посланцы Бориса Годунова, а то насмотрятся на заграничные достижения, на то, как улицы с мылом моют, да вернуться озоровать... И в этой логике имеется своя сила, недаром у нас первая государственная тайна даже не то, умеет владыка запятые расставлять правильно или нет, а то, что «у них ружья кирпичом не чистят», хотя бы про эту новацию знали аж тульские петухи. Оно и понятно: донельзя обидно сторонникам противостояния и забора, что они не в силах так наладить российский быт, чтобы и Мясницкую с мылом мыли, что они вообще ничего не могут поделывать с этим народом, как его ни дави.

Наконец, не исключено, что забор — это чисто русское, народное, органичное нам, как самодержавие и загул. Коли мы с мылом разве что ноги моем, и то через раз, то не означает ли это, что мы в Европе чужие и обособленность нам с руки? Ну не то чтобы с руки, а уж так сложились история с географией, что мы

только лицом европейцы, повадками же — беспринципные степняки, и поэтому западные соседи суть для нас то же самое, что пришельцы с иных планет. Ведь у нас даже литература такая, что она понятна одному русскому, и более никому...

В этой логике также имеется своя сила, однако если поставить вопрос в движении, то что такое Европа и в чем ее пятый смысл? Если Европа — это место-пребывание вышколенного работника и организованного потребителя, самовлюбленного, как подросток, то мы точно беспринципные степняки. Если же Европа — по-прежнему фабрика духовной культуры, то тогда Европа не в Европе, а бог весть где. На своем месте она стояла, когда Борух Спиноза грызся со своими евреями, Гёте смеялся над немцами, Байрон терпеть не мог англичан, потому что хронический скандал между высоким и обыкновенным есть несомненный признак культурного движения, в этом-то скандале и заключается пятый смысл.

Наша песенка еще далеко не спета, если учесть, что никто в целом мире так не носится со своей национальностью, как русак. То есть не сказать, чтобы нам сильно нравилось, что мы русские, и даже мы страдаем своеобразным комплексом национальной неполноценности, ибо одним полушарием головного мозга мы последние европейцы, а другим — беспринципные степняки. Ну где еще человек, склонный почитать на пустой желудок, способен в течение дня наковырять три сотки земли под картошку, поспорить с прохожим насчет обстоятельств гибели Пушкина, украсть ящик гвоздей, приласкать куму, выпить полтора литра водки, потерять паспорт, выменять годовую подписку журнала «Октябрь» на поношенные сапоги, написать в стихах донос на соседа и заснуть сном праведника — да нигде! То-то нам донельзя интересно, что мы — русские, и с какой стати мы — русские, и нет ли в этом какого-нибудь тайного смысла, и не заметно ли тут влияния высших сил.

Вообще русак как чисто национальная единица чрезвычайно многосторонен, единственное, чего в нем нет,— это самодовольства, которое со временем вызывает упадок культурных сил. Нам всё интересно и задевает, мы разумом и духом устремлены вовне, в каждом из нас сидит маленький Александр Иванович Герцен, «русский джентльмен и гражданин мира», который способен понять и оценить всё незаурядное, от конвейера до Рембо. В этом смысле мы до такой степени европейцы, что нам даже не помеха идеология противостояния и забора, которую до последнего времени исповедовали наши владыки и их подельники по государственному рулю.

Как и следовало ожидать, не произошло ничего особенного, когда наконец ликвидировали последний шлагбаум, выкрашенный в государственные цвета. Ну, слышно, в Калифорнии бензин водой разбавляют, ну в Израиле начали грубить покупателям, ну в Праге могут зарезать за пятак...

Читательский опыт нам, в частности, говорит, что русак верит в разного рода предзнаменования, как никто. Комета в небе — это у нас к войне, соль подорожает — тоже к войне, грибное лето — и то к войне. То есть все у нас к войне, словно мир не способен меняться к лучшему или точно иных бед не бывает,— а «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? а демократическая республика? а чума? Правда, комета 1604 года предвзоветила Смутное время, как раз накануне 1-й крестьянской войны соль подорожала, а грибное лето 1940 года предварило Великую Отечественную войну. С другой стороны, Россия претерпела за свою историю около четырехсот столкновений с соседями, частью захватнического, частью оборонительного характера, а это даже для молодого народа получается чересчур.

К разного рода предсказаниям мы тоже чувствительны, как никто. Такая чувствительность тем более удивительна, что на деле прогнозы не сбываются никогда. Просто-напросто практика показывает: что ни напроорочь, на деле предсказание не сбудется никогда. Видимо, жизнь настолько богаче воображения, физически неспособного объять все подспудные обстоятельства и тенденции, что в действительности все выходит наоборот.

Вот читаем у Достоевского:

«Да она накануне падения, ваша Европа, общего и ужасного... Грядет четвертое сословие (читай — пролетариат), стучится и ломится в дверь и, если ему не отворят, сломает дверь. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жида, — всё это рухнет в один миг и бесследно...»

Такой вот у Достоевского есть прогноз. Писано это было еще при жизни Карла Маркса, которого Федор Михайлович не читал. Занятно, что два пророка, мысливших розно и в непересекающихся плоскостях, приходят к одинаковому прогнозу насчет неизбежности пролетарской революции в европейском масштабе и апокалипсиса без границ. Даром что Маркс пророчествует в положительном смысле и чает совершенного государственного устройства, а Достоевский вещает в отрицательном и вожделеет крушения мешанской Европы в пользу панправославия и Руси. Занятно также, что ни тот, ни другой будущего европейцев не угадал. На Западе, где, по Марксу, обязательно должна была свершиться пролетарская революция, махровым цветом цветет буржуазный стиль, а в России, где, по Марксу, революции ни при какой погоде не должно было произойти, она как раз и произошла, гикнулись «все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жида» и прочие технические обстоятельства, без которых современная цивилизация не стоит. Впрочем, Россия, по Достоевскому, сделалась пугалом всей планеты, но Константинополь по-прежнему у турок, а с православием русачок расплевался еще во время «триумфального шествия Советской власти», и, кажется, навсегда. Именно жизнь оказалась богаче самого горячечного воображения, и, видимо, потому, что логика общественного развития и человеческая логика разнятся по существу.

Действительно, по человеческому разумению, «всё к лучшему в этом лучшем из миров», как писал Вольтер, то есть развитие рода, история, с нашей точки зрения, есть прогресс. А, собственно, почему? С какой такой стати она прогресс, если жизненный опыт нам говорит о том, что развитие человека представляет собою путь от бессмысленного младенца до бессмысленного тела с медными денежками на глазах... Или демократический способ отправления государственности и в самом деле совершенней абсолютной монархии? Или, может быть, мы такие блаженные потому, что уже двести лет, как преступников не сажают на кол? Или телевизионные викторины содержательней трагедий Софокла? Или хитон не так изящен, как кожаные штаны?

Одним словом, это еще бабушка надвое сказала, прогрессивен ли ход общественного развития и куда мы идем, к лучшему ли будущему или прямехонько в никуда. Иной раз покажется, что именно в никуда. И сразу не такой уж и жуткой представится собственная кончина, особенно если припомнишь вычитанное где-то, что вот хоронили генерала Иванова аккурат 26 октября 1917 года, и прозорливцы говорили вслед похоронной процессии: «Экий счастличик, знал, когда отдавать концы». Помирать, конечно, не хочется, но как подумаешь, что завтра Финляндия может подвергнуться коллективной агрессии из-за того, что там лопарей не любят, — и вроде бы ничего...

Скажут на это, что вот, дескать, знание и машинное дело находятся в непрерывном поступательном движении и преодолели значительный путь от хиромантии до никелированного гвоздя... Так-то оно так, да только сомнительно, чтобы научно-технический прогресс напрямую сказывался на прогрессе гуманитарном, во всяком случае, на нравственности человеческой, кажется, никак не отразилось изобретение колеса. Может быть, даже наоборот: наука и техника развиваются прямо во вред человеческому в человеке, один только телефон изжил эпистолярное искусство, культуру визитов и званые вечера.

А то взять движение государственности: ну чем действительно Верховный суд Российской Федерации лучше ареопага? референдум — веча? парламентские слушания — казачьего круга? демократическая республика — Семибоярщины? Да ничем! Что до последней, то она точно совершенней демокра-

тической республики, поскольку подразумевает в шестьдесят раз меньше смутьянов, которые бьют баклуши в Государственной думе, в двадцать раз меньше удельно-сепаратистов, которые мудруют в Совете Федерации, и целых семь тонких специалистов насчет прижать русака к ногтю. Да еще это были представители знатнейших домов России, а не шпана, люди традиции, известных политических навыков и культурного багажа. Легко можно нафантазировать, кого бы приставила народная воля к государственному рулю: Маринку Мнишек с ее папашей, расстригу Отрепьева, жулика Веревкина, криминал-большевика Болотникова и прочих баламутов, которые вообще тем громче о себе заявляют, чем меньше они способны к положительному труду. Не то чтобы демократическая республика была для России нехороша, она в принципе не годится, ибо ориентирована на вкусы и понятия непросвещенного большинства.

Видимо, оттого-то предсказания и не сбываются никогда, что разные человеческие институты развиваются в разных направлениях, кто куда. Знание один соблюдает вектор, машинное дело — другой, государственность — третий, человечность — четвертый, и пересекаются ли они, нет ли — это для нас темно.

Вот что представляет собой просвет: Бог есть еще потому, что мы не в состоянии провидеть будущее, брэнной логики не хватает, и есть некоторая обреченность в деятельности ума.

Если ты человек праздный, то есть тебе дела нет до биржевых котировок или оптовых цен на пиво, то разум твой беззащитен перед влияниями извне. Вот пример того, как одно постороннее замечание может вогнать такого человека в изнурительные размышления и тоску...

Читаем у Цезаре Ламброзо: «Те, кому выпало редкое счастье жить рядом с великими людьми, знают, что все они сумасшедшие».

Вот так так! Это, стало быть, мыслители, ученые, художники, вообще выдающиеся деятели в сфере нематериального, на которых держится человеческая культура, — это всё обыкновенные «психические», как говорят у нас труженики города и села. Отсюда, между прочим, логически вытекает, что нормальные, здравомыслящие особи — это как раз труженики города и села.

Впрочем, может быть, так и есть. Ведь известно же нам, что многие великие люди страдали такими свойствами, которые несовместимы со здравым смыслом, — например, страстью к положительному труду. Менделеев работал даже во сне, Петр Чайковский только во сне и не сочинял, Лев Толстой оставил после себя девяносто с лишним томов шедевров, Саврасов бесконечно воспроизводил в красках прилет грачей. Кроме того, великих людей отличают некоторые фантастические поступки, например, Диоген жил в бочке из-под вина. Причем если на Западе таким образом отличались через одного, то в России все: Сумароков ходил похмеляться до ближайшего кабака в ночной рубашке и с анненской лентой через плечо; Петр Чайковский, будучи в Нью-Йорке, увидел в окошко демонстрацию мусорщиков и до того напугался, что со страху залез под стол; Лев Толстой полжизни провел в мыслях о самоубийстве; Саврасов, кроме водки и клюквы, ничего иного в пищу не употреблял; Менделеев на досуге мастерил чемоданы; Циолковский считался в Калуге городским дурачком, и ему ангелы являлись; Маяковский у себя на лбу бабочек рисовал. Вот и выходит, что великие люди суть сравнительно сумасшедшие, если в иных случаях не вполне.

Но тогда почему именно эти ненормальные испокон веков создавали человеческую культуру, если бок о бок с ними всегда жили труженики города и села? Казалось бы, им-то и карты в руки, ибо труженик, как правило, трезв, расчетлив, целеустремлен и наперед знает свою судьбу. Но нет, ничего метафизического не родилось в этой здоровой среде, помимо хоровода, частушек и хохломы. Да и то хохломскую роспись не соборно же выдумывали всей Нижегородской губернией, а, поди, выдумал сей стиль какой-нибудь безвестный «психический» из народа, который видел ангелов и нарочно жил в собачьей будке вместо бочки из-под вина. То есть, скажем, народная песня — это такая песня, которую неизвестно кто именно сочинил.

Поэтому вопрос о роли личности в истории хорошо бы пересмотреть. В истории государств, движений, войн и прочих стихий общественного порядка — пусть роль личности в истории остается вторичной либо покида гадательной, в рамках старинного силлогизма насчет того, кто ведет козла на бойню: веревка или десница поводыря. Но что до культуры, то невольно приходишь к выводу, что ее строили сумасшедшие, пускай даже относительно, если в иных случаях не вполне. Разве трезвомыслящий человек, знающий толк в арифметике и закваске, построит храм Василия Блаженного, который даже культурные люди называли «бредом пьяного огородника»? Нарисует селедку с головой человека, которая через столетие будет стоять, как паролод? Сочинит гениальную «Героическую симфонию» в честь кровопийцы и дурака? Трезвомыслящий человек, как это ни странно, даже анкерный механизм придумать не в состоянии, а изобрел его, как это ни странно, драматург Бомарше, который страдал клептоманией, манией величия и смертельно боялся блох. Разумеется, не каждый сумасшедший напишет «Мертвые души» или откроет принцип реактивного движения, но и Гоголь, и Циолковский были положительно не в себе.

Таким образом, культура, самая наша суть, то, что с течением времени превратило говорящее млекопитающее в человека, есть следствие деятельности одиночек, которые были в той или иной степени не в себе. Но тогда что есть норма, что аномалия, если культура составляет самую нашу суть? Может быть, норма — государственность, движения, войны и прочие формы каннибализма, может быть, норма — обыватель, который интересуется исключительно биржевыми котировками или оптовыми ценами на пиво, а культура... это так, детский случай, что-то вроде «родничка» на темени у младенцев, который, дай срок, затянется сам собой... Ведь странно все-таки: здравомыслящее большинство ест, чтобы работать, и работает, чтобы есть, а горстка «психических», невесть зачем и почему, не сеет, а созидает избыточное знание, которое напрочь не нужно труженикам города и села. Ну зачем они его созидают? Ответа нет. Разве что подумаешь: а зачем планеты вращаются в бесконечной Вселенной, которая к тому же еще и расширяется? Если вращаются они, нет ли, где-нибудь в созвездии Гончих Псов, это не скажется ни на деторождаемости, ни на урожайности зерновых... Видимо, не зачем, а затем, что их Бог сотворил и завел, как часы заводят, из субстанциональной способности к творчеству, или, если угодно, из неспособности не творить. Следовательно, наши «психические» сочиняют затем же, зачем планеты вращаются: одни не могут не вращаться, другие не могут не сочинять. То-то Гегель называл их «доверенными лицами мирового духа», видимо, подозревая, что сам Создатель бытует за рамками здравого смысла и в некотором роде не ведает, что творит.

Или, может быть, напротив: норма — это горстка сумасшедших, которые созидают культуру, то есть самую нашу суть. В этом случае искусство никак не принадлежит народу, а принадлежит оно узкому кругу творцов и потребителей прекрасного, которые тоже по-своему не в себе. Как же они в себе, если вместо того чтобы заняться делом, они нацепят очки на нос — и ну читать!

Словом, одно из двух: либо прав Платон и в идеальном государстве всех поэтов следует перевешать, чтобы они не смущали простой народ, либо Христос нам явился зря. Ибо не только способность к творчеству, а сама человечность есть прямое сумасшествие, хотя бы потому, что она обращена не на себя любимого, а вовне. Недаром князь Святослав Игоревич смеялся над христианами, поскольку в глазах нормального человека «возлюби врага своего» — это, конечно, бред. Также недаром настоящих последователей Христа раз-два и обчелся, разве что наши «психические», которые вечно отдают человечеству всё до последнего кодранта, а взамен получают кто чашу с цикутой, как Сократ, кто общую могилу, как Моцарт, кто астму, как Пруст, кто пулю, как Пушкин, а кто по минимуму — жену-заразу и невылазные долги. Закономерность эта настолько стойкая, что иной раз заподозришь вмешательство в творческий процесс иной, противоположной, злобствующей силы, которая ежеминутно шепчет тебе: а ты, бродяга, не сочини!

Ангелина Степанова в конце века

Ангелина Иосифовна ушла из МХАТа несколько лет назад. Она заболела, потом оправилась, но из театра твердо решила уйти. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых была занята, одряхтели. «Тартюф», поставленный Анатолием Эфросом, когда-то веселый и роскошно костюмированный (она играла госпожу Пернель), развалился, хотя она по-прежнему доставляла наслаждение зрителям чистой игрой, в «Серебряной свадьбе» Мишарина у нее была крохотная роль, а на первых спектаклях «Московского хора» Петрушевской замечательно сыграла героиню по имени Лица, жестко, с новым острым ощущением психологической правды. После болезни играть Лику уже было тяжело. «В театре мне стало неинтересно», — заметила Степанова и подала заявление об уходе. Остаться ее особенно никто не уговаривал, и МХАТ, получивший в 1990 году новое имя — МХАТ имени Чехова, остался без своей самой выдающейся актрисы, единственной, кто остался в живых из больших актеров старого Художественного театра.

Степанова пришла в театр в сезоне 1924—1925 года. Ее приход совпал с обновлением репертуара: в старые спектакли вводились новые исполнители. Станиславский шутил, что труппа состоит из «дедов» и «внуков». Разница между ними составляла тридцать лет. В первый раз она вышла на знаменитую сцену в сентябре 1924 года в «Царе Федоре Иоанновиче» А. Толстого в роли княжны Мстиславской. Спектакль был памятный. Качалов впервые в Москве играл роль царя Федора, а Станиславский — князя Ивана Шуйского. Роль молоденькой боярышницы совсем не подходила актрисе, склонной, как показали школьные годы, к острой характерности, тем более что от нее требовалось повторять рисунок предшественниц. Но, несмотря на волнение, чужой рисунок, репетиции со Станиславским принесли свои плоды. На старой фотографии красивое, нежное лицо в кокошнике, глаза приняли скорбное выражение и глядят с детской доверчивостью, тоненькие руки сжимают узорчатый платок.

Во МХАТе было прожито почти семьдесят лет. Уже в первой роли проступала драматическая одухотворенность Степановой, но кто мог тогда предположить, что она станет одной из самых больших актрис Художественного театра?

Как и большинство актеров второго поколения, она выросла в особой, мхатовской среде. Воздух, которым она дышала, был насыщен общением с Немировичем-Данченко, Книппер-Чеховой, Качаловым, Вишневым, Лужским, Марковым. Станиславский был и остался ее богом. Театр забирал все. Она находилась в состоянии тайного напряжения перед спектаклем, перед репетицией, которое разрешалось или на сцене, или в репетиционном зале. Талант актрисы менял свои формы, но постоянно жил в недрах ее души. Все желания вытеснялись, если впереди был спектакль или репетиция, все отбрасывалось в сторону, если это было нужно театру. Судьба подарила Степановой МХАТ его лучших лет и привела в порядок строй ее жизни раз и навсегда. «Блистательная и драматичная личная жизнь этой актрисы могла бы дать материал и романисту, и историку», — написала об Ангелине Степановой знаток истории Художественного театра Инна Соловьева. Годы убавили физические силы актрисы, но не духовные. Общаясь с ней, невозможно поверить, что в ноябре ей исполняется 94 года. 90-летие было отмечено в театре скромно и очень красиво. Было много цветов, заполнивших небольшую трехкомнатную квартиру. Ангелина Иосифовна позвонила мне по телефону и попросила приехать, отвезти цветы на Новодевичье кладбище, на могилы Фадеева и мхатовцев. Наутро после юбилея вместе с мо-

им другом, переводчиком Александром Чеботарем, мы приехали к ней, уложили охапки цветов в машину и точно выполнили просьбу актрисы — на какие могилы возложить цветы.

С Фадеевым было прожито почти двадцать лет. Когда сегодня появляются статьи о писателе, а его теперь принято изничтожать, то критики в угоду неписаным правилам нынешнего времени обязательно упомянут, что брак Степановой и Фадеева, поначалу радостный, с годами становился несчастливym для обоих. Доказательства не приводятся, только слухи, сплетни, пересуды. Ангелина Иосифовна не из тех людей, кому можно задавать вопросы об ее личной жизни, да никто и не посмеет. Письма Фадеева к Степановой находятся в ее личном архиве, в ЦГАЛИ она сдала небольшую их часть. Находящиеся у нее дома — неприкосновенны. «Они не очень интересны, это семейные письма, — отмахивается она, когда к ней пристают с вопросами. — Они принадлежат Мише». Миша — Михаил Александрович Фадеев, ее любимый сын. Несколько лет назад она потеряла старшего — Шуру. Он был первенец, родился в декабре 1936 года, еще до того, как Фадеев вошел в ее жизнь. Тогда казалось: все сулило вечную весну. Имя ее особенно просумело после «Анны Карениной». Бетси Тверская принесла ей встречу с Фадеевым в Париже на гастролях МХАТа в августе 1937 года и будущее большой актрисы. «Анна Каренина» изменила ее положение в труппе, в театральном мире, в личной жизни. Ее личные дела складывались иногда очень драматично — спасал театр. Она шла по жизни, не оглядываясь по сторонам, вместе с театром, твердо зная, что всякое раздвоение грозит ее актерской судьбе, а этого она себе не позволяла никогда. Как художник, ценивший «чертеж» роли, она всегда зависела от режиссера. Воспоминания о том, как Немирович-Данченко «делал» с ней роли, не покидают ее по сей день.

Теперь с театром все кончено. Смерть Шуры она перенесла трагически. Лицо стало черным, землистым. Она начала курить и долгими часами молча сидела за столом. Михаил Александрович с женой и сыном Сашей тревожились, все в доме знали, что значил для нее Шура, пьющий, безалаберный, непутевый, любитель женщин, много раз женатый, когда-то сказочно красивый, широкий, добрый человек, последние годы живший за городом с женой Надей (внучкой Сталина) и бесчисленным количеством собак. Мать он обожал. Теперь его не стало. Миша умолил мать не приходить на похороны. Как умный и тонкий человек, хорошо знающий все черты ее характера, он боялся, что этого она не выдержит. Она послушалась, но было видно по лицу, что мысли ее все время с Шуриком. Когда друг сына, литератор Саша Нилин, написал в газете небольшой некролог в память Шуры, Ангелина Иосифовна не расставалась с этим проникновенным текстом. Она вспоминала — очень скупое — детство Шуры, его юность, проведенную в Переделкине, на огромной фадеевской даче, той самой, на которой он застрелился, когда ее не было рядом. В мае 1956 года МХАТ был на гастролях в Югославии, еще играли знаменитые «Три сестры»: Еланская — Ольга, Тарасова — Маша, Степанова — Ирина. После спектакля ее посадили в машину и увезли в Будапешт. Сказали, что Фадеев тяжело заболел. Прямых рейсов на Москву тогда не было. В Будапешт приехали около четырех утра. В советском посольстве никто не спал, ждали Степанову. Ее тепло встретили, отвезли в отель передохнуть. Самолет на Москву — через Киев — улетал около девяти утра. Степанова лежала в номере и мучительно старалась понять, что же произошло. Правду она узнала в Киеве, в аэропорту. Самолет приземлился, стоянка длилась около сорока минут. Все ринулись покупать газеты. В то утро, 15 мая 1956 года, их расхватали втройях. Ангелина Иосифовна вспомнила, что у нее нет ни копейки, только несколько югославских динаров. Попросила стюардессу одолжить монетку и пошла за газетами. В «Правде» на третьей странице увидела портрет Александра Александровича в траурной рамке... В Москву она прилетела с газетой в руках. Встречающие молчали. В тот же день она получила письмо от Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой: «Дорогая Лина! Обнимаю тебя, всеми мыслями и всем сердцем с тобой... Что сказать тебе? Надо перенести и это со всем твоим мужеством, со всей твоей жизненной силой. Целую крепко, твоя Ольга Леонардовна. Если захочется повидаться, позвони мне. Прости мои каракули. О. Книппер-Чехова». У гроба Ангелина Иосифовна стояла рядом с Шуриком и Ольгой Андровской, знаменитой актрисой, своей самой близкой подругой.

После смерти Фадеева прошло сорок три года. Нет в живых ни Шурика, ни Андровской. День смерти Фадеева Степанова помнит всегда, и близкие знают, что 13 мая она не подходит к телефону. Кто может проникнуть в тайну чужой жизни, чужих мыслей? Спустя столько лет все для нее живо, как будто прошлое было вчера. Что пишут о ней и Фадееве, она не читает, с годами отказывают глаза, а слухи доносятся, но все это ее мало занимает. Теперь она редко общается с людьми, на улицу почти не выходит, пустых разговоров не любит, телефонную трубку берет лишь в определенные часы, их знают только самые близкие ей люди. Раз в год, 23 ноября, к ней приходят те, кто помнит о ее дне рождения: Ия Савина, Татьяна Лаврова, когда здоров, Ефремов, директор театра, его помощники; раньше всегда бывал Иннокентий Смоктуновский. В эти вечера она любит вспоминать, забавляет рассказами о том, что помнит и знает только она. Так родились ее «Сказки старого МХАТа», как с юмором она назвала свои бесчисленные истории.

Рассказ первый

«Денег у меня не было. Не знаю, кто и когда рассказал Станиславскому, как я завтракаю. А завтракала я так: брала стакан чаю, один ванильный сухарик и две сушки. И вот в один прекрасный день, как говорится в сказках, когда мы были в буфете, подошел ко мне Константин Сергеевич, взял за руку, подвел к буфетной стойке, за которой стоял Прокофьев — был у нас такой буфетчик, очень преданный театру, великолепный кулинар. В Москве даже говорили: «Пойдем в Художественный театр, посмотрим хороший спектакль и съедим расстегай Прокофьева». Константин Сергеевич сказал Алексею Александровичу: «Вот тебе наша актриса, смотри, какая она худенькая, бледенькая, подкорми ее».

С этого дня я стала получать вместе со своим стаканом чая пакетик, в котором были или пирожок, или бутерброд, или яблоко, конфеты... Я, конечно, брала и ела, но очень беспокоилась. Думаю: ну как это, вдруг подойдет ко мне Прокофьев и скажет: «Давайте деньги»? А у меня их нет. И вот однажды подсел ко мне за столик Николай Афанасьевич Подгорный, был у нас такой актер старшего поколения. Увидел, как я разворачиваю пакетик, и спросил: «Что вы принесли из дому?» Я все рассказала ему, добавив, что очень волнуюсь: попросят деньги, а у меня их нет. Он ушел к буфетной стойке, вернулся и говорит: «Ешьте спокойно, все оплачивает Константин Сергеевич»».

Рассказ второй

«Это был 1928 год. Праздновали 30-летие Художественного театра. Я уже в театре четыре года, и вот начались приготовления к юбилею. Сначала было решено, что молодые актеры привезут на извозчике основателей театра. Поедут за ними домой и привезут в театр. Но когда началось такое распределение, начались обиды. Тогда решили сделать лотерею. Билетики сложили в вазу, на каждом была фамилия юбиляра, которого надо было привезти, и вот нам было предложено вытаскивать эти билетики. Я вытасила Станиславского. Счастлива была, конечно, безумно! Накануне меня предупредили, чтобы я была заранее в театре, хорошо одетая, чтобы поехать за Станиславским. Я поеду к нему домой! Специальный был извозчик, улучшенного типа, так сказать. У меня было такое розовое платье, новенькое, хорошенькое. Дали мне большой букет роз, тоже розовых. Когда я посмотрела на себя в зеркало, мне очень понравилась вся эта картинка, и я с большим воодушевлением села на извозчика и поехала за Константином Сергеевичем. Ехала и воображала себе: я снимаю свое невзрачное пальто, в розовом платье с букетом цветов подхожу к Станиславскому, и он очень будет этим доволен. Но вышло не так. Когда я открыла двери дома Станиславского, то увидела, что Константин Сергеевич сидит в вестибюле в застегнутом пальто, с белым кашне вокруг шеи и нервно притоптывает одной ногой, видимо, уже в ожидании. Я сказала: «Здравствуйте, Константин Сергеевич!» Он ответил: «Здравствуйте! Что так долго?» Недовольно сказал. Я подошла, подала букет, сказала, что это от театра. Он ответил «спасибо» и не глядя положил его рядом со шляпой на скамью. «Маша, — сказал он громко. — Я еду!» Раздались торопливые шаги. «Сейчас, сейчас!» — И вошла Мария Петровна Лилина, жена Станиславского, замечательная актриса. Ее считали самой тонкой и глубокой актрисой старого Художественного театра. На вытянутых руках она держала на весу большой сверток. Подошла ко мне и сказала: «Держи! Только осторожно! Протяни руки. — И подала

мне этот сверток. — Это крахмальная рубашка Константина Сергеевича, ты отдашь ее Куприянычу. (Это был костюмер, он всегда одевал Станиславского. Пользовался его особым доверием и служил в театре со дня основания, умер перед войной.) Отдашь и скажешь: если он вдруг вспотеет или что-то случится, чтобы было поменяно». Константин Сергеевич наклонился, Мария Петровна была маленькая, поцеловал ее, она перекрестила его и сказала: «С Богом». И мы поехали. Ехали мы молча. Лицо Станиславского было серьезным, спокойным, и только глаза блестели и выражали волнение. Мы подъехали к освещенному театру. Прямо у входа стояла группа актеров, встречавших нас. Они приветствовали Константина Сергеевича негромко, без возгласов, без аплодисментов. Помогли ему сойти с пролетки и повели в театр. Ко мне подошел администратор Федор Николаевич Михальский. (Это ему Станиславский писал когда-то: «Если бы Вы могли заглянуть в наши сердца и понять, что в них происходит, Вы бы удивились и были горды. Вы один из немногих, который сумел заслужить всеобщую единодушную любовь и признание всех, начиная с актеров и кончая рабочими».) Он спросил меня: «Это что?» Я ему объяснила, сказала, что надо отдать Куприянычу и надо держать на весу, чтобы не помялось. Он ответил: «Все будет сделано», — подхватил сверток и умчался с ним в театр. Я шла к артистическому подъезду счастливая, счастливая...»

Каким-то таинственным образом Ангелина Иосифовна сохранила и свое женское очарование, и трезвый ум, и даже жизненные силы.

Сколько бы она ни говорила о том, что «с театром кончено», судьба МХАТа волнует ее. Она прекрасно понимает, что время изменилось, что нынешний театр не имеет никакого отношения к тому великому театру, в котором прожила жизнь, где ей самой вместе с театром пришлось познать очень разные периоды. Но ее учителя — Станиславский и Немирович-Данченко — живы для нее. Сколько раз, уже уйдя из театра, она возвращалась мыслями к своей юности, к тем дням, когда играла со Станиславским. (Сегодня на всей планете она единственный человек, игравший на сцене со Станиславским.)

22 мая 1928 года она впервые сыграла Аню в «Вишневом саде». Ввод был срочный, на подготовку были даны три дня. Работал с ней сам Станиславский. «Музыка русской жизни» и размышления о ней были разлиты в воздухе этого спектакля. Раневскую играла Книппер-Чехова, Гаева — Станиславский. Станиславский репетировал со Степановой дома, поил чаем с вареньем, приглядывался к ней, прозорливо понимая, что ее юность и прелесть могут поразительно точно соответствовать чеховской Ане. Лиризм, присущий ее дарованию, соединялся с жесткостью, особой пленительной сухостью, «дворянской сухостью», столь необходимой для этой роли. «Вишневый сад» Степанова играла долго. После Ани (ее она играла двадцать лет) выходила на сцену Шарлоттой уже в новой постановке «Вишневого сада», а в октябре 1966 года сыграла Раневскую. То была давняя мечта актрисы, но Раневскую она сыграла всего четыре раза, заменяя болеющую Тарасову. Все это было очень давно...

Рассказ третий

«Вот все обвиняют Станиславского и Немировича-Данченко, что они очень долго готовили спектакли: ну, МХАТ — это годами, месяцами... А почему это происходило? Потому, что они создавали труппу, возились с нами, с молодежью, иногда репетировали днями одну и ту же сцену, чтобы сделать из нас актеров. У Константина Сергеевича была своя терминология, например: «открыть калитку чувств», могущественное «если бы»: «Если бы это случилось с вами...», «Если бы вам задали этот вопрос...» Он очень следил за физическим состоянием актера, говорил: «Посмотрите, как скрипач укладывает свою скрипку в бархатный футляр — осторожно, тихо, это его инструмент, как он вытирает его, когда ему нужно натянуть струнку. А вы как поступаете с собой? Берегите себя, у вас нет другого инструмента. Вы — инструмент. Занимайтесь балетом и акробатикой». У меня был такой случай. Я размахивала руками, много лишних жестов. Он посадил меня «на руки». Я просидела «на руках» неделю, репетируя Софью в «Горе от ума». Урок оказался замечательным. Потом через неделю руки спокойно легли, я уже делала жесты по своему велению, а не беспорядочно, как раньше. Станиславский очень любил слово: «не верю», это известно. «Нет, не верю», — и начинал репетировать сцену сначала. В тот день он сказал: «Я ищу

чувство правды». Стал репетировать со мной. Верю — не верю. Я репетирую, он останавливает. Опять: «Не верю!» Опять: «Не верю!» Я прихожу в отчаяние, и, когда наступает последнее «не верю», я всхлипываю. Он говорит: «Что, слезки? Успокойтесь, пожалуйста. Вы будете продолжать, а я пойду в буфет и выпью нарзана», — и ушел. Перерыв. Все ушли. А я села в уголок и стала думать о том, что никуда не гожусь. И зачем я пошла в актрисы? И вообще никаких чувств у меня нет, и я хочу домой, к маме. Слезы лились, платок был совсем мокрый. Вдруг слышу шаги: кто-то идет, подходит ко мне. Я наклонилась, устала в пол. И вдруг что-то опускается мне на колени. Смотрю: пирожные. Поднимаю голову и вижу: стоят наши замечательные актеры Массальский и Ершов. Они говорят мне: «Ешь, ешь! И терпи, терпи. Скоро он придет. Ну бывает так, что он застрянет на какой-нибудь сцене, а потом все кончается хорошо. Ешь и смотри». Они отходят шага на три от меня, берутся под руки и, поднимая то одну, то другую ногу, весело, бодро исполняют такой речитатив: «Ангелина, вот она какая, Ангелина, тощая, худая. Ангелина выступает и в кино, все равно чувство правды потеряла уж давно». Хохочут, я тоже начинаю смеяться, все как рукой сняло... Появляется Константин Сергеевич и, как опытный педагог, начинает репетировать другую сцену. И все идет своим чередом, чувство правды находится, и репетиция кончается удачно. Он подходит ко мне и хлопывает по плечу, наверно, понимая, что такое «муки творчества»».

Всякий раз, уходя от нее, поражаешься внутренней силе этой необыкновенно одаренной женщины, прожившей длинную, очень нелегкую, драматичную и счастливую жизнь. Она рано вышла замуж за режиссера МХАТа Николая Михайловича Горчакова, дом в Кривоарбатском переулке, где они жили, был известен театральной Москве. За стеной — Николай Волков и Бэлла Казароза (квартира была коммунальная). Николай Дмитриевич был красивый человек, делал инсценировки, писал либретто. Он — автор инсценировки «Анны Карениной», прославленного спектакля МХАТа тридцатых годов. Им на старости лет увлеклась Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, когда Бэлочки уже не было в живых. Бэлла Казароза была маленькой актрисой, до революции играла в петербургском «Доме интермедий», которым руководили Мейерхольд, художник Сапунов и поэт Михаил Кузмин. Там она пела тихим, прозрачно-нежным голосочком коротенькие простенькие песенки Михаила Кузмина и танцевала в негритянском скетче «Блэк энд уайт», поставленном Мейерхольдом. Артистичность была основным свойством ее натуры, это и притягивало к ней молоденькую Лину Степанову. В начинающей актрисе жило неутомимое и жадное любопытство — все привлекало ее. Казароза покончила жизнь самоубийством в одном из немецких санаториев в 1929 году.

Степанова любит вспоминать, как уютно ей было сидеть на большом диване красного дерева и слушать, как до хрипоты спорили Марков и Эрдман, иронически ухмылялся Бабель и обрушивал на слушателей свои рассказы загадочно посмеивающийся Юрий Олеша. Сживали порой до утра перед огромным окном, за которым виднелся классический арбатский пейзаж. На стенах висели старинные гравюры, рисунки друзей, художников Шухаева и Александра Яковлева. Вечера текли жизнерадостно и счастливо. Здесь, в доме Волкова и Казарозы, в 1928 году Степанова встретила с Николаем Эрдманом.

В 1995 году вышла небольшая книга «Письма. Николай Эрдман и Ангелина Степанова». Время молодости писателя и актрисы. Ангелина Иосифовна уже не работала во МХАТе, когда ей попался в руки сборник воспоминаний о Николае Эрдмане и она наткнулась на комментарий к одному из писем Николая Робертовича, где он писал: «Я истратил все свое красноречие на письма и все свои деньги на телеграммы, и все-таки безумная женщина выехала сегодня в Енисейск и сделала из меня декабриста». Дата письма — 14 декабря 1933 года. Комментатор, не затрудняя себя знанием деталей, написал: «Речь идет об актрисе МХАТ А. И. Степановой, приезжавшей в Енисейск к Эрдману».

Она пришла в негодование. Это выражается у нее всегда по-степановски, без длинных монологов, криков, истерик, — сухо и жестко. Было очевидно, что она оскорблена. В 90-е годы я уже был своим человеком в ее доме. Подружились мы в 1974 году, когда во МХАТе репетировалась переведенная мною вместе с А. Дорошевичем пьеса Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности». Ангелина Иосифовна играла тогда главную роль, Принцессу Космонополис. Давно это было, двадцать пять лет назад. В те годы меня еще волновала магия МХАТа, и я испыты-

вал трепет, входя в тесноватые, темноватые коридоры знаменитого театра. Степанова оставалась одной из самых больших актрис театра, Тарасовой уже не было в живых, Андровская доигрывала «Соло для часов с боем» — спектакль имел невероятный успех у зрителей. Только-только начиналась моя человеческая и деловая связанность со МХАТом, который безмерно любил в юности.

Теперь, спустя четверть века, я сидел в красиво убранной гостиной Степановой в одном из арбатских переулков и слушал ее рассказ об Эрдмане.

Любопытно, что, когда я писал книгу об Ангелине Иосифовне «А. И. Степанова — актриса Художественного театра» (она вышла в издательстве «Искусство» в 1985 году), она ни словом не упомянула об Эрдмане. Только по разговорам с Прудкиным, Массальским я знал, что у Степановой был с ним любовный роман, но, разумеется, никогда ни о чем не спрашивал ее.

Это сегодня на прилавки книжных магазинов выбрасывают скандальные мемуары, в которых актрисы рассказывают о своей личной жизни, подробно перечисляют своих возлюбленных, пишут о том, о чем в интеллигентных домах в России не принято было говорить. Когда берешь в руки воспоминания Лидии Смирновой или маленькой актрисы, когда-то работавшей в Театре сатиры, Татьяны Егоровой, объявившей себя единственной любовью Андрея Миронова и заполнившей страницы тем, о чем порядочные люди не пишут и не говорят, то понимаешь, какой геологический сдвиг произошел в массовом сознании. Впрочем, подобная «литература» всегда имела огромный спрос, разница в том, что сегодня ее особенно рекламируют, печатают в глянцевого новых журналах, и люди передают из уст в уста пакости и гадости, которые эти «новые литераторы» пишут о живых и мертвых.

Естественно, в доме Ангелины Иосифовны сохранился тихий уклад, спокойный и интеллигентный дух, свойственный старым русским актрисам. Входя в ее уютную квартиру, вы сразу понимаете, что здесь живет не «звезда», не «дива», а Актриса, человек, обладающий истинным вкусом и высокой культурой. Только фотография из «Сладкоголосой птицы юности» свидетельствует о ее сценических триумфах. В небольшом кабинете, обставленном мебелью из карельской березы, висит знаменитый портрет Станиславского, подлинник, написанный художником Андреевым. Когда-то Степановой позвонил из музея МХАТа Федор Николаевич Михальский (он в 50-е годы был директором музея) и сказал, что продается акварель Андреева «Станиславский», музей купить не может, у него больших денег нет, а портрет стоит очень дорого (знатоки считают, что это лучший портрет Станиславского), и спросил, не хочет ли она приобрести его. Ангелина Иосифовна спросила у Фадеева. В те годы денег в доме было много, «Молодую гвардию» и «Разгром» печатали гигантскими тиражами, и Фадеев, конечно, ответил, что этот портрет надо купить. Он и висит по сей день в квартире Ангелины Иосифовны.

А в спальне на одной стене — большая фотография Фадеева, на другой — фотография семьи в ее счастливые времена: маленький Миша, Шурик, Ангелина Иосифовна и Александр Александрович. Судя по всему, фотография относится к 1948 году. Время нынешнее как будто удалилось, осталось за окном, а в квартире живет со своим прошлым, со своими мыслями живой, умный и очень талантливый человек, слабеющий от неизбежного «бега времени».

И вот в эту внешне спокойную, безбытную жизнь ворвался вихрь, из глубины времен встало прошлое. Сборник воспоминаний об Эрдмане подтолкнул Степанову к мысли, что бороться с клеветой необходимо самым простым путем: надо опубликовать письма Николая Эрдмана. Она сохранила их и давно уже передала в ЦГАЛИ. И тогда у меня родилась идея издать их переписку, но у Ангелины Иосифовны были сомнения: сохранил ли Николай Робертович ее письма? Она позвонила Наталии Борисовне Волковой, директору ЦГАЛИ, и выяснилось, что архив Эрдмана, уцелевший далеко не полностью, хранит 280 писем Степановой к нему. Нет только писем, написанных ею до рокового дня 1933 года, когда Эрдман, один из авторов сценария фильма «Веселые ребята», был арестован на съемках в Гаграх. Как оказалось, письма любимой женщины всегда находились при нем, а при аресте попали в НКВД. Затем вместе с остальными ненужными вещами их вернули жене Эрдмана. «Когда выяснилось, что твои бумаги, твоя переписка на днях вернется домой, я просила твою маму, Бориса (Борис Эрдман, известный театральный художник, брат Николая Робертовича) издать мои письма, если это будет возможно. Конечно, ты поймешь, что мне не хотелось, чтобы письма были прочитаны кем-то, кроме тебя, но волновалась я больше всего за твой покой, считая, что все это сейчас совсем ни к чему и что у каждого достаточно волнений и трудностей. Мама твоя старалась помочь мне, тоже вол-

новалась о вашем спокойствии, но помочь мне не смогла, и письма мои находятся у Дины, потому что трудно предположить, чтобы отдающие твои вещи позаботились о твоих личных делах», — писала Степанова в Енисейск, где отбывал ссылку Николай Эрдман. Так или иначе эти письма актрисы исчезли навсегда: в архиве драматурга хранились письма Ангелины Иосифовны периода 1933—1935 годов. Пропали и многие письма Николая Робертовича, отправленные им из ссылки, тем не менее у актрисы сохранилось около семидесяти писем Эрдмана.

Трудно представить, как была уязвлена Степанова комментарием к опубликованному письму Эрдмана к В. Шершеневичу о том, что это она против воли Николая Робертовича навязывается ему и едет в Енисейск. «Это все неправда, — говорила она мне, — я действительно приезжала в Енисейск, но в августе 1934 года, при всем своем желании поехать к нему в декабре 1933-го (дата письма к Шершеневичу), я не могла, у меня шли репетиции «Егора Булычева» в театре, и я играла Шурку, а премьера состоялась в начале февраля 1934 года. Как же комментатор не проверил? В декабре 1933-го к нему собиралась ехать в Енисейск его жена, о ней и говорится в письме к Шершеневичу, но ее отговорили и она не выехала». Ангелина Иосифовна была в раздражении, хотя как обычно выражала его тихим голосом, с ледяным выражением лица.

Моя идея сделать книгу была воспринята ею с энтузиазмом, и началась работа. Я приезжал к ней по утрам с маленьким компьютером, и она диктовала свои комментарии, рассказывала, вспоминала. Это было прекрасное время. Нашелся издатель, Евдокия Хабарова, Дуся, как я зову ее (мы когда-то работали вместе в академическом институте и очень дружили), она согласилась издать эту небольшую книгу в своем издательстве «Иван-пресс», которое ныне уже не существует. Редактор оказался замечательный — Наташа Ещенко, и Ангелина Иосифовна ждала выхода книги так, как не ждала ни одной премьеры.

Книга имела успех, молодой театральный критик Г. Заславский написал Степановой открытое письмо, опубликовав его в «Независимой газете»: «Эти письма меняют не только мое мнение об актрисе, чопорной и строгой, долгие годы бывшей партийным секретарем МХАТа, — в письмах живым, таким знакомым Вашим голосом звучит страсть, по силе равная землетрясению. Эти письма меняют наши односторонние представления о тридцатых годах. В них место не только большому террору (письма, кстати, писались до и сразу после убийства Кирова, когда некоторых еще просто ссылали и из ссылок можно было наведываться в столицу). Может быть, любовь делала Вас такой свободной, такой раскованной в словах, открыто написанных на открытках... Писем нынче почти никто не пишет, а в ссылку — не высылают. В общем, мне хотелось, чтобы Вам передавалась моя радость, испытанная во время чтения книги и по прочтении ее. Скажу Вам честно: я позавидовал Вашей любви, такой красивой и такой свободной. Ваши письма, по словам Эрдмана, были похожи на Вас. Как пишет Эрдман, он любил Ваши письма за то, что Вы «умели их делать похожими на себя». За каждым письмом, за каждой открыткой звучит Время, шум времени, работа Истории...»

Рецензий было много. Ангелина Иосифовна читала их с жадностью, с какой никогда прежде не читала рецензии на свои спектакли. В газете «Культура» появился огромный «подвал» под названием «К облику великой русской актрисы». Книга была явно замечена, о ней говорили, в квартире Степановой беспрерывно звонил телефон, в Доме актера Маргарита Эскина устроила презентацию «Писем», ее снимали по телевидению (теперь эту программу часто передают по каналу «Культура»), на вечере выступали Виталий Яковлевич Виленкин, Валентин Гафт, театральный критик Вера Максимова (она мастерски вела вечер), писательница Лидия Либединская. Тема «Николай Эрдман» снова обрела звучание, для Степановой это было важнее всего. Неожиданно произошел «казус». Очень ценимая Ангелиной Иосифовной Инна Соловьева и ее ученик Г. Заславский (впоследствии Соловьева от него публично отказалась в прессе, что было странно: обычно отношения выясняют между собой), тоже опубликовали рецензию на книгу в форме открытого письма к Степановой в «Литературной газете», не упомянув моего имени. Я к этому отнесся трезво и спокойно. Рецензия, как впоследствии объясняла мне Инна Натановна, не получилась, так бывает, думать, что в этом был умысел, я не хотел, хотя прекрасно понимал, «откуда растут ноги». Но Степанова была оскорблена. «Неужели вы не понимаете, что это откровенное предательство? Вы мой друг, вы считаете себя другом Инны, вы помогли мне сделать эту книгу. Неужели ваша «дорогая Инна», как вы ее называете,

не сознает, что человек в девяносто лет не способен сложить книгу? — резко говорила она. — Ей могут не нравиться ваши комментарии, ваше предисловие, ваше послесловие, но не понимать, что без вас эта книга никогда бы не состоялась, нельзя». И разорвала с Инной Соловьевой всякие отношения, длившиеся много лет.

Когда к столетнему юбилею МХАТа вышла книга «Московский Художественный театр. СТО ЛЕТ» под редакцией И. Соловьевой, А. Смелянского, двух известных критиков, и О. Егошиной, я оценил правоту степановских слов. Эта мхатовская энциклопедия (хотя А. Смелянский тут же открестился от слова «энциклопедия», заменив его в своих выступлениях словами «авторская книга») принесла Ангелине Иосифовне много огорчений. Читать ее она уже тогда не могла, глаза и слух начали резко сдавать, но те страницы, которые ей прочли домашние, не прибавили ей жизненных сил. О ее любимой подруге и необыкновенной актрисе Ольге Андровской — небольшая колонка, шедевром была названа лишь роль леди Тизл в «Школе злословия», как будто не были шедеврами Сюзанна в «Женитьбе Фигаро», миссис Чивли в «Идеальном муже» или Рокси Харт в комедии «Реклама». Все эти роли были даны в сухом перечислении, зато о Мише Ефремове или любимом авторами энциклопедии Викторе Гвоздицком, пришедшем в театр в 1995 году, были написаны пространные, а не справочные статьи, что предусмотрено самим жанром книги, об актерах, прослуживших в театре более 50-ти лет, и не вспомнили, забыли Н. Ларина (участник премьеры легендарных «Трех сестер» 1940 года), Н. Шавыкина, Д. Шутова, Гузареву, Монахову... Оскорбительно упомянута тремя строчками Евгения Николаевича Морес, воспитавшая целое поколение мхатовских артистов. «Дядя Ваня» с потрясающим Добронравовым в главной роли авторами первого тома был опущен. Незамеченным оказался «Осенний сад» Лилиан Хеллман, в котором играли Степанова, Кторов, Попова, Гошева, Массальский, Андровская. Ангелина Иосифовна любила роль Нины Динери. По тонкости психологического рисунка, безукоризненной правдивости образ запомнился мне навсегда. Тема утраты иллюзий решалась актрисой с чуть заметным трагикомическим оттенком. В перечне сыгранных ею ролей Нина Динери даже не упоминалась, «Осенний сад» был не принят авторами, хотя ни критик А. Смелянский, ни слабо пишущая О. Егошина спектакль видеть не могли. К мхатовской энциклопедии Степанова больше не прикасалась, разговор об этой книге был отброшен раз и навсегда. Отрицательные эмоции Ангелина Иосифовна умеет гасить в себе, и было досадно за книгу, потому что в злосчастном двухтомнике есть и прекрасные статьи, и тонкие, точные оценки, характерные для таланта Инны Соловьевой. По-видимому, создатели энциклопедии любят других актеров и не ценят ни Ливанова, ни Георгиевскую, ни прославленную в свое время «первую актрису театра» Аллу Константиновну Тарасову.

С Тарасовой у Степановой были всю жизнь непростые отношения, но она по сей день любит вспоминать, как та играла Юлию Тугину в «Последней жертве», Елену Гальберг в «Днях Турбиных» и Татьяну Луговую в горьковских «Врагах». Они были партнерами в классически совершенных «Трех сестрах», поставленных Немировичем-Данченко в 1940 году, и играли вместе шестнадцать лет. И потом, уже после смерти Фадеева, вышли в «Марии Стюарт»: Степанова — Елизавета, Тарасова — Мария. Это была абсолютная победа Степановой. При всей разностильности спектакля в нем была полная драматизма атмосфера шиллеровской трагедии. Некрасивая какой-то особой, дерзкой, вызывающей некрасивостью Елизавета — Степанова (грим был сделан с удивительной тщательностью) выходила на сцену «во всеоружии своего едкого ума и цинизма, закованная в условности сана». Роль явилась началом нового периода в сценической судьбе актрисы, изменившего не только положение Степановой в труппе, но и ее место и значение в советском театре.

Впереди еще был «Милый лжец», сыгранный с Кторовым. Спектакль, в котором Степанова и Кторов как бы обрели второе дыхание. В роли Патрик Кэмпбелл Степанова еще раз удивила современным умением мыслить на сцене, особой, свойственной только ей наполненностью внутренней жизни. Роль знаменитой английской актрисы была ей близка. Натура тонкая, чуткая, Стелла — Степанова стойко переносила житейские трудности, в ней пленяла сила духа и выносливость. Смелости, искренности и мужественности степановской героине не занимать. С великим искусством актриса прослеживала тончайшие изгибы долгих, сложных, порой радостных, порой мучительных отношений Стеллы с Бернардом Шоу, которого гениально

играл Кторов. Хорошо, что этот спектакль снят на пленку Анатолием Эфросом (ставил его И. Раевский) и его часто показывают по телевидению.

Когда в 1993 году были опубликованы письма Пастернака к жене, Степанова прочла (это было время, когда зрение еще не отказывало ей), что писал Борис Леонидович о «Марии Стюарт»: «Тарасова играет с большим благородством и изяществом. Она совершенно овладела образом Марии и им прониклась, так что мое представление о Стюарт уже от нее неотделимо. Еще лучше играет, то есть пользуется текстом, Степанова, но это еще роль, а Тарасова уже реальное лицо, уже история. Обе очень большие, великие артистки, мы слишком легко ко всему привыкаем, слишком скоро все забываем». Это было написано Пастернаком после репетиции в феврале 1957 года. Спустя сорок лет Степанова мне сказала: «Знаете, я всегда стояла за кулисами и смотрела, как Алла идет на казнь. В искусстве есть вещи, которые нельзя объяснить. Эта была лучшая ее сцена в спектакле, не случайно ее талантом увлекались Станиславский и Немирович-Данченко».

МХАТ, его судьба, прошлое и настоящее не отпускают ее. Она очень волновалась перед столетним юбилеем, думала о нем, готовилась к нему, ездила к Славе Зайцеву: он выбрал ей платье. Она выглядела очень элегантно. На юбилее сидела на сцене за столиком с Софьей Станиславовной Пилявской и молчала. Когда ей дали слово, она заговорила очень серьезно. Ее речь резко контрастировала с тем, что было до и после нее. Шутить и веселиться ей не хотелось. Сидя в кресле, она глядела в зал и не только вспоминала лица тех, с кем была прожита огромная жизнь, но и думала о будущем. Тон ее выступления наэлектризовал зрительный зал. Столетний юбилей МХАТа смотрела вся страна. Замысел повеселиться, как это делал когда-то Никита Балиев в «Летучей мыши», обернулся тривиальной пьянкой, почему-то происходящей на сцене. После выступления Степанова сразу уехала домой. Она была в подавленном состоянии и не скоро пришла в себя. Радостью последних лет оставалась только книга ее переписки с Эрдманом. Через какое-то время она рассказала мне о своей встрече с ним спустя двадцать два года.

Рассказ четвертый

«На всю жизнь у меня осталась боль за творческую, литературную судьбу Николая Робертовича. Судьбу, так блистательно начавшуюся и в дальнейшем лишившую его продолжения пути в драматургии, развития его крупного таланта сатирика. Осталась боль за его исковерканную жизнь, за сломанную творческую судьбу, за невозможность проявить себя правдиво в искусстве. Он живет у меня в памяти молодым, с несущественными творческими замыслами, с несбывшимися надеждами, лишенный того большого места в литературе, какое должен был бы занять его молодой многообещающий талант. Я всегда вспоминаю слова Чехова: «Нужно, чтобы все было стройно, кратко и обстоятельно». Оттого не люблю пустых разговоров и пустых лиц. Когда я думаю о Коле, мне хочется горько плакать. Отчего сейчас, в свои годы, душа моя скорбит и не хочет слушать разума?..

Мы встретились через двадцать два года. 1956 год был для меня тяжелым, я потеряла близкого, дорогого мне человека, моего мужа, с которым прожила 19 лет, Александра Александровича Фадеева. Театр включил в репертуар трагедию Шиллера «Мария Стюарт». Мне поручили роль английской королевы Елизаветы. Репетиции начались 28 декабря 1955 года и шли ежедневно. Роль замечательная, многогранная, полная больших мыслей, больших чувств. Работа была трудная, требовала от меня упорства, силы воли, преодоления жизненных невзгод. Но она и спасала, вводила в мир прекрасного, в мир искусства. Художником спектакля был Борис Робертович Эрдман. Мы часто встречались на репетициях. Однажды он сказал мне, что рассказывал Николаю о нашей работе, и тот просил узнать у меня, согласна ли я познакомиться с ним, ему хочется меня видеть. Я согласилась. Я еще не подошла к двери его квартиры, как она отворилась, — с таким нетерпением Николай Робертович ждал нас. Когда мы с Борисом вошли, он взял мои руки и долго вглядывался в мое лицо. Я тоже смотрела на измененные временем знакомые, милые черты. Мы оба были взволнованы. Потом сидели за столом, пили кофе и говорили о театре, искусстве прошлых лет и настоящего времени. Оба брата расспрашивали меня о Фадееве — видимо, его уход из жизни изменил их представление о нем. Когда Борис вышел, чтобы поговорить по телефону, я спросила: далеко ушло наше время, и все стерлось в памяти или не совсем? Нет, не стерлось, ответил он. Когда происходят какие-то события, явления, особенно в искусстве, да и в жизни, память возвращается к тебе. Ангелине бы это понравилось, она бы это оценила! А это было бы Лине чуж-

до. Я ответила, что тоже возвращаюсь памятью к нему, к далеким молодым годам нашей дружбы и любви, и мы улыбнулись друг другу. Уже дома я подумала: как хорошо, что состоялась наша встреча! Что она была такой теплой, человечной и что была наша улыбка, сказавшая так много!»

Я смотрел на лицо Ангелины Иосифовны и думал, как она изменилась, раскрепостилась, освободилась от того, что долгие годы было зажато внутри. Поэзия прошлого и проза неотменяемых жизненных обстоятельств вошли в содержание ее сложной жизни, и вот теперь, когда она стала почти не слышащей, почти слепой, она сохранила свой мир, ушла жесткость оценок, и лирический лад, как музыкальное сопровождение в драматических спектаклях, сопутствует ее сегодняшнему распорядку.

Бездельничать она не может. То записала на радио стихи Пушкина, то стала готовиться к записи Блока. Раньше с ее талантом прежде всего была связана драматическая острота, теперь — лирическая тема. Я спросил ее: «Ангелина Иосифовна, вы были счастливы с Эрдманом эти семь лет?» Она ответила: «Я была очень счастлива, но если вы спросите меня, была ли я несчастна эти семь лет, я бы ответила: «Да, бывала несчастлива». «Всё миновалось, молодость прошла! Твое лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола», — прочла она блоковские строчки.

Время прошло сквозь нее и продолжает идти с ней. У нее для него свой отсчет не по календарю, не по ролям, а по памяти, которая не исчезла за давностью лет. Об Эрдмане она может говорить много, содержательно и интересно. О Фадееве почти всегда молчит, эта боль не прошла до сих пор. Потому, если есть цветы, то наутро их надо отнести на его могилу, потому, если вышли о нем статья, или книга, или упоминание, она не хочет в это вникать. Никто не знает то, что знает она и что она испытала, когда узнала о его смерти. Об этом не говорят.

Когда собираются гости, она любит читать стихи, читает наизусть, все помнит. Перед мхатовским юбилеем сразила манекенщиц Славы Зайцева: с такой тщательностью примеряла платья, выбирая, в каком туалете отправиться на торжество... А было ей уже 93 года.

И что поразительно — сохранился юмор.

Рассказ пятый

«Виктор Яковлевич Станицын поставил пьесу Уайльда «Идеальный муж». Спектакль имел большой успех, он шел на сцене тридцать пять лет. И вот мы поехали на гастроли по Украине и в конце концов очутились во Львове. Чудесный театр, невероятные сборы: вместо красных косынок, кожанок, лент пулеметных через плечо вдруг привезли лордов, леди, фраки, смокинги, бальные платья. Успех феноменальный! И вот конец гастролей, последний спектакль. Что только не делали: все билеты были давно раскуплены, ставили какие-то приставные стулья, входные билеты продавались даже на ступеньки в бельэтаже и в верхнем ярусе. Толпа стояла на улице и ждала, нет ли случайно лишнего билетика. И вот утром исполнитель центральной роли Владимир Львович Ершов, он играл сэра Роберта, говорит: «Я играть не могу, у меня геморрой, я не спал всю ночь, боль жуткая, и я не могу ни сидеть, ни ходить, ни играть». Ужас! Ужас! «Володя, как?» — «Нет, нет, мне никакие таблетки не помогают, оставьте меня, я могу только лежать». — «Володя, подожди, ты стоять можешь?» — «Стоять могу». — «Говорить можешь?» — «Могу». — «Володя, стой и говори — и больше ничего. Надо спасти спектакль». — «Ну что, я буду стоять, как монумент?» — «Володя, я тебе скажу прямо. Эта аудитория лордов отродясь не видела и не увидит, поэтому они все примут за правду. Мы сделаем так: есть большой диван с высокой спинкой, а в других актах поставим кресло с высокой спинкой. Ты будешь стоять, держаться за эту спинку, мы заменим декорацию, опустим кулису, и это будет как бы апартаменты лорда. Ты сделаешь один шаг, выйдешь и сразу очутишься за спинкой дивана или за спинкой кресла. Надо уходить — один шаг, и ты уже за кулисами».

Одним словом, уговорили. Надели на него фрак или смокинг, не помню уж что, и спектакль начался. Прошел он великолепно. Володя выстоял, в антракте боялся лечь. Говорил: «А вдруг я не встану?» А раньше ведь было четыре антракта, и все на ногах. Было лето, вся сцена в цветах. Когда публика ушла после долгих-долгих аплодисментов, вся труппа вышла на сцену, весь технический персонал, прибежали актеры, которые были не заняты в спектакле, — они были в гостинице, а тут все прибе-

жали, потому что такой сенсационный случай. Володя стоял бледный, измученный, капли пота катились по его лицу, но глаза были счастливые: он выстоял. Пришла наша дирекция и стала его благодарить за то, что он спас престиж театра, обещала премию. Пришла дирекция львовского театра, сказала, что он спас феноменальный сбор, и тоже обещала премировать его. А потом вышел народный артист Борис Яковлевич Петкер, отличавшийся удивительным чувством юмора и на сцене, и в жизни, и сказал: «Володя, ты совершил подвиг! Мы гордимся тобой!» Ершов отвечает: «Что делать, такая профессия! Как это в опере поется: “Смейся, паяц, над разбитой любовью”». Но Петкер продолжал: «Мы решили запечатлеть твой подвиг в стихотворной форме.— И с большим пафосом произнес: — Пусть жертвенник потух, огонь еще пылает. Пусть арфа сломана, аккорд еще звучит. Пусть жопа треснула, Ершов еще играет!» Это только Петкер мог так сказать, и все покатались со смеху.

Было бы неправдой свести сегодняшнюю жизнь Степановой к ее прошлому, хотя богатство памяти — само себе драгоценное состояние.

Во МХАТ она теперь ездит редко, только к парикмахеру, привести себя в порядок. Тогда в комнатку набегают актеры, помощники режиссеров, сотрудники дирекции, и она выспрашивает их: что, как, какие спектакли имеют успех? Она не может забыть годы, когда по дороге на репетицию любила наблюдать, как по утрам у касс в проезде Художественного театра выстраивались длинные очереди за билетами. Но помнит и пятидесятые, когда сборы упали, зритель ко МХАТу терял интерес. Узнав, что в Москве началось увлечение инсценировками, она вдруг вспомнила рассказ Качалова.

Рассказ Василия Ивановича Качалова

«А я тебе никогда, Лиана, не говорил о неосуществленной мечте Станиславского? Константин Сергеевич мечтал поставить «Войну и мир». И работал над этим, думал: все инсценировки, которые ему приносили, его не удовлетворяли. Он даже шел на то, чтобы разделить спектакль на два вечера, но ничего не получалось. Он очень горевал и говорил: «Сейчас у меня в театре такая труппа, которая и по актерскому своему мастерству, опыту, и по человеческой значимости может выполнить толстовские образы». И называл такое распределение ролей: Безухов — Качалов, Элен — Тарасова, Кутузов — Москвин, старик Болконский — Подгорный, Андрей Болконский — Хмелев, Курагин — Ливанов, Долохов — Добронравов, Николай Ростов — Баталов. Владимир Иванович его спросил: «А кто же Наташа?» Он показал на тебя и сказал: «А вот она живая ходит».

«Я была счастлива от этого рассказа Качалова. Давно это было, в конце двадцатых или начале тридцатых годов, уже не помню,— заметила Ангелина Иосифовна. Потом помолчала и добавила: — Сейчас Олег не поставит «Войну и мир», не с кем, да и болеет он очень!»

Слухи о том, что в театре стали поговаривать об уходе Ефремова, очень взволновали ее. Фамилии тех, кто может прийти на смену, которые ей называют, не воспринимаются ею. «Если Ефремов уйдет, надо менять название. Это уже совсем не МХАТ будет. У меня к Олегу много претензий, но он очень крупный человек, и он художник, а все эти... только актеры». — И она презрительно усмехнулась.

А мне вспомнилось: когда я работал над книгой «А. И. Степанова — актриса Художественного театра», то обнаружил протокол № 24 заседания руководства МХАТа от 1 февраля 1966 года, в котором было выступление Степановой: «Если приглашать со стороны, то наиболее подходящей кандидатурой является Олег Ефремов. К тому же он знает современную молодежь».

«Давно это уже не мой театр, но МХАТ все равно во мне,— сказала она и сразу изменила тему разговора: — Сегодня много агрессии в людях, люди с нечистой совестью обычно резко агрессивны, а у тех, у кого есть сознание своей правоты, нет ни привычки, ни желания защищать себя». — И снова погрузилась в себя. И я подумал, как полезны сегодня «уроки Степановой», великой русской актрисы, с невероятным достоинством идущей по своему жизненному пути.

М а р а ф о н

РАССКАЗ

Бежать! Это он здорово придумал, что бежать. Даже не от себя самого, а от того, что стало им в последнее время, когда не только имя у него другое, но и сам он, кажется, остался весь в прошлом, там, где он был настоящим. Самым настоящим. Ведь был, был, был — вбивал он тупые клинья в узкую теснину памяти.

На левой кроссовке развязался шнурок, и, наступая на него с каждым шагом, он всякий раз выдергивал стреноженную ногу, понимая, что кто-то удерживает его от этого бега. Нелепое предчувствие тревожно отдавалось на самом дне сердечной сумки.

Он лег на сырой бетон, и, уловив между плитами ложбинку, провел по ней мизинцем, пока не уперся в тупик.

В небе висело слово. Оно было неким знаком на серебристой подстежке дирижабля, вялой надутой рыбины, медленно преодолевавшей туман. Стоило только прикрыть глаза...

— Дочка, — сразу сказала мама.

— Дочка моя, — окликнул его другой голос, и он, вздрогнув от высокого, до боли знакомого тона, разжал веки.

Два тупых конца его сбитых кроссовок были так далеки, что он впервые удивился огромности своего вытянутого и невесомого, как дирижабль, тела. Он мысленно отпустил его, и оно поднялось свободно и легко, словно выплыло наконец на свободную поверхность. Так он и полетел лежа, нога на ногу, разглядывая себя, как в перископ, странным сферическим взглядом. Со стороны он выглядел моложе своих сорока двух с небольшим, но давние метины и рубцы на его теле выдавали маршрут довольно долгого странствования.

Он повернулся и понял, что она летит рядом. Лица матери он не видел, но узнал руку по сросшемуся ногтю большого пальца, о котором так и не успел ее расспросить. Рука прикрывала чей-то затылок, ежик стриженных волос легко терся о ладонь, то ли стараясь выскользнуть, то ли, наоборот, продлить прикосновение. Но вот голова высвободилась и не спеша развернулась к нему. Отец был гораздо моложе него, и глаза его были закрыты.

— Ты что, Мыш, не спишь? — произнес он, прижимая к губам палец матери с рассеченным ногтем, словно призывая к тишине.

Мыш — именно так, без мягкого знака, — было детским прозвищем Миши, которое он почти позабыл.

— Ложись, — подвинулся отец, освобождая ему место.

— Сейчас, — помедлил он, сознавая всю серьезность ответа.

Слово висело в небе и означало конец.

Он поднялся с бетона и, разминая затекшие ноги, затрусил, подрагивая мышцами, на построение, словно принаравливаясь к долгой всеобщей дрожи всех, кому предстояло бежать. Каждый год по весне весь Бостон бежал невесть куда, промеряя шаг за шагом всю дистанцию марафона — сорок два километра и, кажется, двести метров вдобавок... Нет, сто девяносто пять.

Пока все они были едины. Но он знал, что в конце концов последним движением воли он должен будет оторваться от остальных и отстоять свое место в бесконечной череде отметок и цифр, неравных ровно ничему.

В колонне его пятизначный номер гнали куда подальше, в самый конец. Многоликая, многоногая толча марафона пахла потом, распаренной резиной, смесью выделений и притираний, всем многообразием людских брожений, которые в конце концов, перебродив, обретут единый и стойкий запах пыли. Ему нигде не хватало места, но, вытесняя из своих рядов, толпа опять словно предупреждала его о чем-то. А он все отступал и отступал, продолжая наступать на болтающийся по земле шнурок.

Еще вчера, получив номер и нацепив его, красной меткой обозначив как мишенью собственное сердце, он отметил странно знакомый ряд: четыре, два и один, девять, пять. Цифры топорзились на груди, дыша тайной, и навязывали свой, еще не ясный ему смысл.

Он нашел себе место на отлете, и, пока медленно затягивал на сникерсе узел, дали старт. Что-то там хлопнуло, взорвалось, и нарастающий вдали гул волной покатил к нему. В воздух полетели майки, куртки, запотевшие пленки, согревавшие бегунов перед стартом, тупорылые кепки, штаны, свитера. Одежда свесилась с веток, словно на картинке чудо-дерева в забытой детской книжке. Уходили налегке, как уходят из жизни, ничего не беря с собой.

Бег очищал от лишнего, суетного, наносного, очищал от всех вещественных доказательств какого ни есть смысла, чтобы подготовить тело для некой искупительной жертвы.

Впереди всех пустили инвалидов, и они полетели в углых своих колясках, мощно проталкивая руками плечистые тела с подвязанными под сиденьями рачитичными ножками. Седой отец бежал, везя в коляске больного сына с бесмысленно болтающейся головой. Юноша слабой ручкой приветствовал толпу, и она замирала при его приближении.

И тогда он увидел себя. Тоже в коляске и тоже с отцом. Его везли в высоком «мальпосте» с дырчатой фанерной спинкой. Он следил за игрой солнца и тени, впервые постигая то, из чего состоял этот свет.

Поначалу казалось, что весь мир и устроен для него одного. Что кто-то его проверяет, поместив нарочно в чуждое пространство, называемое теперь жизнью. Что отец и мать только приставлены к нему кем-то. Что настоящий его владелец иной, он спрятан от глаз и ни на кого не похож. Вот кому докладывали обо всех его страшных провинностях. Вот кто, непостижимый, пугал его по ночам, с хрустом ломая штукатурку, и та опала на крепдешин абажура с припиленной сбоку газетой, дававшей тень. Но свет почему-то всегда упорно бил в лицо, становясь ярко-красным за плотно сжатыми веками с сухими корочками конъюнктивита среди редких ресниц. Казалось, что вот-вот войдет кто-то и призовет его к себе. Наваждение продолжалось все детство, пока он не заперся ото всех в их узкой, как пенал, комнате в самом конце коммунального коридора и впал в долгий обморочный сон. Пробудить его не смогли ни громкие крики отца, ни колотившие в дверь соседи, ни ругань дворника, топором выбивавшего косяк, когда безумная от ужаса мать только тихо подвывала, уже не надеясь увидеть его живым. Что было в том смертном сне, никто никогда не узнал, но, проспав двое суток и одолев наваждение, он вышел вон из детства вдруг постаревшим и умудренным, с недетским блеском глаз.

Он вернулся в свой ряд, где никто так и не сдвинулся с места. Головные уже мерно бежали, а родной арьергард по-прежнему переминался с ноги на ногу. Опять в стороне ото всех, опять скамейка запасных у самого края площадки на мусорном заднем дворе.

Отрочество было постыдным. Обида за длительный детский обман готова была обернуться мстью, но кривой удар недомерка был направлен в никуда. Ревность к запретному миру взрослых, желание досадить всем (вот умру, и будете знать) становились последним пределом ребячьей беспомощности. За ней мог следовать только поступок, дерзкий и вызывающий. Самым дерзким и са-

мым простым была бы смерть. Не чья-то смерть, что было непонятно и страшно, а своя собственная.

Причиной стали войлочные ботики, называемые почему-то бурками, уносимые легкими шагами по серому крошеву льда и снега. Была еще коса, жиденькая, перевитая казенной лентой и уложенная баранкой, и весеннее солнце сквозь марево над ее головой, но главное — впервые кольнувшая боль от летящей стремительной поступи двух неведомых совершенств — обычных, казалось бы, девичьих ног в каких-то чулочках «в резиночку».

Он резал себя бритвой «Нева» в пергаментной липкой прокладке, вытасченной из отцовской пачки. Используя каждое лезвие по многу раз, отец затупил все до одного, и лишь последнее еще сохранило новизну острия. Он полоснул левое запястье, наискось взрезав артерию, опустил руку в тазик и лег рядом. Ток крови теплой волной замутил воду. Закусив губу, он следил, как бурая жидкость подбирается к ржавому пятну отбитой эмали, проступившему знакомым страдальческим ликом. Старик глядел вопрошающе ясно — совсем не так, как в детстве, когда Мыш подмигивал ему, вяло потирая пятки стершейся пемзой. Теперь лик напоминал бабушкину ладанку, которую она прятала в шкафу вместе с кулоном среди помутневших крестиков, колечек и бус. Лазать туда запрещалось, но он, конечно же, лазал. И однажды открыл кулон. Две выцветшие фотографии уже не узнаешь кого и крошечная записка, сложенная несколько раз. Он развернул ее. Это был список семьи, всех, кого он знал и не знал. Против каждого имени стояло какое-то число. В конце списка было написано — «Мыш». Пробежав список и пытаясь сложить все, как было, он, конечно, сложил не так: записка не влезала, и, сдавив замочек кулона, он оставил снаружи крошечный уголок.

— Fuck! — Кто-то толкнул его в спину, обегая на ходу. Ругательство сразу встряхнуло его, качнуло в сторону, и он побежал, тяжело вскидывая ноги, словно выбираясь из вязкой, зыбучей ямы. Свои цифры он тогда не запомнил, да они ничего не сказали бы ему. И как настигли они его теперь, когда он давно уже не Мыш, а Michael, имя, на которое он откликнулся последние десять лет.

Больше он никогда не видел ни кулона, ни записки, ни ладанки. Чьи-то руки перепрятали их в другое место, и, сколько он ни искал, стертая створка кулона захлопнулась для него навсегда. Но тогда, провалявшись в забвении у таза и чудом оставшись в живых, он понял, что не умер только потому, что совсем другой срок был назначен ему в том списке и ничто не могло нарушить его.

Все стремительно понеслось. В гуще затылков, спин, однообразно снующих мускулов он чувствовал себя безопасней, словно отыскал наконец свою нишу внутри летящего болида, и было наплевать, куда и зачем он летит.

Юности просто не было. Ранние семейные пары сбивались прямо в подъездах, в неосвященных скверах, в тесноте общежитских коек, на ощупь и наспех, в абсолютной взаимной темноте. Шли поиски тепла.

Тепло было в ней, в ее маленьком логове, в неясной томительной боли двух скованных ужасом тел, покрытых зябкой гусиной кожей. Потом он понял, что она некрасива, но тогда ее большое ширококостное татарское лицо казалось более надежным, взрослым, почти материнским, а впрочем, уже материнским, слишком быстро это произошло. Они сняли комнату в мансарде у станции без всякой мебели. Просто одна кровать. Вскрикивала электричка, заглушая томительный крик, исторгаемый из глубины ее тела, в которое он входил. Потом они лежали и смотрели в потолок, обшитый фанерой. На стенке висел рукомоийник. Вода звонко шлепала в таз, отмеряя их общее время. К утру замерзала совсем.

Это случилось на ступеньках платформы, когда, опаздывая на поезд, они неслись наперегонки. Она прыгала впереди него через ступеньку и, оступившись, упала, вдруг напугав его кровью, выступившей на бледной коже не прикрытых чулками ног. Сначала он испугался, что она разбила что-то внутри себя, но потом понял, что кончилось, наконец, то, чего они боялись. Что ничего

не будет, все будет, как прежде, и не надо думать ни о ком между ними, меж их животами, промеж жизнями их.

Все так и было. Кричала электричка, и тихонько вскрикивала она, сметая со лба узкую рыжую челку. Двух стипендий хватало на молочную столовку, где черный хлеб и горчица стояли прямо на столах. В ожидании супа с макаронами они поедали непропеченный хлеб, от которого было склизко во рту.

Но природа брала свое, и ее опять рвало за углом, и она улыбалась застенчиво, обнажая бескровные десны, такая вдруг жалкая-жалкая казанская сирота.

Он увидел, что его несет на толпу, сомкнувшуюся вдоль трассы, и, как шар от борта, он, поменяв направление, выравнивал занесенное углом плечо и снова втерся где-то между пятками, лопатками, трусами, чтобы отстоять тот малый промежуток, в котором еще оставалось жить.

Это действительно походило на жизнь — движение людей в заданном ритме, в случайном сближении, в изменяющемся пространстве, к одной и той же злополучной цели. Он только не знал, когда прозвонит звонок.

Когда в женской консультации им объявили о двойне, он заметался в поисках выхода. Но она заранее отвергла все. Тогда ему тоже захотелось бежать, и он даже уехал к родителям, правда, на одну ночь. Мать, узнав обо всем, поехала к ней, где решили *всё* за него. Они поженились много позже, когда не надо было жениться, когда уже все прошло и ничего не осталось взамен.

Маячившая впереди черная точка, на которую он уставился, сосредоточившись на своем, оказалась родинкой на чьей-то спине. И, когда она удалялась, он прибавлял скорость, а когда подступала слишком близко, он слегка притормаживал. Следование в потоке было по-шоферски привычным, автоматичность движений позволяла высвободить неспешное течение мысли, хотелось откинуться на подголовник и включить радио. Звучал Глюк. Знакомая флейта вела и манила, как дудочка Крысолова, и он готов был бежать за ней куда угодно.

Первый из близнецов был загублен при родах и не прожил двух дней. Они почему-то долго спорили, как назвать эту исчезающую пустоту, с жизнью которой не было связано ничего, кроме ожидания. Для свидетельства о смерти имени ребенка не требовалось, но она перебирала одно за другим, плача и повторяя: но он же был, был, был... Пустоту назвали Олегом.

Второму дали имя Иван. Он был меньше и слабее первенца, но ему повезло, а тому — нет. Впрочем, что он несет? Кому повезло, когда? Конечно, невыжившему младенцу повезло гораздо больше, чем Ванечке. Боже мой, Ваня, Ваня, где ты?

Он шмыгнул носом, подтянув скопившуюся там влагу, и сплюнул под чьи-то ноги. Снова нащупав ритм, сопоставил скорость с интервалом, отделявшим от точки-родинки на той дальней спине впереди.

— Точка,— сказал он себе.— Точка — вот и всё.

Теперь он слышал свое дыхание, все учащенной выталкиваемое из легких.

— Выдохните и не дышите,— говорил кто-то в белом халате и включал за стеной рентген.

— Ха... ха... ха...— раздавал он по одному выдоху на каждые три шага.

— Пэ... пэ... пэ...— задерживал воздух губами, только пыхтя на ходу.

«Х» и «п» — простейшая аббревиатура из самых незвонких согласных преследовала его всю жизнь. Что он вынес из нее: сведения о точке замерзания, формулу газа фреона или абсолютный нуль? Чем он стал после всех этих ТХП, ИХП, НИИ, ХП, где «ХП» могло означать что угодно, включая холодильную промышленность, химическое производство и даже художественный промысел. Божественный же промысел никогда не озарял его в их затерянной на краю света бетонной скорлупке на восьмом этаже кооператива в самом пустом углу города, за которым не было уже ничего.

— Зато у нас воздух,— говорили они, выводя гостей на балкон, глядящий в никуда.

Как она попала на балкон, он не помнит — подруга чьей-то подруги, возникшая из пустоты. Ее яркие спелые губы говорили с ним не словами, и он вни-

мал им помимо воли, опустив глаза. Она ничего не боялась, ничего не скрывала, и с ней не нужно было ничего скрывать. Она сразу стала называть его — Мыш, и под ее цепким кошачьим взглядом он чувствовал всю справедливость прилипшего прозвища. По отцу она была русской и могла носить его фамилию, но вслед за матерью осталась — Брук, чем вызвала восхищение одних и недоумение прочих. Когда он звонил ей, она отвечала разными голосами, легко имитируя кого угодно. Поначалу он сбивался, кидал трубку, но вскоре стал выслушивать из всей этой чуши ее настоящую суть. Она была одинока, смешна и печальна, как бывает одинок, смешон и печален клоун. В ней была какая-то загадка, и ему захотелось быть ей под стать. Он сам не ожидал от себя той жесткой решимости, с которой в один момент разметал все.

Перед своим уходом он купил Ваньке велосипед, чтобы увести ребенка в сторону от решаемых им с матерью проблем. Уловка удалась, и сын гонял до ночи, мелькая светящимися педалями и не догадываясь ни о чем. Но однажды в субботу он взял чемодан и ушел, оставив на кухне недопитую рюмку и оборванный вкось разговор. Жена долго смотрела на него с балкона, еще не понимая, на что себя обрекла, из гордости так и не ответив ему. Заворачивая за угол, он обернулся.

Родинка вдруг исчезла, и он долго искал ее среди снующих плеч, а поймав, насадил, как цель на мушку, меж двух лямок с полукружием спины, затянутой в желтое жгучее, что вело и дразнило его. Так было уже не раз, когда он ощущал исторгаемый кем-то посыл, чувственный импульс, решающий все.

Флейта еще звучала, заманивая все дальше, откуда, как он понимал, ему будет не выбраться. Флейта была инструментом Брук, ее обычной работой. Когда она обхватывала губами скошенный плотный мундштук, он глядел в сторону. За этим стояло что-то вызывающее, откровенно порочное. Клоун был одинок, но жил у всех на глазах. А Мыш оказался ревнив. С кем она была все прежние годы? Кто был с ней в ее комнате, где нет никаких примет других мужчин, словно она смела их перед его приходом? Ни одного лица, ни одной фотографии. Подозрительно безгласная жизнь. Только голос флейты, этой загадочной сирены.

Днем они почти не виделись, разбегаясь каждый в свою сторону, но ночью они сходились так, как сходятся в схватке. Это было совершенно неведомое ему пространство любви. Как он жил, ни черта не зная об этом? Ради чего? Теперь он знал — ради этих ночей, их обжигающего света. Он перестал походить на себя прежнего, зажатого технаря, сразу вдруг став свободным, просто самим собой.

— Деточка моя, — шептала она, и все куда-то проваливалось. Мир, оказалось, имел еще одно измерение, единицей которого стала Брук. Один брук любви!

Она торопила его с разводом. Она все время торопила его. Тогда он не знал почему. Ему казалось, что, привязав его, она просто кому-то мстила. Когда он сидел перед возвышением, на котором настраивались музыканты, он чувствовал себя обманутым. Мысль о том, что кто-то из этих фрячников делал с ней то же самое, до чего был допущен он, отзывалась в нем...

— Му-чи-тель-но, — подхватывала она на все голоса и смеялась, как пересмешник, давая стащить с себя черное концертное платье с какими-то блестящими на груди. — Брук отбилась от рук.

Иногда они собирались у них — все эти гобои, валторны, альты и виолончели, которые он с трудом различал. Они обнаруживали какую-то особую, недоступную ему единую связь — жившуюся, сросшуюся семью, где ничего не прощают неопыту, смеясь над ним в лицо на своем чудовищном лабухском языке. Они говорили о поездках и об отъездах. Потом все меньше о поездках, все больше об отъездах. Но никогда о музыке.

«Брук — Глюк, Глюк — Брук», — стучало в ушах с каждым шагом и отдавало в висок. Его обгоняли какие-то пестрые видения в карнавальных париках с клоунскими носами. Бежали двое во фраках с накрашенными губами, мелька-

ли женские лица, обезображенные грубым гримом. Промчался кто-то, завернутый в национальный флаг. Их выделяло тщеславие, которое он презирал еще там, а здесь просто возненавидел. Тщеславие, казалось ему, шло от ущербности. Но простодушная толпа почему-то отмечала именно эти пятна в потоке, как близкие ей и понятные, и приветствовала их с умилением, заливая зрелище пивом и проталкивая вперед своих вечно жующих детей.

— Ничтожества! — привычно огрызнулся он, в душе понимая, что сам он, бегущий в хвосте кавалькады и утративший безнадежно последний стимул жить, ничтожней их всех.

В понедельник второго, насвистывая песню из мультика, его единственный сын Ванька выкатил на велике из подворотни прямо под грузовик. Тогда он все спрашивал у санитара: мальчик умер сразу или нет?

— Сразу, сразу, — успокаивал его последний, кто видел Ваню, и просил на водку.

Он как будто ослеп. Свалилась чернота, в которой ему еще почему-то приходилось жить. Непонятно зачем.

— Это тебе за меня... за меня, — металась Брук.

Жена, наоборот, не издала ни звука ни на похоронах, ни потом. В черноте он с трудом различал ее. Они только столкнулись головами, когда вместе втыкали в могилу табличку. Семилетний Ванечка был назван по отчеству, словно затягивал и его в свою смерть.

Вот тогда он сказал Брук, что готов уехать.

Тогда-то все и покатилося. Он вырвал у жены согласие на развод, зная, что этим добывает ее совсем. Они расписались с Брук и стали лихорадочно, в страхе, что не успеют, собирать документы. НИИ ХП ему объявил, что на барокамеру с его разработками сверхнизких температур имеет виды ВПК, что никуда его не выпустят, будь он хоть трижды женат на самой Голде Меир. У него опустились руки...

И тут появилась Тоня. Тогда еще Антонина Филипповна, должностное лицо (да какое там лицо, лица не было никакого) в вытертом спинами ОВИРе, где он безнадежно качал права. Она дала ему свой телефон, и он принес ей деньги в конверте — в ее стеганное белым атласом беличье дупло. Не спасали ни деньги, ни розы, ни плитки бабаевского шоколада. Тоня требовала платы особой, а он все никак не хотел понять. Но, направляя умело, то выдавая посулы, то вдруг пугая отказом, она все-таки привела дело к тому, что он, не справившись с застежкой, разорвал лифчик на ее плоской рябой спине и, не глядя в само должностное лицо, с остервенением выдал ей все, что хотела.

Через три месяца он получил свой загранпаспорт на фамилию Брук и взял два билета на Вену.

Все это время, пока они были в «отказе», с самой Брук что-то происходило. Она избегала спать с ним, и он думал, что это ревность. Но это было другое. Когда он рассказал ей о Тоне, о стеганом доме, все-все, вплоть до рябой спины, она не удивилась и даже казалась равнодушной, почему-то этим обидев его. Он рискнул так дорого продать свое откровение, потому что втайне рассчитывал получить в ответ то давнее, что стояло между ними, не произнесенное вслух до сих пор необходимое ему слово, которое, он знал, может унижить ее, однако сравнивает их в этой жизни, где не только он виноват, но и она сто крат виновата. Вот что он хотел услышать от нее, вот чего добивался, расписывая свой ничтожный, дешево-совковый подвиг, не нужный уже никому. Он был гадок себе самому и проклинал и свою откровенность, и ее молчание, и отъезд, и овирскую суку. Он уже начал жалеть, что затеял всю эту несусветную шебурушню, как вдруг однажды в сумерки, когда они сидели молча, не зажигая света, она сказала бесстрастно и глухо:

— Он говорит, что это правильно, что мы едем...

— Кто? — спросил он, чувствуя, как сдвинулся и пополз стол.

— Мартиросян. Он сказал, что там можно будет что-то сделать, а здесь нет.

— Что сделать?

— Ты только не бойся. Это еще не точно. Хотя я знаю, что это так. Но еще нужно проверить. Завтра они применят ко мне одну маленькую экзекуцию,— она улыбнулась,— просто посмотрят — и все.

В сумерках стояла тишина.

— Мой бедный-бедный Мыш. Не бойся, я никого в жизни не любила больше тебя. Сегодня еще можно. М-м? Ты слышишь меня?

Он слышал. Он слишком хорошо все слышал. Никогда еще не было ему так худо.

В ту ночь он любил ее нежно, с щадящей жалостью проникая в ее полное тревоги, слегка дрожащее тело, боясь навредить ей там, в глубине, в запретном и желанном месиве, где все еще что-то пульсировало и сокращалось навстречу ему.

Они поехали к Мартиросяну, где ей сделали биопсию. Прощаясь, врач сказал, что здесь он бессилен, но твердо верит, что там...

Но там, то есть сначала в Вене и в Риме, а потом уже здесь, на краю света совсем, все покатилося стремительно к той самой последней черте, что лежала теперь перед ним.

Он забыл, что бежит. Его просто несло вслед за желтым пятном куриной слепоты прямо к краю, к самой кромке гудящей толпы или гудящего леса на том берегу протоки — не все ли равно... Все смешалось. Рваные обрывки были связаны на живую нитку, где одно цепляло другое, тащило за собой третье и, наконец, выволакивало все, что он глубоко прятал даже от самого себя, что старался забыть, затерять, но оно лезло и перло наружу, словно в этом был еще какой-то недосказанный смысл.

Он и теперь не верил в ту чушь, принесенную кем-то из Москвы на хвосте, что овирская стерва Антонина родила дочь, по чьим-то словам от Брука, и клялась приехать к нему в их проклятый жидовский Нью-Йорк.

— Они приедут,— сказала тогда Брук и оказалась права.

Он видел их только однажды на русском заездем концерте, уже много лет спустя после ее смерти. Антонина сидела в партере спиной к нему с девочкой-подростком. Лица девочки он не видел, но запомнил черную родинку точкой под самой шейкой. Какая-то угроза уже тогда была нащупана им. Угроза исходила из маленькой точки в самом конце всей его сбивчивой несуразной строки.

Тело кончалось. Оно заканчивало свое существование, хотя женщина, бывшая этим телом, еще продолжала жить. Но по мере того, как тело оставляли знакомые очертания, женщина тоже освобождалась от набора уловок, манков и обманов, так долго прикрывавших ее. Все это было уже не нужно, никто никогда не посмел бы обвинить ее хоть в чем-то. Покров упал, обнажив что-то очень простое, чему он не находил названия.

Вглядываясь в голые глаза пересмешника, навсегда лишённые своей мажорной бахромы, следя за несусветным стриптизом болезни, он обнаружил под опавшим ворохом пестрых, бессмысленных, чисто женских примет такую незамутненную ясность и подлинность жизни, которую можно было определить только одним словом. Ни утратившее себя тело, ни отсутствие прежнего блеска не отменили в ней главного — самой сути любви. Ее поспешное старение не было отвратительным. Оно было светлым, осенним, как осыпающийся лес. Облезлое лицо ее без ресниц, без бровей уже сходило на нет. Но на безликом его фоне прощально светили глаза.

— Брук — Глюк, Глюк — Брук,— что-то булькало, гулькало в горле, безутешно, неудержимо, прощаясь с ним навсегда.

Дыхание перехватило. Из толпы протянули воду. Он сдавил помятый стаканчик и, разлив половину, остаток выплеснул в лицо. Черная точка резко вышла вперед, и он припустил за ней, спотыкаясь и не разбирая пути.

— Держать, держать, не упускать,— твердил он, собрав последние крохи того, что еще называлось волей и куда-то вело его. Номер на груди оборвался и болтался, держась непонятно как. Он хотел снова, как давеча, подняться над этой толпой, но что-то мешало, давило на плечи, словно ноша новой вины. На-

верно, все так и было. Его убивало скопление этих вин, они цеплялись одна за другую, вытягивая наружу целую цепь бессвязных символов, разрозненных и никчемных. Но, тщательно подбирая каждый обрывок, он силился передать его кому-то прямо в руки, потому что если никто не поймет, то уж тот разберется, кто всегда все понимал про него, кто и послал его сюда на проверку и теперь заберет из этой затянувшейся канители куда-то обратно к себе.

Их выносило на последнюю прямую, на наст стаканных скорлупок, хрустящих под тысячью ног. На повороте он резко срезал угол и продвинулся по диагонали вперед.

И тут слепящая вспышка выхватила каждую цифру: 42 195... Сорок два года... Сто девяносто пять дней... Почему он бежит все это время? Что его держит весь этот невыносимый путь? Оставалось совсем немного, каких-то метров двести... Даже меньше.

Он подбежал к ней, почти уже падая, и заглянул в лицо. Куриная слепота ослепила его, и на этом последнем движении захлопнулась створка замочка, и кулон, сорвавшись с цепочки, полетел вниз.

...И «четверка», и «двойка» с «пятеркой», и фанерная стенка «мальпоста», «единица», и сплюснутый круг абажура с прожженной газетой, и «девятка», и тазик с облупленным краем, и побитая флейта без клапана, и рукомойник со льдом...

Все влетало в бездонность воронки... в черноту червоточины точки... многоточия черных дыр...

Аорта заколыхалась у самого его горла и хлынула, как река.

В небе летел самолет, волоча за собой какую-то строчку, прочесть которую он уже не успел. Она ничего не добавила бы ни к его жизни, ни к тому, что мы знаем о ней, ни к чему вообще.

Просто летела строка, как летела сорока, и скрылась вдали.



Примириться душа не может...

О замечательном ученом, поэте и переводчице — Татьяне Николаевне Кладо (1899—1972) — известно скорее всего немногим. А ведь она навсегда вписала свое имя в историю культуры и науки России.

Родители Т. Н. Кладо были людьми неординарными. Отец, Николай Лаврентьевич Кладо (1862—1919), военно-морской теоретик, дослужился до чина генерал-майора и был профессором Морской академии. После революции указом Ленина он в 1917 году был назначен ее начальником и оставался им до 1919 года, когда в академии — случайно или не случайно — произошло массовое пищевое отравление и он погиб. Мать Татьяны Николаевны — Анна Карловна, урожденная Боане (1869—1939), литератор, держательница нескольких довольно популярных журналов, включая «Новый журнал для всех» (1908—1917). О ее жизни после революции известно лишь то, что она пыталась продолжать издательскую деятельность, напечатала фальшивые дневники Вырубовой, а дальше ее следы теряются в тюрьмах...

Окончив с золотой медалью Гатчинскую гимназию, Татьяна Николаевна Кладо поступила на физико-математический факультет Бестужевских курсов, окончила их и была принята на работу на аэрологическое отделение Павловской метеорологической обсерватории. В то время такое считалось немалым достижением для женщины, но Татьяна Николаевна добилась большего. В 1922—1923 годах она сдала государственные экзамены в Петербургском университете и стала первой научной сотрудницей с высшим образованием в Главной физической лаборатории, **первой** женщиной-аэрологом в России и в мире.

Стихи Татьяна Николаевна, по-видимому, писала с самой ранней юности и публиковала их в 1915—1917 годах, подписываясь Т. К. или О. Дальк, во многих журналах, также и тех, которые принадлежали ее матери. Лейтмотив лирической поэзии Т. Н. Кладо — несчастная любовь. Это, безусловно, женская поэзия, но она позволяет сказать, что безответная любовь обогащает личность поэтессы, если, конечно, поэтесса состоялась как личность.

*Снова розовый свет на севере,
Поздний свет, туманный и слабый.
В доцветающем душином клевере
До рассвета бродить могла бы.*

*Все бродить и думать без устали,
Как печально судьбой назначено,
Под березами странно-грустными,
Под вечерним небом прозрачным.*

*Примириться душа не может
И от сна не хочет очнуться —
Слишком больно, что это прожито,
Слишком жаль назад оглянуться.*

После революции литературная жизнь — с закрытием журналов и издательств — резко изменилась, и когда по инициативе Максима Горького в Петрограде появилось издательство «Всемирная литература», а заведующим поэтической редакции в нем стал Николай Степанович Гумилев, к работе над переводом самых знаменитых произведений английской поэзии на русский язык была привлечена среди многих других замечательных поэтов и Татьяна Николаевна Кладо. В РГАЛИ (фонд издательства «Всемирная литература») сохранились переводы Т. Н. Кладо на русский язык восточной поэмы «Гяур» для полного собрания сочинений Д. Г. Байрона (1788—1824), поэмы «Канун Святой Агнессы» романтика Джона Китса (1795—1823), получившего известность в России в последние

два десятилетия, и стихотворений почти неизвестного у нас, но знаменитого художника и поэта Данте Габриэля Россетти (1828—1882), главы братства прерафаэлитов, которые культу индустриальной обезличенности противопоставляли чувственный и мистический культ средневековой красоты. Ниневия, которой посвящено публикующееся стихотворение Россетти, была столицей Ассирийского царства. Первое упоминание о ней относится к началу четвертого тысячелетия до н. э., и считается, что построена она во времена Нимрода, а во времена ассирийских царей была центром культа богини Иштар (Астарты). Своего расцвета Ниневия достигла в VIII—VII вв. до н. э. Это был богатый город с роскошными дворцами и великолепной библиотекой из нескольких тысяч клинописных текстов, в 612 году разрушенный мидийцами и вавилонянами. В период римской власти (при императоре Клавдии) на месте Ниневии было воздвигнуто небольшое военное поселение, просуществовавшее до монгольского завоевания (2-я пол. XII в.). История, скорее мистика, таких древних городов, исчезнувших с географической карты, но не из памяти человечества (кроме Ниневии, например, Троя), постоянно привлекала к себе внимание Д. Г. Россетти.

Переводы Т. Н. Кладо, время создания которых можно определить 1918—1921 годами, были приняты Гумилевым, но он тем не менее внес в них небольшую редакторскую правку. Как теоретик перевода Гумилев прокламирует (трактат «Переводы стихотворные») предельную лексическую и синтаксическую близость к оригиналу, а как редактор Гумилев стремится к обогащению русского текста такими словами и фразами, которые, как правило, тяготеют к пушкинскому словарю. Он не позволяет смиряться с неловкими оборотами (имеется в виду редакторская работа Гумилева в целом, то есть и с другими текстами) в угоду поверхностной точности и близкие слова бескомпромиссно заменяет более чувственными, красочными, многозначными.

В начале 1930-х годов Татьяна Николаевна работала в Павловской обсерватории и переводила на русский язык роман «Очарованная душа» Ромена Роллана. Она очень спешила, хотела довести перевод до конца... Но в 1935 году случился печально знаменитый «кировский поток», и Татьяне Николаевне пришлось покинуть Ленинград и полностью оторваться от научной и литературной работы. До 1947 года Татьяна Николаевна жила в ссылке под Саратовом и работала бухгалтером в совхозе (по крайней мере у нее была работа, и, возможно, она не голодала).

Вернувшись в Ленинград, Татьяна Николаевна стала переводить научную литературу, потом занялась популяризацией и историей науки. Подготовила несколько книг. В 1955 году, когда времена стали более «вегетарианскими», Татьяну Николаевну приняли в штат Ленинградского отделения Института истории естествознания и техники АН СССР, где первая в мире женщина-аэролог прослужила до конца жизни.

Л. И. ВОЛОДАРСКАЯ

Бремя Ниневии

Сегодня, посетив Музей,
Я восхищался все полней
Элладою прошедших дней:
Какое счастье для людей
Ее искусств дары живые!
Со вздохом их я покидал —
Меня туманный Лондон ждал;
Я, выходя, у двери встал
И видел, как внесен был в зал
Крылатый зверь из Ниневии.

Имел он человеческий лик,
На чреслах — руны тайных книг,
С копытами, могуч и дик, —
То в митре Минотавр иль бык,
Хранящий тайны вековые;
Забытых верований прах,
Повитый в тонких пеленах,
Он грелся в солнечных лучах,

И в наших представал глазах,
Как воплощенье Ниневии.

Следы узорчатых пелен
Еще хранил, иссохнув, он:
Блюда таинственный канон,
Свершали хоры смуглых жен
Над ним моления какие?
Какой свершали ритуал?
Каким заклетьям он внимал?
В каких глухих темницах спал,
Пока Британец не порвал
Молчанье древней Ниневии?

О, если бы под каждый кров,
Закрытый даже для ветров,
В песках, где тяжкий шаг веков
Бесследней бега скакунов,
Могли взглянуть глаза людские,—
Казалось, пали б чары вдруг,
И встали б воины вокруг,
То под стрелой запел бы лук,
И слышался б кимвалов звук,
И жизнь воскресла б в Ниневии.

На пыльной нашей мостовой
Тень зверя чертит контур свой.
Тоска темницы вековой,
Ни свет, ни тень,— пока чередой
Сменялись возрасты земные.
Кто видел из жрецов, о бог,
Бессмертья твоего залог?
Тех нет,— ты сроки превозмог,
И та же тень твоя у ног,
Как в оно время в Ниневии.

Свет солнца ту же тень чертил
В день, что пророк нам сохранил,
Когда Господь небесных сил
Ионе тыкву возрастил,
Храня решения благие;
И неизменна тень была,—
От света, что луна лила,
От ламп во храме без числа,
От пламени, что сжег дотла
Сарданапала Ниневии.

Сеннахериб в твоей тени
Гоним сынами, в злые дни
Скрывался, а в него они
В алтарной целились сени;
Семирамида золотые
Дары несла к твоим ногам,
Ища любви, грозя врагам;
А ныне христиане там,

В твоей тени воздвигнув храм,
Христу молились — в Ниневии.

Теперь, о бедный бог, попал
Ты в этот чуждый гулкий зал,
И падает на пьедестал
Тот свет, что с давних лет считал
Наш Лондон — за лучи дневные;
И школы чинной чередой
Проходят в праздник пред тобой,
И видят факт в тебе живой
Великой эры прожитой —
«Рим, Вавилон и Ниневия».

Кто б ждал, что жребий твой таков,
Когда, слагая звенья строф,
Которых повторить — нет слов,
Перед тобою сонм жрецов
Бледнел в экстазе литургии?
Рим, Греция, Египет, — вам
И вашим гордым божествам
Не снилось, что искусства храм
Вас приютит, и будет там
К вам близко — бог из Ниневии!

Где в недрах камни спать могли,
Что здесь оградой легли,
Пока столетия текли,
То капища твои росли,
Веков свидетели немые?
О, что не кажется чужим
Проснувшимся очам твоим?
Что веет для тебя былым?
Лишь свод небес неумолим
И пуст, как древле в Ниневии.

Да, здесь из мумий вдоль стены
Иные быть привезены
Могли в музей твоей страны,
И были в нем сохранены,
Как древности, тебе чужие;
И вот, всех выходцев могил
Вас ныне рок соединил:
Бог, смертный — кто бы то ни был:
Изида, Ибис, крокодил
Из Фив или из Ниневии.

Да, не один священный лик,
Металлы, и таблицы книг,
И кости — только свет проник
Под землю — в прах распались вмиг
От веянья живой стихии:
И как они, тогда в сердцах
Будившие священный страх,
Так в ярких солнечных лучах

Сгорела, рассыпаясь в прах,
Былая слава Ниневии.

Когда строитель от трудов
Почил, стояли у берегов
Громады гордых городов,
Колонны капищ и дворцов,
Порфиновые, золотые:
Когда Иона в край чужой
Был послан вечным Иеговой,
Он встретил море пред собой,
Где гордость трон воздвигла свой,
Как после — в пышной Ниневии.

Когда весь мир, доступный нам,
Князь гордости открыл очам
Спасителя, с горы, и там
Сказал: мне поклонись и дам
Все царства я тебе земные, —
Средь пышности, ласкавшей взор,
Нежданный возникал отпор,
Где моря мертвого простор
Рябил под ветром, — до сих пор
Тебе чужой, о Ниневия.

Блудница пышная! Твой трон
Царил над миром без препон;
Шли годы, шли столетья — он
Мог отражать, несокрушен,
Все посягательства людские;
Тебе и в час победы гнев
Явился меж поющих дев,
И их воркующий напев
Царя встречал, запечатлев
Завоеванья Ниневии!

Я здесь очнулся. Надо мной
Стал ветер резче; как порой
Улыбку гонит гнев людской,
Так гас и таял свет дневной,
И ветра завыванья злые,
Казалось, тень сметали вон;
И Бог, как роком обречен,
Стоял, короной отягчен:
В нем был, казалось, заключен
Вопль онемевшей Ниневии.

А люди, среди жилых громад
Спешившие вперед, назад,
Невольно поражали взгляд,
Как гипсовых фигурок ряд:
Все те же формы, как впервые,
Казалось, принимал их строй;
И мог в грядущем разум мой
Вопрос провидеть роковой:

Что было прежде, в век былой:
Наш Лондон — или Ниневия?

Ведь как тогда крылатый бог
Стоял, пока пустынь песок
Над ним могилою не лег,
И как неумолимый рок
Закрыв его глаза пустые,—
Так простоит он и сейчас,
И лодки австралийских рас
Его когда-нибудь от нас
Возьмут — как древность, в этот раз
Из Лондона, не Ниневии.

Иль на столетия поздней
В сознании будущих людей
Невольно выступят ясней
Истории ближайших дней,
События древности седые;
И, эту статую потом
Здесь в месте отыскав пустом,
Решат, что в культе мы своем
Склонялись ниц не пред Христом,
А перед богом Ниневии.

Я улыбнулся; но сменил
Вопрос улыбку: пара крыл
С порывом к небу, но без сил;
Взгляд, что в недвижности застыл;
На чреслах — письма чужие;
Корона тяжкая, как рок;
Стопы, давящие песок,—
Ужели, думал я, то мог,
О Ниневия, быть твой бог,
И твой, царица Ниневия?

Публикация Л. И. ВОЛОДАРСКОЙ



Игорь КЛЕХ

Поезд № 2

ПУТЕВОЙ ОЧЕРК

Имя собственное поезда № 2 — «Россия». И это справедливо: он связывает не старую и новую столицы, подобно «Красной стреле», и не регионы между собой и с центром, но опоясывает и стягивает воедино все безмерное географическое тело России. Говоря фигурально, великий рельсовый путь от Москвы до Владивостока — это тот железный пояс, на котором держатся штаны страны. Не будь его — Россия давно заканчивалась бы не на берегах Тихого океана, а на берегах «славного моря» Байкал.

Транссибирская железнодорожная магистраль существует уже без малого сотню лет, и если только представить себе тысячи и тысячи километров по бездорожью, через тайгу, болота, скалистые горы и сотни рек, пройденных нашими прадедами за считанные годы в конце минувшего века с киркой, топором и лопатой, огнем и взрывчаткой, то масштаб их подвига поражает.

Собственно Великий Сибирский путь, как его называли, насчитывает свыше шести тысяч километров от Челябинска до Владивостока, и сооружался он сращиванием отдельных участков магистрали, когда отряды строителей двигались навстречу друг другу. Так на фотографии в проявителе появляются сначала более темные пятна и возникают контуры, они растут, соединяются на глазах, пока не образуют собой готовое изображение.

Подобно Николаевской (впоследствии Октябрьской) железной дороге, за полвека до того связавшей поездом № 1 Петербург с Москвой, строительство Сибирской магистрали также осуществлялось под личным патронажем царствующей особы — цесаревича, вскоре ставшего императором Николаем II. В 1891 году, возвратившись из дальнего плавания, цесаревич заложил во Владивостоке первый камень этого беспрецедентного трансконтинентального сооружения. У наследника был и личный мотив: подобно ньютонову яблоку, удар плашмя самурайским мечом по затылку, полученный им при посещении Японии, внушил будущему самодержцу, что ввиду стремительно растущего и агрессивного дальневосточного соседа Российской Империи не удержат за собой Дальний Восток без железнодорожного сообщения.

К строительству дороги причастен и царский министр Витте, укрепивший рубль и возглавлявший одно время Министерство путей сообщения. Тех полновесных рублей потребовалось для строительства магистрали свыше полумиллиарда. К началу нового века европейская часть страны уже связана была непрерывным «паровым сообщением» с Дальним Востоком. Отсутствовало 290 верст Круго-Байкальской железной дороги, проложенных и пробитых в скальной породе к 1905 году. До того Восточно-Сибирскую железную дорогу с Забайкальской связывало пароходно-ледокольное сообщение через озеро Байкал. В ходе строительства железной дороги интенсивнее стали заселяться переселенцами из центрально-черноземных и западных губерний Сибирь и Дальний Восток, их поток перевалил за двести тысяч в год, и семь из восьми переселенцев оставались здесь жить и плодиться. Сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали, полностью завершённое к 1916 году, послужило могучим экономическим импульсом для освоения колоссальных территорий и их промышленного и земледельческого развития. За время строительства также сформировался корпус отечественных инженеров-путейцев, в которых Россия остро нуждалась на рубеже веков. Время для проезда от Москвы до Владивостока было установлено для пассажирского и почтового сообщения — в десять суток

(35 верст в час, 800 — в сутки), для грузового — вдвое дольше. Грузы с Дальнего Востока в Лондон, например, могли быть доставлены теперь за тридцать суток, в полтора раза скорее, нежели по морю.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Подъезжая к Ярославскому вокзалу столицы, я старался не думать о 9300 километрах и почти 155 часах предстоящего пути — шесть с половиной суток в купе, пусть и спального вагона.

Поезд оказался красно-синим, на Руси уж как покрасят, так покрасят! Зной и духота стояли жуткие, плюс 30 градусов в мегаполисе — это, как выразилась пассажирка, садищаяся в один со мной вагон: «Свариться можно в этой вашей столице!»

В пустом купе, показавшемся невероятно тесным, я моментально облился потом и выскочил на перрон выкурить на прощание сигарету. Проводница Марья Михайловна, как написано было на бадже, прикрепленном к парадного вида железнодорожной форме, успокоила:

— Как только отправимся, включатся кондиционеры — будет как в раю!

И действительно, уже через несколько минут по отправлении я убедился, как немного надо для рая на Земле.

Вагон был практически пуст. Все четверо пассажиров, севших в Москве, включая и меня, ехали до Владивостока. Моими попутчиками стали супружеская пара из Петербурга, в преддверии пенсии подарившая себе путешествие по стране (назовем их условно «питерцами»), и не менее пожилая жена тихоокеанского морского офицера, возвращавшаяся из санатория Минобороны в Архангельском под Москвой, благодаря мужу имеющая раз в году право на бесплатный проезд в купе в оба конца либо в одну сторону в СВ (столь же условно обозначим ее как «жену военмора»). Вагон оказался на удивление чист, как, впрочем, и весь фирменный поезд, видимых поломок не обнаруживалось. Постелены были в коридорах и в купе персидского вида ковровые дорожки, их ежедневно (в нашем вагоне, во всяком случае) пылесосили.

Воодушевившись чистотой, сухостью в туалетах, работающим кондиционером, я принялся вскоре глядеть в окно, обложившись подушками, наподобие героев русских повестей, путешествовавших в тарантасах, кибитках и прочем. Ведь помимо дорожных знакомств и разговоров, до которых я не такой уж большой охотник, чистое вагонное окно способно доставить нам особое развлечение и ни с чем не сравнимое удовольствие от пути. Я удивился, когда за окном промелькнуло Хотьково, значит, следом Сергиев Посад. Обратившись к расписанию, я выяснил вдруг, что поезд идет не через Рязань (как обещал мне не столь давнего года выпуска советский географический словарь), а стремительно взбирается на север, едва не под географическую широту Петербурга — через Ярославль и Киров-Вятку, далее на Пермь и уже в Свердловске-Екатеринбурге совпадает, наконец, с проложенным мною в воображении маршрутом. Как потом мне объяснят железнодорожники, вообще-то самый короткий путь пролегает через Нижний Новгород, он на 80 км короче. Но государственные виды и уже сложившаяся традиция требуют отклонения на четыре градуса на север от 55-й параллели, а затем на столько же к югу от нее, чтоб поезд смог связать между собой дополнительные несколько крупных городов и так, снуя около указанной параллели, добраться до Хабаровска, откуда провалиться еще на семь сотен верст на юг до Владивостока, что почти соответствует протяженности Франции или Германии.

За окном тем временем протягивались знакомые пейзажи, редколесье, строения из потемневшей древесины, с белыми и зелеными наличниками, изредка со спутниковыми антеннами, вокзалы, пристроенные к остаткам монастырских построек, посеребренные Ленины, то ли призывно, то ли прощально машущие из кустов рукой, вездесущие (до Владивостока) оконные решетки типа «солнце», выцветшие плакаты-страшилки по технике безопасности, вроде «Не спрыгивай на ходу!», метровые надписи «Не курить!» на складах да водонапорные башни, похожие на грибы и терема одновременно — с кирпичными ножками и деревянными шляпками. Только за Красноярском они окаменевают целиком, их верхушки становятся шлемовидными и в разрушенном отчасти виде напоминают псевдоготические руины в усадебных парках.

Уже перед Ярославлем я пошел знакомиться с начальником поезда, прихватив письма от командировавшего меня журнала «GEO» и от МПС. Я нашел его в радиорубке так называемого «штабного вагона». Он оказался моим одноклассником и звали его Христофор, отчего я испытал немедленную симпатию к его свирепой наружности морского волка. Перейдя в вагон-ресторан, я столь же легко завязал знакомство с

директором ресторана, также почти ровесником, Виктором из Балашихи, работавшим когда-то официантом в «Континентале» в хаммеровском центре, что на берегу Москвы-реки. Поужинав чем бог послал и бросив взгляд в окно — на первую из встреченных на своем пути поездом № 2 великих русских рек — Волгу, еще не начинающую в этом месте набирать свою ширину, я вернулся в спальный вагон и завалился в постель с книжкой.

Имея опыт путешествий по гениально устроенным железным дорогам Германии и некоторых других стран, я все же всегда одобрял убаюкивающее покачивание на рессорах отечественных вагонов, что отчасти способно примирить путешественника с их бортовой качкой и судорожными содроганиями на рельсовых стыках или по вине неопытных машинистов.

Анатомия поезда

Поезд, подобно акуле, должен все время двигаться, чтобы системы его жизнеобеспечения исправно работали — чтобы вырабатывался электроток и подзаряжались аккумуляторы, без чего наступит тьма и температура как за окном. Виктор, директор ресторана, рассказал мне исполненную живописного драматизма историю о перекрытии магистрали в прошлом году бастующими шахтерами Анжеро-Судженска.

Фирменный поезд № 2, любимец трассы, успел проскочить в сторону Владивостока, однако назад вынужден был пробираться через Абакан. Во Владивостоке сцепили три пассажирских поезда (в том числе один украинский — «Харьков — Владивосток»), состав вышел длиной чуть не с километр. Опоздание достигло в пути полутора суток, из-за простоев разморозились холодильники. Виктор умудрился, однако, организовать питание для детей. Взрослых же подкормили местные жители, вышедшие к полотну торговать горячей картошкой, домашним хлебом, молоком — тем, что сами едят. Виктор, смеясь, рассказывал, что в украинском поезде у его коллег прохудившийся потолок вагона-ресторана подперт был на всякий случай березовым стволем, и тем не менее салон разукрашен вышитыми рушниками и прочим рукоделием. Шахтеры с тех пор, кажется, образумились и ловят теперь расхитителей своих денег на местах — ко благу путешественников и получателей хозяйственных грузов.

Но вернемся к анатомии. Вся двухпутная Транссибирская рельсовая магистраль (за исключением отрезка Бикин — Усурийск в Приморье) электрифицирована. В дороге бригады машинистов и локомотивы меняются многократно. Машинисты подчиняются только диспетчерам своего депо и железнодорожных станций, с которыми у них поддерживается постоянная радиосвязь. Они, как лодманы, проводят составы по трассе и знают наизусть все ее особенности. Начальник поезда также связан с машинистами радиосвязью, но обращается к ней только в экстренных случаях. Его работа — это руководство поездной бригадой и решение всех вопросов, связанных с обслуживанием пассажиров, обеспечение технической исправности оборудования, поездное радиовещание. В его подчинении также поездной электротехник. Почтовые и багажные вагоны, если они есть, обслуживаются собственными службами: почтовики арендуют свои вагоны. Люди не всё везут в руках или передают с проводниками, багаж и сегодня отправляется по железной дороге, причем обходится это отправителю совсем недорого: за десятикилограммовый багаж от Москвы до Владивостока, как мне сказали, он заплатит сумму порядка полутора американских долларов. Такие вагоны представляют собой просторное помещение без всяких переборок, в котором выгорожено лишь одно двухместное купе для сопровождающих отправления.

В поезде № 2 отсутствуют общие вагоны. Стоимость проезда от Москвы до Владивостока по текущему курсу составляет: в спальном вагоне — приблизительно сто двадцать долларов США (на двадцать долларов дороже, чем самолетом), в купейном — шестьдесят, в плацкартном — сорок. Некоторые вагоны зарезервированы специально для пассажиров из крупных уральских и сибирских городов. Будто насосом поезд накачивается пассажирами где-нибудь в Екатеринбурге и Новосибирске и затем почти подчистую опорожняется в Красноярске или Иркутске. Логику приливов и отливов пассажиропотока умом не понять.

Новшество в фирменном поезде — телефонная связь от «Дженерал телеком». Аппарат установлен в радиорубке начальника поезда. Но в России часто делается полдела: карточка стоит 225 рублей, то есть приблизительно десять долларов, и обеспечивает пятиминутный разговор с абонентом независимо от расстояния, то есть хочешь — звони на ближайшую станцию, хочешь — в другое полушарие. Но большинству-то хочется скороговоркой сообщить родным, что все в порядке, или

попросить, чтоб встретили, что сильно ограничивает интерес к нововведению. В первый день новой услугой поинтересовалось шесть человек, во второй — четверо, на третий день, наконец, один похожий комплекцией на Паваротти нефтеторговец воспользовался аппаратом — позвонил жене и детям в Германию, но было плохо слышно, и невидимый оператор пообещал ему повторить сеанс связи вечером. Кстати, скверно слышно и радио в пути, удовлетворительный прием осуществляется только на расстоянии 30 — 40 км от крупной станции, где есть мощный передатчик. Поэтому поездное вещание состоит в основном из трансляции записей, но об этом позднее. Не оправдали себя видеосалоны в поездах, как, впрочем, и по всей стране, — народ быстро пресытился видеопродукцией. В вагоне-ресторане, впрочем, установлен большой телевизор с видеомagneтофоном. Вагон-ресторан, как предмет пристального интереса и разнообразных воцелений, также заслуживает отдельного рассказа.

И последнее: окна всех купе глядят на северную сторону, откуда — к солнцу и проходящему поезду — обращены фасады подавляющего большинства железнодорожных станций.

ВТОРНИК

Ночь была полубелой — подсвеченный со всех сторон горизонт так и не потемнел. Проснулся я на станции Киров города Вятки (до 1781 года — Хлынова), тут же заснул опять и вышел на перрон проветриться уже в Балезино, где торговали знатной сметаной, по уверению Зинаиды Андреевны, подменившей Марью Михайловну и заодно сменившей белую парадную блузку на голубую походную. На перроне предлагали и местного производства сорокаградусный бальзам в фигурной фляге. Предлагали без азарта, торговали как-то вяло. Вообще в России на станциях принято торговать словно нехотя, вынужденно, без страсти и аппетита, не то что на юге — скажем, уже на Украине. Нет, наверное, русского торговца, который втайне не мечтал бы поменяться местами с покупателем. Для поддержания местного мелкотоварного предпринимательства я купил большую бутылку минеральной воды и вернулся в вагон. Вскоре небо затянула сплошная облачность, пошли пригорки, лес, болотца. Растительные «куртины», призванные защищать насыпь от снежных заносов, отгораживают нас заодно от видов. Только теперь я присмотрелся, что целыми километрами белеют вдоль насыпи поверженные юные березы — передние шеренги подроста, будто скошенные вражьей силой. Позднее мне Христовор объяснит, что ведется расчистка полосы отчуждения, чтобы кроны не пугались в проводах и корни не подрывали насыпь. Ширина ее по букве инструкции должна составлять пятьдесят метров в обе стороны от полотна. Пятидесяти, конечно, нет, но какое-то расстояние выдерживается почти на всем протяжении магистрали.

До самого океана тысячи рабочих в апельсиновых безрукавках обихаживают полотно и насыпь — магистраль кормит их и сама требует постоянной заботы: рельсы, шпалы, откосы, насыпь, столбы, провода, мосты, — оставь их без присмотра, и уже через несколько лет по дороге нельзя будет не только проехать, но даже проползти на брюхе. Мне вспомнился один приятель, технарш-интеллигент, в начале девяностых, в момент резкого ухудшения экономической ситуации, вдруг расчувствовавшийся в собственной ванной: «Вот я стою такой маленький, ничемный, а под потолком горит лампочка, из крана течет теплая вода, чтоб я смог умыться, побриться, спустить воду, кто-то далекий делает же так, чтоб все это у меня было!»

Сидя у окна и лоя оконца в куртинах, я постигал смысл однообразия. Пошли огороженные хутора и безлюдные просторы — терапия для души закоренелого урбаниста. Какой-то человек, подходя к порогу своего дома, обернулся, и я сообразил, что для него проходящие поезда — бесплатные часы. Неподалеку, на середине пруда, дети барахтались вокруг огромной автомобильной камеры, как и сорок лет назад. В Перми, где время отличалось от московского уже на два часа, разразилась летняя гроза. Я выиграл нечаянное пари у попутчиков, предположив, что побуревшая река под нами — не Обь и не что-то еще, а Кама (хотя особой уверенности в этом у меня не было), оставив затем беседовать проигравших о диоксиновых курах, Фуцевой и на прочие темы, почерпнутые из телепередач. После вчерашней жары дождливая погода на скорости в 80 км/час казалась даром небес. Что я и поспешил отметить походом в ресторан, где съел отменный борщ с курятиной всего за полдоллара и выпил стопку водки. Поезд шел по высокому берегу над изумительно безлюдной и дикар-

ски красивой рекой — мне сказали, что это Чусовая, однако я запомнил ориентир, 1573-й километр и город Кунгур, — это была Сытва. К счастью, я прозвал новорусский замок с башенками на противоположном лесистом берегу, но запомнил навсегда одинокого рыбака в дождевике, тянувшего с середины реки бьющуюся розовую рыбку. Леска не касалась воды и пела, как тетива, — боже, как захотелось мне поменяться с ним местами! Но не участью. Ведь я собирался доехать до Владивостока — многое увидеть и рассказать об этом, как сумею. Один вид был просто непристойной красоты: река ушла вниз, поезд взобрался на кручу — разросшиеся сосны, скалы, — речка вильнула вбок, и разлилась вдруг, и пошла петлять по долине до самого горизонта, под небом, на котором уже появились голубые проплешины. Я же знал всегда, что на свете бывает хорошо.

Говорят, что Урал, в который втягивался поезд, — это место шва, где сошлись и срослись матерки. Под непредставимым давлением от их столкновения образовались горы, в средиземье остались лужицы морей, а по разломам потекли реки. Теперь наметился откат. Байкал расширяется с каждым годом на несколько миллиметров. Через несколько миллионов лет суперконтинент будет разорван и между разошедшимися частями опять заплащется море. Так говорят.

Названия и города

— Смешные какие названия! — сказала жена питерца, указывая в окно на станцию Шаля, с милым вокзальчиком в стиле модерн и явно дореволюционной чугунной оградой.

А Зюкай? А Сюзьва? А Ибрьоль — между Грибной, Козловкой и почерневшей деревенькой Юбилейная? А совершенно непредставимая Итака в Забайкалье или бухта Улисса во Владивостоке? Как и откуда все это попало в русский язык?

Но не любит российская провинция саму себя и клянет скудость выбора. В Забайкалье я еще услышу поговорку: «Бог создал Сочи, а черт — Сквородино и Могочу». Крупные города и промышленные зоны выкачивают из промежутков и зазоров между собой молодежь. Хуже всего дело обстоит не там, где вообще отсутствуют деньги, а там, где их мало, то есть не хватает. Неряшливые лесопильные и прочие заводы выглядят будто после бомбардировки. Деньги — великий чистильщик. Задолго до крупных городов придорожный ландшафт начинает подбираться и охорашиваться. Появляются пассажирские платформы, как где-то в Подмосковье, и перекинутые над путями мостики переходов. И когда дымят индустриальные трубы, это значит не только, что загрязняется окружающая среда, но также, что у людей есть работа. Запомнился рекламный щит в Красноярске: «Без трубы труба дело!» — надо полагать, перед проходной соответствующего завода. Все это города с населением от полумиллиона до полутора миллионов — целое ожерелье развитых промышленных городов, нанизываемых на пути следования поездом № 2. Почти все они — еще и крупные речные порты. Конечно, благоустройство в них оставляет желать лучшего, но если в суровом и слабонаселенном краю из острогов, факторий и поселков они сумели вырасти до таких размеров, это свидетельствует об их могучем потенциале. Начиная с Урала — это Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск на Иртыше, Новосибирск на Оби, Красноярск на Енисее, Иркутск на Ангаре, Чита, Хабаровск на Амуре, наконец, семисоттысячный Владивосток, которого попросту не существовало до 1860 года.

Отплывшая Аляска, кажется, кое-чему научила русских. При том, что территориальное соотношение европейской части и Сибири, цивилизации и природы, прямо противоположно аналогичному соотношению Соединенных Штатов и их «Сибири» — Аляски.

Возможно, это прозвучит странно, но из-за хозяйственного по преимуществу уклона уральских и сибирских городов каждый из них остро нуждается в культурно-исторической и художественной санкции для своего полноценного осуществления как города. Писатели, художники, художественные коллективы (иногда первоклассные) наличествуют в них, но всем им недостает убедительности. Некой патины, которую накладывает только время. И потому так гордятся здесь любым кривым словом, сказанным в адрес этих городов ссыльным Герценом или Достоевским, а история сибирской аристократии очерчена и исчерпывается декабристским кругом. Имеются, однако, своеобразные «гении места» (если одолжить у Петра Вайля предложенную им методику ориентации на местности), передающие и выражающие его дух, характер освещения, ощущение формы. Для Перми таким «домовым» может оказаться Шишкин, выросший на камских берегах; для Красноярска — могучий Суриков; для Екатеринбурга — вероятно, Бажов, с его камнерезами; для Вятки же — либо дымковская игрушка и Васнецовы, либо Грин с Циолковским (первый здесь

жил, второй учился, но оба запойно мечтали уплыть или улететь отсюда... куда по-дальше).

И еще, что касается названий: я тоже придумал одно и могу недорого уступить его какой-нибудь из краевых администраций, оно очень «в духе» — Правдосибирск.

СРЕДА

Накануне в Екатеринбурге, где я вышел на перрон, — ну и морды слонялись по нему без дела! — в мое купе подселили бизнесмена Диму. Он ехал до Новосибирска. Это был весьма ухоженный молодой человек, несколько даже чересчур спортивного вида. И действительно, оказалось, что он футбольный полузащитник и хоккейный вратарь в прошлом. Теперь это уже его хобби. Раз в неделю он обязательно встречается с другими ребятами, также оставившими спорт, и с удовольствием играет с ними в одну из двух командных игр — в зависимости от сезона. Что крайне необходимо ему для разгрузки: «Набегаешься, накричишься — и запаса хватает на неделю!» Поэтому он не очень понимает альпинистов, байдарочников, рыбаков, которые в изобилии работают с ним в фирме. Есть у него жена и стафордшир, с которым он любит гулять, но опасается лесных клещей. В свои 28 лет он менеджер крупной фирмы, основанной екатеринбуржцами в начале девяностых и являющейся официальным сибирским дилером известных мировых компаний, в том числе парфюмерных и косметических, — именно это направление Дима и возглавляет. В последние два года ему приходится много ездить по сибирским городам, находить партнеров, заключать сделки. Богатая Тюмень загадочно равнодушна к предлагаемой им продукции. Помимо родного Екатеринбурга, ему особенно нравится старый Омск, а в Новосибирске — вокзал сталинской поры, недавно отремонтированный китайцами. Из городов европейской части, кроме Москвы (где у фирмы имелся до последнего времени филиал), он бывал в Санкт-Петербурге и Харькове, а на Западе — в немецком Фрайбурге по приглашению деловых партнеров, с отлучкой в Париж, где им с женой особенно запомнились рестораны с морепродуктами. На алкоголь Дима глядит с отвращением, но при этом курит. В поезде он явно томится. После Новосибирска ему предстоит еще поездка в Новокузнецк.

К тому же типу попутчиков-коммивояжеров я бы отнес и преуспевающего служащего американской фирмы, торгующей чипсами, которого подселили в купе к жене военмора. Наутро она пожаловалась мне, что тот чересчур самодоволен, весь вечер хвастался. Вероятно, он оказался не очень готов к размеру своей зарплаты. Этот вышел в Красноярске. Как и два других коммерсанта — сильно пьющие казахстанские армяне, один — торгующий лесом и рыбой, другой — нефтью. Первый ехал в Бородино под Красноярском, второй — собственно в Красноярск. Первый из них садился ночью в Тюмени и сильно озлился на мое неосмотрительное замечание, что Бородино — под Москвой и ему следует ехать в обратную сторону. Утром оказалось, что их уже двое в одном купе, дверь которого они держали весь день открытой и зазывали всех к себе «в палату № 7 — попить кефиру». Увы, весь неблизкий путь до Красноярска двум словоохотливым острякам пришлось коротать в обществе друг друга.

На третьи сутки я осознал свою промашку: деморализованный московской жарой, не взял в дорогу по крайней мере теплых носков. Моросил мелкий дождичек. На станциях я спешил поскорее вернуться в купе уже по противоположной причине — за окном было всего +10°, и кондиционер работал как обогреватель. А в ресторан улегал меня теперь не голод, но поиск развлечений, но желание согреться.

О, Омск с Иртышом! О, Обь с Новосибирском (развившемся из Гусевки в Новониколаевск и далее оттого только, что некогда путеец и писатель Гарин-Михайловский настоял на сооружении железнодорожного моста именно в этом месте, — проклятие города Томска на его голову)! Вас скрыла от меня непогода, заложившая небо насморком. Меня передернуло, когда я увидел из ресторанного окна сидящего на пригорке на берегу Оби удрученного голого мужика в мокрых черных трусах — брр!

По московскому времени

Местное время к исходу третьих суток опережало московское уже на четыре часа — и это также отдельная тема. Расписание движения поезда составлено по московскому времени, и если бы по пути до Владивостока я семь раз переводил часовую стрелку, чтобы привести свои биологические часы в соответствие с местным временем, то я бы запутался в расписании еще на полпути. Но, храня верность московско-

му времени, мои биоритмы вошли во все больший клинч с местным, и всю серьезность ситуации я осознал слишком поздно — когда на границе Амурской области увидел восход солнца в одиннадцать часов вечера по моим часам.

Это был классический «джэт-лег» — расстройство сна и дезориентация, связанные с резкой сменой часовых поясов. Но я решил идти до конца. Самолет из Владивостока должен был мне единым махом вернуть до минуты то, что отбирал теперь поезд.

И именно этому легкому расстройству, которое сродни безалкогольному опьянению, я обязан прекрасными минутами и рассветными часами, которые, как злостная «сова», я неминуемо проспал бы.

ЧЕТВЕРГ

Первым таким утром, которое я начал праздновать в два часа ночи по Москве, явился утро на подъезде к Красноярску. Мне все нравилось в нем. Непогода оставалась позади. Деревья стали рослее и росли привольнее, без подростка, словно на газонах с горчичной присыпкой цветочков. Больше среди них стало сосен, и появились лиственницы. Дачи пошли дощатые, но ладные, крепко поставленные, все двухэтажные и с теплицами. Дорога в России предполагает некоторое количество алкоголя. Я открыл рижские шпроты (все оказались брюхатенькими, с икрой), достал банку консервированных огурчиков и дорожную фляжку. Дело в том, что поезд приближался к местам моего раннего детства. Открыв коридорное окно, я просто ошалел и моментально узнал этот целебный запах тайги, которого не вдыхал уже сорок лет. Надышаться им было невозможно. За это стоило выпить рюмку-другую. Окно в купе не открывалось, и потому фотографировать приходилось либо сквозь стекло, либо из открытого коридорного окна, но против солнца. Солнце уже начало стряпать на облаках со шкворчанием свою небесную яичницу. То, что я принял поначалу за пух или непонятный пепел, летящий навстречу нашему составу, в действительности было бабочками. После Красноярска еще целый час у того же окна я караулил с фотоаппаратом красавицу-речку Бирюсу. Это было уже перед Тайшетом, откуда шло ответвление на БАМ. Здесь на душу населения, как сообщило поездное радио, приходилось по 35 гектаров леса — дыши не хочу! Невозможно было поверить, что где-то во влажных джунглях Амазонки, а не здесь, на просторах Сибири, трудятся легкие планеты.

Продавцы и офены

Вокзал в Красноярске оказался несуразной формы и выкрашен под цвет железного сурика, каким обычно кроют дощатые полы, но рассмотреть его как следует я не успел. Нас отгородил от него подошедший поезд «Улан-Батор — Москва». Через считанные секунды все его окна распахнулись, из них, будто на пружинках, по поясу выпрыгнули монголки и монголы, вывесили одежду на плечиках и пластиковый полуманекен в дамском белье, сбросили какие-то тюки на перрон, где уже мели юбками стайки цыганок, потянулись вверх руки с российскими купюрами, вниз полетели колготки в упаковках — торг закипел. Это был транзит китайских товаров, и продавцам необходима была какая-то российская наличность для начала.

Вообще торговля идет вдоль всей железной дороги. Иерархия примерно такова: в поездах едут те, у кого есть деньги (они смогли купить билеты); у дороги живут и лепятся к ней те, кто в деньгах нуждается; им завидуют остальные, живущие в отдалении от железной дороги. Торгуют повсюду. Еще на Ярославском вокзале в Москве проводнице Зинаиде Андреевне «впарили» не очень нужную ей термостойкую стеклопосуду прямо у дверей вагона. Меня, в частности, давно интриговало, почему по всему бывшему СССР печатной продукцией в поездах дальнего следования торгуют исключительно немые разносчики. Христофор, у которого я попытался узнать, отчего так, заметил: «Так же, как все носильщики на московских вокзалах — татары». Ему виднее. Сам он — армянин из Геленджика, окончил МИИТ, живет в Москве и работает на железной дороге с начала семидесятых.

Горячей или теплой картошкой, варениками и пирожками с капустой, разноцветной водой торгуют повсюду, но есть еще и специализация у отдельных станций. Знающие люди говорят: «В Барабинске будет свежая жареная рыба», — и действительно, половина торговых стоит там с весьма аппетитного вида жареной рыбкой. В Слюдянке, первой остановке на берегу Байкала, будет продаваться омуль горячего и холодного копчения (которым я легкомысленно, хотя и не сильно, отравился — к вопросу о необходимости небольших доз алкоголя в рационе путешественника, — иркутское пиво, с которым я употребил омульков, алкоголем считать нельзя). «На что омуля ловите?» — спросил я у парня. «А мы не ловим, мы покупаем у рыба-

ков», — был ответ. В нескольких сотнях метров от берега покачивалось на воде с полдюжины рыбачьих баркасов. Еще знайте, что в Петровском Заводе (Петровске-Забайкальском) вам предложат кедровые орешки, кедры не везде растут, а больше здесь и продать-то нечего. Если что и продается, то существенно дороже, чем в Москве. Зато от Архары и до Владивостока продаются всего за несколько рублей мясистые стебли папоротника-орляка, помнящего челюсти бронтозавров, а также салат из него, приготовленный на корейский манер, — потрясающе вкусен и отдает слизистыми китайскими грибами. Там же вам предложат березовый деготь, годный как для язвенников, так и для ухода за ботинками, и скрученные кольцом целебные мохнатые корни лимонника, похожие на хвосты тех чертей, что придумали Скородино и Могочу. Но главное — в Вяземской за Хабаровском торгуют черной и красной икрой по цене в пять раз ниже столичной, копченой осетриной и жареной корюшкой, которую все здесь очень любят. Я тоже позарился на осетровую икру (бывает и калужья, но предупреждают, что надо пробовать, — попадаетесь с привкусом фенола, мне незнакомым). В Москве распробовал. Главное теперь — не дать развиться в себе порочной склонности к черной икре, иначе никаких не только командировочных, но и гонораров не хватит. За восемь тысяч верст не поездишь особо.

ПЯТНИЦА

Это Иркутск, и это Байкал.

Размах, с которым поставлен Иркутск, каменные набережные Ангары (в детстве я купался в том месте, где она сливается с Енисеем), стильный вокзал дореволюционной постройки, недавно отреставрированный и отделанный тонированным стеклом (нельзя исключить, что к приезду важного лица), — произвели неожиданно сильное впечатление. Часа два спустя тот самый момент, когда поезд вырывается из тоннеля и на секунду застывает над каменной чашей, дно которой — Байкал, я проспал. Зато весь день было потрясающее небо, облака, поблескивающие снегом сопки Хамар-Дабана, петляющая Селенга, напомнившая мне знакомый по плаваниям на каяках Днестровский каньон, летучие дожди, радуги над поселками, то дугой, то столбом, — наконец, вечер и зловещий закат в голой степи, где-то уже перед Читой.

Улан-Удэ мне не хочется вспоминать. Когда мы с родителями переехали с берегов Енисея в Забайкалье, здесь был ближайший от нас, всего в сотне с небольшим километров, кинотеатр. Я вглядываюсь в лица бурятов, терзаемых ныне злой безработицей, в их ветхие халупы, лепящиеся друг к другу, будто кругом мало места, в обработанные клочки земли и сараи, сложенные из замасленных, отслуживших свое шпал. Едва дымящиеся заводские трубы, разбитые стекла, «Бурят-книга», «Удэгснаб», длинная очередь к пункту приема лома цветных металлов. Люди, купившие билеты в СВ, в хороших костюмах, пролезают с чемоданами под вагонами, поскольку поезд № 2 принимают теперь через раз на какие придется пути. Собака с впалыми боками, щелкнувшая зубами на мой окурочок. Мальчишки — три стадии вхождения в нищенство. Новичок, тихим голосом, тебе одному: «Дядя, купите у меня, пожалуйста, газету (какая-то никому не нужная местная многотиражка), я всего третий день торгую». — Расплакался. Другой, побойчее, оттачивает прием: «Дяденька, купите у меня что-нибудь, а то я сегодня еще ничего не заработал!» Третий — уже профессионал: наметив жертву, преследует ее по перрону: «Умоляю! Умоляю, дайте на хлеб!» На нем отцовский пиджак с длинными рукавами. Получив свое, ищет глазами следующего. Люди отводят взгляд. Чувствительные вообще не выходят из вагонов. Готовы мы платить такую плату за свою свободу?

«Совок» никуда не подевался

Он временно растерялся, силы его рассеяны, но он вездесущ, и я пребываю в недоумении: как это удалось нам в начале 90-х отстранить от власти коммунистов, когда так повально в стране огромное нежелание населения взрослеть? Бог помог, и москвичи не сплеховали.

Я включаю радио в купе, запись сделана редакцией поездных программ (фактически убраны лишь славословия коммунистической партии). Образец стиля: «В зеркале Камы отражаются острый шпиль древнего Петропавловского собора, первого каменного здания города, ажурные стрелы порталных кранов, белокаменные современные кварталы, мощные заводские корпуса». Никаких блатных песен, хорошо подобрана музыка, голоса доверительны и не чрезмерно бодры — и я не могу не признать, что все это вместе действует убаюкивающе, внушает мне ложное чувство бе-

зопасности, заботы. МПС, как всякий естественный монополист и технократ, в принципе расположено к авторитарности. Сегодня, впрочем, оно защищается — и его надо благодарить, что не позволило пока растащить и распродать по частям свое рельсовое хозяйство. Как есть уже бывшие республики, где повывакапывали все телефонные кабели и вообще все, что блестит, если плюнуть и потереть.

Любопытно, какой поддержкой в провинциальных городах пользуется клоун в Москве — Жириновский. Не зря активисты ЛДПР отправляют с поездами в регионы пухлые кипы своей прессы и партийной литературы. Если и встречаются по пути на стенах граффити политического толка, то почти исключительно принадлежащие сторонникам этой партии: «ЛДПР — партия народа», «Жириновского президентом!» — и кто-то пониже приписал: «Отдай часы Брынцалову». Рядом же можно увидеть такое: «Привет участникам Олимпиады-80!». И еще повсюду изваяния и мемориальные доски: Ленина (по пути в Шушенское и обратно), Калинина (сказал речь в 1925 году), Бабушкина (что он-то сделал, Бабушкин? — шрифт мелковат). Особенно же поразил меня монумент в Петровском Заводе. Перед сооруженным китайцами пряничным вокзалом — монументальная усыпальница минувшей эпохи. С ее крыши глядит поверх проходящих поездов серебряный Ленин в пальто, одну руку держа в кармане штанов, вторую заложив за спину, а в нишах гробницы выставлены аляповато позолоченные головы декабристов — восемь голов. Не приведи господь присниться!..

Попутчики

Я упоминал уже о питерской чете, решившейся проехать на поезде до Владивостока. С собой они взяли видеокамеру, привезенную кем-то из друзей из-за рубежа. Дело в том, что питерец служил в армии в Уссурийске с 54-го по 57-й год. Везли туда призывников тридцать суток. Выскazanного мной сочувствия он не понял: «А чего, молодой, есть да пить дают, спи сколько влезет, служба идет!» Но даже у него, «рабочей косточки» с одного из питерских заводов и явного жениного подкаблучника, даже у него наличествовали некие иррациональные запросы и стремление соединить разошедшиеся концы своей жизни тетивой транссибирского экспресса.

Эта пара подружилась, насколько это возможно в поезде, с женой тихоокеанского военмора, жгучей брюнеткой, загадка остро характерной внешности которой разъяснилась как-то в разговоре: она оказалась дочерью румынского коммуниста из Ясс, погибшего на фронте. После войны они с сестрой и матерью жили в Черновцах. Сестра занялась хореографией в Кишиневе и вместе с ансамблем «Жок» попала в Москву, где и живет. Она же вышла замуж за морского офицера, теперь уже отставного. Сын их — штурман (славный мальчишка, он подвез меня во Владивостоке на машине с правым рулем к гостинице на берегу Амурского залива, где для меня был заказан номер). Эта компания шестидесятилетних пополнилась в Чите бодрим генералом из Владивостока, который все понял о жизни и теперь охотно делился генеральчьей мудростью. В былые времена он неезжал в Забайкалье охотиться на изюбря и кабана. У знакомого егеря в тайге росло семеро сыновей — «питались черт-те чем, кормовой овес заливали молоком, а выросли все крепкие, ладные, румяные», — и генеральская рука, плотоядно вильнув, изобразила в воздухе нечто вроде лесенки призывников, расставленных по росту и рассчитавшихся на «первый-второй». Шуток про «лучше переест, чем недоспать» я, признаться, не слышал уже несколько десятилетий. Но когда, выйдя в Хабаровске на плавающий от зноя перрон, я застучал всю компанию за диспутом на тему «Так что же такое счастье?» — то пулей вернулся в душный вагон и, высунувшись в коридорное окно на другую сторону, глотнул кислорода.

Незадолго перед тем поезд бесконечно долго шел по новому мосту над Амуром, с открывающимися с него роскошными планами и видами. Христофор сказал, что старый продали китайцам. И еще, что под Амуром есть тоннель — и полтоннеля под проливом до Сахалина, выкопанные при Сталине.

СУББОТА

В пути без особых проблем я дважды вымыл голову и побрился, принося в термосе горячую воду и разводя ее в чашке. Увидев меня выходящим из туалета после «купания», Зинаида Андреевна озадачилась: «Вы что же, голову помыли?!» Отпираться не приходилось — мокрое полотенце висело на шее уликой. Она с сомнением покачала головой, будто что-то прикидывая про себя: «У вас волос немного, у меня побольше будет».

Проводницы

Марье Михайловне и Зинаиде Андреевне лет по пятьдесят с небольшим. Марья Михайловна на этом маршруте с 1968 года, Зинаида Андреевна поменьше. Обе они, как и большинство проводников их депо, из Подмоскovie — москвичей среди людей этой профессии встретить трудно. Во Владивостоке поезд № 2 стоит 12 часов, за которые надо успеть прибрать вагон, исполнить все бумажные формальности, самим помыться, выскочить в город за покупками, перекусить, встретить пассажиров — и назад в Москву. Итого две недели в пути, после чего ровно столько же они будут отдыхать. И опять в путь. За рейс каждая из них получает от 50 до 60 долларов (естественно, в рублях). Но у них есть работа, которую они знают и к которой привыкли. Пребывание в движении создает иллюзию приключения. У обеих сохранились отчасти девчоночьи повадки, за эти годы они научились сами себя веселить в дороге, кому как не им знать, что такое рутина. И в конце концов дорога всегда дает возможность подзаработать. Надеюсь, что она бывает благосклонна и к этим двум немолодым женщинам, которых иностранцы опознают иногда по фотографиям в своих географических журналах.

Золотое руно

Субботы я ждал давно. Христофор пообещал мне, что на одном из перегонов между Могочей и Ерофеем Павловичем (по имени первопроходца Е. П. Хабарова) я смогу проехаться с машинистами в электровозе. В Могоче меняли локомотив. Прибыл встречный поезд «Владивосток—Москва», но состоящий весь только из почтовых и багажных вагонов. От некоторых из них нестерпимо пахло клубникой — можно было задохнуться от этого запаха! Пассажиры разволновались.

Двери нашего вагона-ресторана обступила толпа местных женщин. Женщины запасались водкой для своих непутевых мужей (или на продажу) по цене меньше доллара бутылка — в полтора раза дешевле, чем в поселке, хотя и ту всю выпивают. Разбирают с зарплаты ящиками, чтоб не бегать.

Навстречу мне шел Христофор с известием, что машинисты будут ждать меня в Амазаре, откуда я смогу проехать с ними двухчасовой перегон до Ерофея Павловича. Поскольку уже дали зеленый свет, я сел с Христофором в первый попавшийся вагон и задержался в ближайшем курительном тамбуре, чтоб поглазеть в окно и выкурить сигарету. Здесь я и познакомился с демобилизованным офицером из Мурманска, который сопровождал мать к родственникам в Благовещенск. Они собирались сойти в Белогорске. Поезд шел по берегу речки, на которой неожиданно я впервые увидел плавучую драгу, моющую золото. Она черпала породу со дна, и все течение вниз по реке было сплошная муть. Тридцатилетний Борис уже бывал здесь и рассказал мне, что местные жители очень не любят золотарей, как их здесь зовут. Рыба исчезает в тех реках, где они моют золото. По инструкции они обязаны огораживать участки реки и делать отстойники для осаждения мути, но поди заставь их. Он рассказал мне удивительную историю — как намывают золото его родственники, благовещенские врачи, поправляя таким образом свои финансовые дела (положение бюджетников в регионах всем известно). Они — местные жители не в первом поколении — воспользовались дедовским способом. Большинство притоков Амура в этом районе несут золото, и девять десятых его находится в столь мелкой взвеси, что никакими драгами и лотками его не уловить (вот откуда этот едва заметный отблеск прозрачной речной воды!). Так вот, зная места и ручьи, родственники берут овечьи шкуры (козьи не подходят, золото не будет задерживаться в них — нужны завитки) и осенью укладывают их на дно ручьев, пригрузив камнями. Надо еще знать, куда класть. Стремнина не годится, надо понимать ручей: положишь ты шкуру передлучиной или за ней? на каком расстоянии? — от этого будет зависеть «улов». Зимой шкуры лежат подо льдом и напитываются золотом. Весной, как только сойдет лед, остается вытащить отяжелевшие шкуры и, просушив, сжечь на листе жести. Так работает «золотое руно» на притоках Амура в наши дни. Мне очень хочется верить этой истории, услышанной в курительном тамбуре одного из вагонов поезда № 2.

Я пригласил бывшего офицера к себе в купе и угостил кофе с коньяком. В советское время их семья жила в Алма-Ате. С распадом империи родительская семья развалилась. Отец, который занимал крупную воинскую должность, категорически отказался служить новому государству и, выйдя в отставку, переехал жить в один из волжских городов. Еще в Алма-Ате мать рассталась с ним, уйдя из дому «в одной песчовой шубке», и переехала к сыну в Мурманск. Там же после института оказалась и его сестра, ихтиолог, превосходящая владеющая английским и нашедшая работу в фирме. Не прошло и полугодя, как сестра получила шведский грант и отправилась в

кругосветное плавание со шведскими океанологами. В данный момент она изучает экологию на Большом барьерном рифе и ожидает получения вида на жительство в Австралии. Тогда они с матерью поедут к ней в гости. Из армии Борис демобилизовался через два года после окончания военного училища. Занимался коммерцией. Сейчас временно не работает.

Пролетело незаметно два часа, и мне пришлось распрощаться с Борисом, поскольку поезд уже втягивался на станцию Амазар.

Машинисты

Мне всегда казалось, что машинисты сидят очень высоко и их кабина буквально нависает над дорогой. Но это иллюзия, проистекающая оттого, что к ним в кабину приходится вскарабкаться.

Их было двое, машинист Вилисов и его помощник Шульгин — один постарше, второй помоложе. Оба живут в Ерофее Павловиче и работают в местном локомотивном депо, обслуживающем пассажирские поезда (вождение товарных составов не требует высокой квалификации — оттого они и дергаются так, что и на ногах не устоишь). Вилисов — коренной житель, степенный, ответственный и приветливый человек. Шульгин переехал с «запада», как он говорит, с Алтая, где захирел леспромхоз, в котором они с женой работали, — она у него медик. Жена же Вилисова, как и он, работает на железной дороге, и их сын также работает машинистом где-то в угольном разрезе под Благовещенском, и отец Вилисова был железнодорожником, хоть и не машинистом.

У машиниста зарплата — пять тысяч рублей (после «дефолта» — немногим более двухсот долларов), у помощника вдвое меньше. Но это со всеми «накрутками», северными и прочими надбавками — да еще на какой трассе! В Москве же без всяких надбавок у машиниста такая же зарплата, а дороги не сравнить.

Я понял, что имеется в виду, когда мы стали выбираться со станции то ли ползком, то ли на цыпочках. Состояние этого слабонаселенного участка Забайкальской дороги, как они меня уверили, худшее на всей трассе. Мало того что участок сложный, близкая к критической кривизна поворотов — поезд пробирается между сопками, соединяющимися в сплошные «увалы», где путь часто приходилось прорубать в скальной породе, — в низинах тоже не лучше — «мари», болота, под которыми вечная мерзлота.

За «гольцами», сопками, на которых не тает снег, — уже Якутия. Здесь и названий много от якутов, вот, например, река Чичатка. А столбы, видите, покосились? Их поставили на вечную мерзлоту — она уже на метровой глубине. По-хорошему им бы дать постоять год, просесть, а на них сразу провода повесили — вот они и «поплыли». Потому и нормальных автомобильных дорог между Читинской и Амурской областью практически нет, проехать только зимой можно, по «зимнику», да и то гляди в оба, чтоб не сбиться и не заехать по следу куда-нибудь в тупик к золотарям. (Мне вспомнился киевский приятель, попытавшийся автостопом проехать до Владивостока — его изумление, когда за Читой он узнал, что дальше дороги нет.)

Машинисты разъяснили мне назначение тех шпалгалок, что зовутся «предупреждениями» и прикреплены магнитами перед каждым из них. Суть их такова: по дорогам страны постоянно колесят прицепляемые к поездам измерительные вагоны-лаборатории, которые ведут диагностику состояния рельсовых путей и полотна; есть еще в каждом депо дефектоскопы, установленные на дрезинах. На основании собранных сведений производится анализ состояния дороги, и диспетчер движения, который осуществляет контроль за прохождением составов и поддерживает радиосвязь с машинистами, каждый раз выдает им перед рейсом «предупреждение», ограничивающее скорость движения на определенных участках дороги.

«Предупреждения», выданные моим машинистам, были предельными и испещренными пометками: от Могочи до Ерофея Павловича в течение четырех часов скорость менялась десятки раз в диапазоне от 15 километров в час до 75-ти. От машинистов два часа спустя я ушел взмокший, будто это я вел состав и должен был выполнять то, что диктовало «предупреждение»: вползать на пригорки, притормаживать перед мостами, следить за светофорами, переговариваться с диспетчером и станцией, а еще вместе с Шульгиным отлучаться в машинное отделение электровоза щупать и снимать показания с замасленных электродвигателей, от которых шли такой жар и духота, что у меня и мысли не было последовать за помощником машиниста. Мне нравилась лишь одна из его функций: фистулой или басом приветствовать гудком все встречные поезда, точнее, их машинистов, а также всех станционных смотрителей и стрелочников на разъездах и полустанках, а то и просто добрых знакомых.

На самом видном месте выведена была надпись: «Машинист, помни, что пропущенный знак — это преступление». Без восклицательного знака.

Каждый из них, чтоб заработать оклад, должен ежемесячно проводить в дороге в среднем около 160 часов (столько же приблизительно времени занимает мой путь от Москвы до Владивостока). Вилисов водит поезда уже тридцать лет, Шульгин у него в помощниках пятый год. В советское время Вилисов получал пятьсот—шестьсот рублей и жил, по его выражению, припеваючи, — мать могла еще и откладывать на черный день. Родителей уже нет на свете, и лето он проводит в их домике. Если уродятся грибы и ягоды, припасов можно наделать на целый год. Потому что вырасти успевают в этом краю только капуста и картошка. К тому же снабжение не ахти, да и работа далеко от себя не отпускает. В советское время они с женой съездили раз в Сочи, а больше не ездили — одна дорога туда-обратно занимает две недели. Еще машинисты посетовали, что рыба ушла из их речек — недалеко от Ерофея Павловича золотари золото моют который год, а на Чичатке, когда старую плотину унесла большая вода, новую — хоть это давно уж было — сделали без шлюзов для рыбы. Таймень с хариусом побились об нее пару лет, повыпрыгивали — и ушли в Амур, теперь одна мелочь осталась. Ну зверь еще иногда выходит, а кедр нет — он не везде растет. (Наш поезд большую часть пути на этом перегоне сопровождали ястребы.)

О красотах говорить не буду — дорога в меру живописна, к тому ж увидена была мной в непривычном ракурсе. На мой вкус было бы лучше, если б машинисты сидели повыше.

Улучив минуту, я задал Володе Шульгину, расположенному ко мне, дурацкий вопрос, который с детских лет меня занимал (а кому его задавать? Не Христофору же — представляю, какое у него составилось бы мнение обо мне!). Я спросил, не знает ли он, куда деваются экскременты из поездных туалетов — ведь не на атомы же они разбиваются под проходящими поездами? И не железнодорожники же прибирают его с полотна? Володя разрешил мое недоумение длиной почти в жизнь.

Оказывается, что не разлетается вдребезги, то подъедают вороны, эти чайки железных дорог, — такая экология по-русски. Да, о воронах я лучше думал.

Еще Володя мне сообщил, что порубка, которая ведется вдоль пути, — это расчистка места для ВОЛС, подвесной волоконно-оптической линии связи в пять тысяч жил между Владивостоком и Москвой, — связисты теперь, мол, вздохнут, что не надо больше землю копать при каждой поломке.

В Ерофее Павловиче я попросился с ними и полпелся вдоль состава в свой вагон. Виктор Николаевич с Володей остались дожидаться бригады сменщиков. А в вагоне уже прикидывали: не отстал ли я от поезда в Амазаре? Не знаю, утешил я или разочаровал своих попутчиков. Потому что все они едва не поперхнулись от зависти, когда узнали, что я прокатился с машинистами. Да к тому же подселать ко мне попутчиков перестали, еду в купе один, прохлаждаюсь, а они все по двое, даже генералы. Конечно, мне хорошо — а им обидно.

Виктор и его вагон-ресторан

Вагон-ресторан — брюхо поезда, аналогичное по своему центральному местоположению и роли рыночной площади в средневековых городах.

Виктор, пожалуй, самый занятный персонаж нашего железнодорожного передвижного театра. Все остальные работают или служат — он здесь живет, то есть осуществляется вполне, как осуществляются люди в спорте или чем-то еще. Этот мир — его мир. Он арендует вагон-ресторан и вносит за него в кассу железной дороги ежемесячно двадцать тысяч рублей (сейчас это чуть более восьмисот долларов), он же набирает обслуживающую бригаду. С ним уже лет пять работает повар Андрей (в тельняшке, как и подобает коку), мастерски готовящий борщ и, в общем, вполне сносно все остальное. А также официантка Светлана, бухгалтер, которая ведет всю отчетность, буфетчик, торгующий вразнос, и судомойка. На одних обедах необходимую прибыль не сделаешь, так чтоб и аренду заплатить и все остались довольны. Очередей нынче в ресторан, как в былые времена, нет, хоть Виктор и старается держать низкие цены, чтоб за доллар-полтора человек мог съесть полный обед. Поэтому у ресторана есть еще лицензия на торговлю, что является благом для самых позабытых богом участков магистрали, куда по ценам существенно ниже, чем у местных торговцев, попадают тушенка, сгущенка, молоко, йогурты, конфеты и проч. Он выполняет заказы, имеет оптовых поставщиков в Москве и поддерживает разнообразнейшие хозяйственные и личные связи на трассе, рассылает по пути следования телеграммы — когда того требует дело. Его знают все, и он всех знает. На станциях он

дважды обегает перрон, кося на ходу и постоянно отвлекаясь,— флиртует со знакомыми торговками, что-то пробует, делает стойку на все женские попки, переговаривается с проводниками и транспортными милиционерами, перелазит на соседний путь, где остановился поезд, в котором также у него обнаруживаются знакомые. Что называется, человек ловит кайф.

Его хлеб дается ему нелегко. Из шести тонн груза, которые дозволено перевезти по инструкции, надо вычесть тонну воды и полтонны солярки для кухни, все припасов, которые будут съедены и выпиты в пути, а оставшийся резерв загрузить тем, в чем действительно нуждаются люди на трассе и что способно приносить оптимальный доход,— он знает, что брать следует не дороговизной, а оборотом. Мы не очень отдаем себе отчет, до какой степени товары имеют еще и символическое значение,— ведь человеку всегда хочется чего-то такого, чего здесь на месте недостает или что является редкостью и связывает нас с большим миром и другой жизнью.

Мы сидим с ним за столиком. От роскошных иконостасов из коробок различных шоколадных конфет осталось одно воспоминание. Салат из свежих овощей, от которого я так неразумно отказывался в первые дни, закончился. Я съедаю горячий рассольник, и мы выпиваем с Виктором по несколько рюмок. Как я и предполагал, он женат уже без малого двадцать лет. Любит разведенную дочку, а еще больше внучку. Сын ткачихи и грузчика, он ездит на черной «Волге». В 1968 году был призван в армию и участвовал в оказании «интернациональной помощи» Чехословакии. Вступление в партию не уберегло его от тюрьмы. Ему очень нравится жить в большой стране, где все есть — и осётр ловится, и персики растут. Надо только порядок навести, и он знает как. Сначала опустить «железный занавес» и на два года ввести карточки. Первым делом запустить заводы — пусть производят, что умеют, сами же будем это потреблять. Что делать, если мы оказались, по его словам, рабами и не умеем иначе? А сделает все это армия, доведенная до крайности. Через два года карточки отменяются — и тогда заживем. А чего нам надо? Мы ж обыватели.

Эта, с позволения сказать, «теория» находится в таком контрасте с его собственной жизненной практикой, что это меня даже развеселило. Я выпиваю на посошок и отправляюсь спать.

За соседним столиком какой-то неприкаянного вида парнишка ни свет ни заря накачивается шампанским.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

О многом можно было бы еще рассказать. О том, что проносющийся встречный поезд бывает похож на слайдовую фото пленку, на которой отснято — в зазорах между вагонами — 36 смазанных кадров заката. О том, как ночью в незашторенном окне протягивается над головой звездное небо, напоминающее светящийся планктон. Как в гулкой тишине поскрипывает, похрустывает суставами и вздыхает спящий поезд на стоянках. Как ночью в вагонном коридоре «браток» стрельнул сигарету, всучив взамен карамельку,— совсем не исключено, что это он прихватил, сходя, электрические часы, висевшие над расписанием. Утром их не оказалось, что очень огорчило Марию Михайловну с Зинаидой Андреевной. И как тот паренек, что дорвался до шампанского, пытался всем подарить купленный им букетик ландышей: «Сто рублей отдал за букетик — и никто не хочет. Вот я какой прокаженный!» А еще о лугах, поросших знакомыми мне с детства оранжевыми лилиями и кобальтово-синим дроком,— составленные из них букетики продавались на всех станциях, начиная с Еврейской АО, похожей на сад, где, заинтригованный, как ни старался, я не смог наблюсти из окна никого похожего на еврея. И как меня уже едва не рвало от тысяч километров пегих берез. И как на вокзале в Уссурийске из нашего поезда вынесли на носилках старуху. Все боялись, что она умерла, но старуха была скорее жива, чем мертва, ее сопровождала многочисленная родня с кучей нагруженных сумок и не очень уместными букетами цветов. Все они вместе со старухой на носилках погрузились в подогнанный микроавтобус и укатили.

Но вот нечто, о чем рассказать стоит.

Иностранцы

В поезде из любопытства я свел знакомство с двумя путешествующими иностранцами. Говорят, в начале 90-х в поезд почти обязательно садилась группа иностранных туристов. К концу 90-х остались — от случая к случаю — съемочные группы и разрозненные чудаки.

Дело в том, что Транссибирская магистраль — это также миф, имеющий свою историю не только в России (от Хабарова и Чехова до, прости господи, Твардовского). За ее постройкой следили во всем мире, как до того за строительством Суэцкого и Панамского каналов, а позднее — «Титаника». Есть в Транссибе нечто поражающее воображение и волнующее, затрагивающее какие-то иррациональные центры в нашем сознании, возможно, эротического свойства. Не случайно Лев Толстой не дал своей Анне Карениной яду, как Флобер Эмме, а уложил ее под поезд. Будущий великий кинорежиссер Бунюэль семи лет от роду сочинил сказку о путешествии по Транссибу. Друг Аполлинера и Модильяни Блэз Сандрар в 1913 году написал поэму о Транссибирском экспрессе, впечатавшуюся в сознание многих поколений авангардистов. Вот как он описывает свое путешествие по Сибири в разгар русско-японской войны: «Их поезд отправлялся каждую пятницу утром./ Говорили, что много убитых./ У одного из купцов сто ящиков было/ с будильниками и со стенными часами./ Другой вез шляпы в коробках, цилиндры, английские штопоры разных размеров./ Вез третий из Мальмё гробы, в которых/ консервы хранились./ И ехали женщины, было их много/ Женщин, чье лоно сдавалось внаем и могло бы/ стать гробом./ У каждой был желтый билет./ Говорили, что много убитых./ Эти женщины ездили по железной дороге/ со скидкой./ Хотя имелся счет в банке у каждой из них». Сам юный Сандрар был нанят русским купцом доставить в Харбин тридцать четыре ларца с немецкими ювелирными изделиями, на которых он спал в пути с никелированным браунингом в руке. По его следам многие западные поэты и художники ездили уже в 70-е годы. Так, американский поэт из поколения «битников» Ферлингетти взялся пить в дороге с русскими и был вынесен где-то на полпути из поезда с сердечным приступом. Тогда же один честолюбивый немецкий художник проехал до Владивостока в купе с заклеенным черной бумагой окном, пищу ему подавали в дверь, не знаю, выносили ли горшок. Изолированный от внешнего мира, он вел всю дорогу дневник. Выйдя во Владивостоке, он сжег его, сам себя сфотографировал за этим занятием и фотографии выставил на престижной выставке «Документа» в Касселе в качестве своего отчета о путешествии в Транссибирском экспрессе. Вероятно, он отгалкивался от строчки Сандрара о том, что путешествовать следует с закрытыми глазами. Транссиб притягивает к себе слегка чокнутых. Хотя, правду говоря, и я готов был на шестой день заклеить окно черной бумагой и проспять, если бы сумел, до Владивостока.

Мои иностранцы оказались на удивление смиренными. В ресторан они не ходили и вообще опасались есть в дороге, тем более пить. Ни тот, ни другой совершенно не говорили по-русски. С первым я познакомился сам на одной из станций, он оказался архитектором-реставратором из Амстердама, женатым, но подарившим себе к 50-летию пятинедельную «кругосветку»: после трех дней в Москве проезд во Владивосток с остановками в Тюмени, Иркутске и Хабаровске (мудрое решение для путешественников, не мыслящих себе жизни без ежедневного душа, — но за один этот проезд по России с остановками голландская туристическая фирма слупила с него две с половиной тысячи долларов, отправив его при этом даже не в СВ, а в купейном вагоне!). Из Владивостока ему предстояло перелететь в Анкөридж и далее по Канадской железке (которая вдвое короче маршрута поезда № 2) добраться до Торонто, откуда на теплоходе вернуться в Амстердам. В Тюмени он чем-то отравился и стал вдвойне осторожен. Там же он распрощался с двумя соотечественниками, направившимися в Пекин. С собой у него имелась баклага с купленным еще на родине сухим вином, а также кофе и вода — этим ограничивался его поездной рацион. Он делал какие-то записи в дорожной записной книжке большого формата, тасовал географические карты, показал мне толстенный голландский путеводитель по Аляске и Канаде со сделанными им закладками. Затем, отвлекшись, восхищенно указал рукой на закат за окном. Ему не с кем было в поезде перемолвиться словом, и все же он не вполне доверял мне, не понимая: чего мне от него надо? Да ничего не надо — просто, может, для полноты картины мне не доставало какой-то краски или цветной тени. Второго, английского строителя из Дорчестера, привел ко мне проводник его вагона, прослышав о моих способностях к языкам. Он не мог втолковать своему пассажиру, что ему необходимо будет обратиться к британскому консулу во Владивостоке, поскольку истекает срок его визы. Англичанин отказался от мысли о поездке в Японию, куда его звали с собой приятели, и собирался возвращаться назад этим же поездом. С него турфирма за проезд в один конец, также в купейном вагоне, содрала 420 фунтов стерлингов. На него произвело впечатление мое купе, он спросил: «Это вагон первого класса?» Как и голландец, он избегал ресторана. Где-то в Забайкалье я видел, как он покупал пучок зеленого лука, объясняясь с продавцом на пальцах. Он осторожно поинтересовался, что я думаю о состоянии поездных туалетов.

Ему было на вид лет сорок пять — пятьдесят, он никогда не был женат и был совершенно равнодушен к футболу. Он показался мне симпатичным, хотя я не очень понимал его слитное произношение — с носителями языка всегда труднее общаться. Мы попили с ним пакетикового чая (бедный англичанин!), и он вернулся в свой вагон. Во Владивостоке он вышел с рюкзаком и спальником на плечах.

ПОНЕДЕЛЬНИК. ВЛАДИВОСТОК

Как это правильно, когда железная дорога обрывается у моря! Вокзал и порт во Владивостоке соединены коротким пешеходным мостиком. Вокзал — близнец Ярославского в Москве, постройки 1910 года, недавно отреставрирован (уж не китайцами ли?). Город поставлен привольно и грамотно, замечательно вписан в рельеф. Вообще сочетание моря и сопок само по себе вдохновляет. Еще меня поразили целые улицы, застроенные в начале века зданиями в стиле очень качественного модерна. По замыслу это город открытый, город большого стиля, переживающий нелегкие времена, но не павший духом (я сужу по горожанам). То есть симптомы упадка, деградации, и подъема, процветания, образуют в нем химерически прятный букет. В нем отсутствует континентальная злость.

Я объедался здесь на набережной медведками — похожими на личинок морских раками, запивал бочковым пивом копченых кальмаров, пересекал на пароме бухту Золотой Рог, карабкался по крутым улочкам, мочил ночью ноги в прибое бухты Амурский залив, утром меня разбудили чайки. Меня отвезли в аэропорт в 60 километрах от города, где ИЛ-62 возвратил мне потерянные мной семь часов — вернул, как стол находок. Я чувствовал себя пружинной рулеткой, ленту которой вытянули сперва на всю длину, до упора, и затем отпустили. Не вполне по своей воле, но я совершил географическое паломничество, о котором, наверное, не может не мечтать всякий, кто живет в России.



Н о я б р ь

1.11.1955

В СССР опять разрешены аборты. Это значило, что людские потери, понесенные во время страшной войны, начали компенсироваться.

2.11.1950

Скончался Бернард Шоу, фрондер, демонстративный социалист, пошлый шутник и очень сомнительных талантов драматург, лауреат Нобелевской премии. Скончался, прожив долгую жизнь и досуществовав до глубокой старости. В знак траура по нему на некоторое время в театрах всего мира были притушены огни. Лишнее свидетельство того, что гистрионы, комедианты не имеют национальности, не признают границ. Они, как цыгане, пусть раздрают их мелкие разногласия и взаимная неприязнь, составляют единое целое — народ, государство ли, племя (трудно подобрать определение этой несомненной общности).

3.11.1927

Открыт Дом ленинградской кооперации. Прежде в том же здании располагался торговый дом Гвардейского экономического общества. Но, как очень точно отметил А. Платонов, символика, рожденные прежним и новым обществом, не совпадали полностью. «Плакаты были разные. Один плакат перемалевали из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змия, воюя на адовом дне. К Георгию приделали голову Троицкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуа; кресты же на ризе Георгия Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая — и из-под звезд виднелись опять-таки кресты», — сказано не без остроты в повести «Сокровенный человек». Нечто подобное произошло и на сей раз: успехи Дома ленинградской кооперации ни в какое сравнение не шли с успехами дореволюционного торгового общества.

4.11.1986

Подписано постановление о возбуждении уголовного дела в отношении М. С. Горбачева. Причина — признание независимости прибалтийских республик. Выдвинутое обвинение — измена родине. Если бы этому уголовному делу был дан надлежащий ход, история России сложилась бы иначе. Но в отличие от утопических и антиутопических романов история не ведает сослагательного наклонения. Слово «если» вообще в русском сознании окружено некоторой уничтожительностью: «Если бы да кабы, во рту росли бы бобы. Был бы не рот, а целый огород». Оно и приятно — ни пахать, ни сеять, ни убирать, даже ко рту тянуться не надо, только глотай, однако остается лишь печально вздохнуть: так не бывает. И потому слово «если» имеет в русском языке оттенок размягченности, ненужной мечтательности. Зато в языке английском короткое слово «if» стало в прямом смысле руководством к действию, жизненной программой. И потому, когда стихотворение Р. Кипплинга переводил М. Лозинский, он дал ему новое название — «Заповедь».

Умей мечтать, не став рабом
мечтанья,
И мыслить, мысли не обожевив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздать с
основ...

Но сослагательного наклонения не имеет даже русская история.

5.11.1930

Синклер Льюис начал передразнивать человека, позвонившего ему и сказавшего, что мистеру Льюису присуждена Нобелевская премия по литературе. Льюис не поверил и отреагировал на услышанные слова совершенно правильно.

6.11.1957

На Марсовом поле в Ленинграде зажжен первый в стране Вечный огонь.

7.11.1917

Совершилась самая знаменитая, самая противоречивая и на данный момент пока последняя русская революция.

8.11.1920

На площади перед Зимним дворцом поставлено массовое действо, посвященное трехлетию русской революции. Любопытно, что главным режиссером нового «Взятия Зимнего» (так называлась постановка) был Н. Н. Евреинов, а участвовало в ней около шести тысяч человек. Своеобразный «театр для себя».

9.11.1911

Запатентована неоновая реклама.

10.11.1975

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН сионизм приравнен к расизму. Через какое-то время были обнаружены различия и резолюцию отменили.

11.11.1952

Компанией «Бинг Кросби Энтерпрайзес» продемонстрирован первый видеоманитофон. Никто даже в шутку не мог предположить, какие перемены в сознании человека произведет это — достаточно скромное — изобретение.

12.11.1942

Фармацевтическая фирма «Байер» запатентовала один из самых распространенных ныне химических материалов — полиуретан, который применяется едва ли не во всех областях производства.

13.11.1989

При слушании дел о преступлениях, за которые грозит смертная казнь, в России снова введен суд присяжных. Это хорошо забытое старое нововведение несколько не повлияло на общественную атмосферу. Притом вряд ли кто-то обратил внимание, что высказан самый серьезный аргумент в процессе десакрализации русской литературы. Ведь принято считать, что именно она, литература, определяет общественное сознание в России, является универсальным культурным языком, внятным всем. Но выяснилось, что великие произведения попросту не читают. Не читают даже те, кто выступает за гуманность, смягчение нравов, изменение сложившихся культурных институтов. Прочитай они роман Л. Н. Толстого «Воскресение», ну хотя бы по хрестоматии, где чувственные описания чуть-чуть косых глаз Катюши Масловой опущены, а оставлены только сцены, имеющие социальную направленность, например, сцена судебного разбирательства, может быть, они задумались бы перед тем, как возродить суд присяжных. Но они не читатели, они законотворцы.

14.11.1940

Город Ковентри разрушен немецкими бомбардировщиками, погибло несколько сотен жителей. Хотя о том, что бомбардировка будет предпринята, знал Черчилль, он в конце концов решил скрыть от немцев тот факт, что к немецким военным кодам подобран ключ. Пример большой политики и положения в ней частного человека, какую бы ступень в общественной иерархии он ни занимал.

15.11.1901

Запатентован электрический слуховой аппарат. Он ни в коей мере не походил на знакомый всем переносной слуховой аппарат, появившийся много позднее. Эта почти бесполезная выдумка наглядно демонстрировала: современный человек привязан к технике до такой степени, что является практически частью ее, малозначащей деталью.

16.11.1941

28 панфиловцев остановили 50 немецких танков. Реальный подвиг тут же подвергся мифологизации. По законам нового мифа все герои должны погибнуть.

Так и утверждали долгое время, пока не стало известно, что в живых остались пять человек. Миф, однако, не рухнул, он тут же принял иные формы, потому что мифы пластичны.

17.11.1988

Рукопись романа Кафки «Процесс» была продана на аукционе «Сотбис» в Лондоне за один миллион фунтов стерлингов. В такую сумму никогда не оценивался ни один текст, принадлежащий современному писателю.

18.11.1928

На экране кинотеатра возник новый герой — Микки Маус. Скоро он займет одно из центральных мест в пантеоне века.

19.11.1919

Открыт ДИСК, знаменитый Дом искусств, описанный как в мемуарах, так и в художественной литературе. Здесь всегда будет блуждать по лестницам тень О. Мандельштама, на холодной кухонной плите сидеть тень А. Волынского, а на кровати в одной из узких комнаток лежать тень М. Слонимского, вокруг которой сидят и стоят тени прочих «серапионов» — Вс. Иванова, М. Зощенко, Н. Тихонова и К. Федина. А на маленькой сцене всегда будет вести представление тень молодого, еще очень худого Е. Шварца. Этот дом, который, к счастью, существует, хотя и переменял назначение, — вечный памятник советской литературе. Впрочем, почему переменял назначение? Тут теперь кинотеатр и по экрану так же бродят обитатели страны теней.

20.11.1910

Умер Лев Толстой, чья предсмертная болезнь, сама смерть и похороны были превращены в зрелище журналистами и даже кинематографистами. Страшная атмосфера прилюдности, публичности стала расплатой за все толстовские ошибки. Ожидать посмертного суда не пришлось.

21.11.1991

Покончила с собой Юлия Друнина. Смерть ее стала приговором себе и эпохе, следствием сознательного и хорошо обдуманного выбора. Этот единственный шаг из автора средних стихов сделал ее одной из самых трагических фигур нашей истории.

22.11.1961

Началась рекламная кампания, ставившая целью создать звездный имидж Шону Коннери, которому предстояло сыграть роль Джеймса Бонда в первом фильме о похождениях агента 007. Актер, обладавший обаянием, смешанным с высокой иронией, сделал из фильма абсолютное зрелище. Все другие актеры, исполнявшие роль супершпиона, попросту плохи, потому что серьезны.

23.11.1988

Чемпион по борьбе сумо Кионофуджи стал пятым борцом за всю историю сумо, который выиграл пятьдесят встреч подряд. Чтобы имя его не позабылось потомками, оно будет выгравировано на кенотафе.

24.11.1947

Несколько голливудских сценаристов и продюсеров приговорены к штрафам и тюремному заключению за то, что они отказались давать показания в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Оказывается, давлению подвергались не только советские деятели культуры.

25.11.1970

Совершил харакири протеста японский писатель Юкио Мисима. Но ни книги его, ни жизнь, ни самый последний поступок ничего не изменили в мире. Собственно, против такого положения вещей и протестовал Мисима.

26.11.1966

Президент де Голль открыл первую в мире приливную электростанцию. Техника и природа пытались вступить в симбиоз.

27.11.1987

Молодой англичанин пытался семь раз покончить с собой после ссоры со своей подругой. Он бросался под четыре легковые машины, прыгал под колеса грузовика, пробовал повеситься, а также выпрыгнуть из окна. Подлинными жертвами стали водитель одной из машин, у которого случился сердечный приступ, полицейский, повредивший себе спину, когда старался откатать влюбленного, а также доктор, которого самоубийца ударил в лицо, когда его доставили в госпиталь.

28.11.1924

Череп ребенка из Африки идентифицирован профессором Реймондом Дартом, австралийским антропологом, как «южноафриканская обезьяна, имеющая такие размеры мозга, что она может обладать разумом, аналогичным человеческому». И таким образом было восстановлено эволюционное звено между обезьяной и человеком, существование которого предсказал Дарвин.

29.11.1914

Русские войска начали наступление в Карпатах. Замечательный поэт Игорь Северянин тут же откликнулся на это стихами:

Карпаты — дело плёвое,—
Нам взять их не хитро,
Когда у нас здоровое
Рассейское нутро...

Ходите, ноги резвые,
Дыши вольготней, грудь!
Мы — хлебные, мы — трезвые,
Осилим как-нибудь!

Стихи постигла участь всех агитационных стихов. К ним не прислушались, и наступление вскоре захлебнулось.

30.11.1939

Началась война с Финляндией, война, которая обошлась советскому государству едва ли не дороже, чем уничтожение высшего и среднего командного состава армии перед самой войной с Германией. Шок от моральных потерь не проходил, пока не прозвучали слова: «Братья и сестры...»



«Бывают странные сближения...»

Наталья МИХАЙЛОВА

«Об Онегине далеко...»

АНГЛИЙСКАЯ КИНОВЕРСИЯ РУССКОГО РОМАНА

«Ты чуть вошел, я вмиг узнала...» Нет, он не вошел, он влетел «в пыли на почтовых» на экран. В морозной пыли. Заснеженные просторы, березы, летящая кибитка, лошади, ямщик. И Онегин — совершенно такой, каким я себе его всегда представляла: странное лицо, притягательное какой-то неуловимой неправильностью черт, глубокими прозрачными глазами, в которых и ум, и тоска...

Так начинается английский фильм «Онегин».

Скажу сразу: мы слышим прозаическую речь вместо пушкинского стиха (впрочем, есть одно исключение, но об этом позже). И вообще сразу обращают на себя внимание странные отступления от пушкинского романа. Татьяна, оказывается, и до приезда Онегина приходила за книгами в имение его дяди, и именно там впервые из окна видит ее Онегин. У Ленского нет черных кудрей до плеч, а у Ольги — золотых локонов. И Татьянин день — почему-то не зимой, а летом. И дуэль — летом. И тетка Татьяна живет не в Москве, а в Петербурге. Но нужно ли продолжать сии перечисления? И еще исторические несоответствия: Ольга и Ленский поют песню «Ой, цветет калина» из советского фильма о колхозной жизни «Кубанские казаки», на балу у Лариных звучит вальс времен русско-японской войны 1903 года «На сопках Маньчжурии». Одним словом, «противоречий очень много». Но ведь их было много и в романе, и это сознавал его автор:

Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.

Наверное, для нас важнее другое: попытаться постигнуть художественный смысл этих и иных противоречий. Увидеть то главное, что есть в фильме, как есть и в романе. И понять, почему фильм так захватывает зрителя (во всяком случае, меня), что сразу же начинаешь сопереживать его пушкинским (да, пушкинским!) героям и отчаянно надеяться, что, может быть, счастье для них все-таки возможно, хотя все знаешь наперед. Конечно, здесь нет «энциклопедии русской жизни», которую увидел в «Евгении Онегине» Белинский. Нет «воздушной громады» пушкинской поэзии, которая заставляла обо всем забывать Анну Ахматову. Но в фильме есть «энциклопедия чувств»: любовь и ненависть, дружба и вражда, доброта и злоба, вера и неверие. Есть страстное желание в страшном мире обрести вечные ценности, живую душу. Быть может, ради этого и был в конечном счете написан пушкинский стихотворный роман (хотя «цель поэзии — поэзия», но ведь и поэзия — прежде всего душа). И обо всем этом надо было рассказать другим языком — языком кино. Причем не забудем, что, когда в основе сценария — стихотворный роман, это особенно трудно. Потому что стихотворная форма условна; она позволяет автору опускать некоторые мотивировки поступков, отдельные звенья сюжетной цепи событий, свободно отступать от сюжета, о чем-то важном для дальнейшего развития действия сообщать как бы мимоходом, отказываясь от изображения. Создатели фильма «Онегин» преодолели «сопротивление» литературного произведения, не разрушив его, но воссоздав в иной художественной системе.

«Когда же черт возьмет тебя... Когда же черт возьмет меня...» — эти слова внутреннего монолога Онегина (Рейфа Файнса), который из северной столицы, устав от петербургской жизни, спешит в деревню к умирающему дяде, заставляя

ют вспомнить другой монолог пушкинского героя из «Отрывков из путешествия Онегина»:

Зачем я пулей в грудь не ранен?
 Зачем не хилый я старик,
 Как этот бедный откупщик?
 Зачем, как тульский заседатель,
 Я не лежу в параличе?
 Зачем не чувствую в плече
 Хоть ревматизма? — ах, создатель!
 Я молод, жизнь во мне крепка;
 Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Петербургская жизнь Онегина в фильме «однообразна и пестра». Она показана глазами пресыщенного ею Онегина. Она лишена блеска, радости, очарования, которые виделась Пушкину, писавшему о светском, театральном Петербурге в далекой южной ссылке. Мне кажется, можно говорить о намеренной дестетизации пушкинского текста: вместо «блестательной, полувоздушной» Истоминой — стареющая танцовщица, вместо поэтического мотива ножек — натуралистически обнаженная стопа, вместо желания автора «коснуться милых ног устами» — чувственный жест Онегина: его язык лижет большой палец этой голой (во весь экран) ноги. В воспоминаниях Онегина — коротких кадрах — ничтожность и пустота петербургского света. Как в убыстренном немом кино — безликие лица, щебечущие свои приглашения: «Три дома на вечер зовут». И все это — в снежном полете кибитки: Онегин едет в имение к дяде, пытается вырваться из тоски и бессмыслицы своего петербургского существования...

О европеизме Онегина и народности Татьяны много написано и при этом написано много верно. Но когда видишь Онегина — Файнса в безупречном костюме лондонского денди, в боливаре, с тростью в руке поднимающегося по заснеженным ступеням к барскому дому в окружении дворовых мужиков («нашел он полон двор услуги»), то как-то по-иному, не просто понимаешь, а ощущаешь, что и здесь, в русской деревне, в мире русского барства, он будет лишний, глубоко чуждый этому миру человек. (Забавная деталь, по-своему восходящая к пушкинскому тексту: в шкафах у дяди Онегин обнаружил «наливок целый строй»). В фильме один из бородатых мужичков с поклоном протягивает изумленному Онегину бутылочку — видно, так было заведено у покойного дядюшки.)

Усадебная жизнь в фильме, как и в романе, — это и поэзия, и проза. Поэзия — в летней природе: лес, озеро, безмятежная вечная красота. Поэзия — в Татьяне, «милом идеале» автора стихотворного романа. Мы помним о том, что Пушкин не описывает внешность главных героев, он рассказывает об их характерах, свойствах души.

Дика, печальна, молчалива,
 Как лань лесная, боязлива,
 Она в семье своей родной
 Казалась девочкой чужой.

В фильме и старушка Ларина (разумеется, не старушка), и Ольга, и Татьяна чем-то похожи: все темноволосые, стройные. И, наверное, в этом есть свой художественный смысл: дело не во внешнем сходстве. Темноволосая Ольга (Лена Хеди), как и пушкинская Ольга, простодушна, весела, мила и обыкновенна, заурядна. Темноволосая Татьяна (Лив Тайлер) — с большими глазами, большим ртом, трогательно склоненной длинной шеей — «мечтательница нежная», размышляющая о смысле бытия, отважна в любви, необыкновенна, высока и по-своему идеальна. Пожалуй, одна из самых сильных сцен фильма, когда Татьяна — Тайлер пишет письмо Онегину, пишет на полу, перемазавшись чернилами. А потом объяснение в беседке, щемящее искренностью героев, невозможностью, казалось бы, возможного счастья. И здесь Татьяна поняла Онегина, который, как она говорит, проклял сам себя. Татьяна и Онегин в фильме увидены будто бы сквозь призму тургеневской и чеховской традиции угасающих дворянских гнезд. Идеальные барышни и рефлексирующие лишние люди, ситуация русского человека на randevu... Духовно близкие герои не слышат друг друга, каждый говорит о своем... Быть может, духовное одиночество — одна из самых животрепещущих тем в конце XX века. Создатели фильма «Онегин» пытаются с позиций нашего времени постичь ее пушкинское решение.

Поэт Ленский (Тобин Стивенс) в фильме принадлежит все же не поэзии, а прозе. И если у Пушкина равно возможны два варианта судьбы молодого поэта — поэтическая слава или провинциальное прозябание, то в фильме как-то не веришь в веро-

ятность его творческого взлета. Но, конечно же, это не снимает трагедии происшедшего. Дуэль показана в фильме со всеми подробностями: и кровь, и падающее тело, и крик потрясенного Онегина. А как ужасно, когда мертвого Ленского несут на плече и руки его, уже мертвые раскинутые руки, вздрагивают, как крылья мертвой птицы, так и не взмывшей в небеса. И еще: Татьяна, ставшая по воле авторов фильма свидетельницей дуэли, бежит в свой дом, ее немой крик (звука здесь нет), немые рыдания, немой плач матери и Ольги.

Но вернемся к прозе, к усадебному быту. Здесь есть и стряпня Анисьи, и брусничная вода Лариной, и охота, и, конечно же, провинциальный бал. На общем фоне своего рода персонификациями провинциальной среды выступают месье Трике — сластолюбивый, неряшливый француз-гувернер, дуэлянт Зарецкий, «расчетливый сосед». В фильме, как и в романе, есть и юмор, и сатира. Главным же остается история Онегина и Татьяны, история трагической любви.

Петербургские заключительные сцены фильма, как и в начале, — зимние. Те же безликие лица, то же «мертвящее упоенье света». Однообразные механические движения кукольных танцующих пар. Но здесь другой Онегин — измученный, с выстраданной надеждой обрести родную душу в Татьяне — княгине. Онегин влюбленный... Когда он пишет письмо Татьяне, ее письмо у него перед глазами. И за кадром звучат пушкинские стихи — строки писем двух героев. В прозаическую речь врывается гениальная поэзия. И так же, как в романе письма Онегина и Татьяны выделены Пушкиным, так и в фильме их смысл передан единственно возможным не переводимым на прозаический язык пушкинским стихом.

Одна из сцен фильма (ее нет в романе) — катание на коньках на Неве. Онегин — беззащитный, укутанный в какой-то серенький плед, как большой ребенок. Мужественный, красивый, все понимающий молодой генерал — муж Татьяны. И Татьяна в темном платье, с муфтой в руках, в собольей темной шапочке. Она плывет на коньках мимо Онегина, как корабль, как ускользящая мечта, как несбывшаяся надежда...

Поэтика фильма построена на символах, на овеществленных метафорах, на пушкинском принципе зеркальной композиции. В романе день Онегина первой главы соотносится с днем автора «Отрывков из путешествия Онегина», письмо Татьяны находит свое отражение в письме Онегина, проповедь Онегина и ответь Татьяна...

В фильме Ольга и Ленский, как уже поминалось, поют песню «Ой, цветет калина». На эту несообразность много раз указывали рецензенты. Но обратим внимание на контекст, в котором появляется песня. В доме Лариных — впервые Онегин. Звучит музыка. Ольга и Ленский поют:

Ой, цветет калина
В поле у ручья.
Парня молодого
Полюбила я.
Парня полюбила
На свою беду.
Не могу открыться,
Слов я не найду.

Входит Татьяна. Мать представляет ее Онегину. Песня словно предсказывает будущую любовь, в которой Татьяна сможет открыться, предсказывает беду, которую принесет ей эта любовь.

Дворовый мальчик через буреломы, через лес бежит в имение Онегина с письмом Татьяны. А потом в Петербурге другой мальчишка на коньках по льду и снегу петербургских каналов спешит к Татьяне в ее дом-дворец с письмом Онегина. Онегин, «получив посланье Тани», бросает его в камин, но тут же вытаскивает из огня. Татьяна, получив письмо Онегина, бросает его в печь, а потом смотрит на пылающий огонь («сильнее страсть ее горит»). Ольга играет с Ленским в шахматы (все как у Пушкина), а затем, утешившись после его гибели, сидит за шахматной доской с другим женихом. Двигается колесо судьбы — недаром мельница, та самая, возле которой состоится дуэль, столь часто появляется на экране. И если Ленский пел в лесу мотив Шуберта, фальшивя (потому и прерывает его Онегин выстрелом из охотничьего ружья), то когда Онегин, ни на что не надеясь и в то же время надеясь на чудо, идет на последнее свидание к Татьяне-княгине, чистый женский голос поет эту же мелодию.

Последняя встреча Онегина и Татьяны — в белой холодной зале. И белый мраморный холодный Амур — божок любви — безучастно созерцает горячие слезы Та-

тьяны, слышит страстные мольбы Онегина. Последние кадры: Онегин, «для всех чужой», идет по заснеженному холодному Петербургу. Лошадь. Дровни. Гроб. Удаляющаяся фигура пушкинского героя.

Пушкин отдал Онегину, Ленскому, Татьяне часть своей души. Быть может, потому в фильме Онегин иногда похож на Пушкина, особенно в последних петербургских сценах. И, быть может, потому в фильме Онегин окружен книгами, рукописями, альбомами. В фильме есть рисунки Онегина, нет, отнюдь не имитирующие пушкинские рисунки, а скорее созданные в стиле Пушкина — это карикатурные портреты светских и провинциальных знакомых. И еще — замечательный, исполненный тонкого лиризма портрет Татьяны. Мне он напомнил портрет Натальи Николаевны в рукописях «Медного всадника» — тот же нежный овал, глубокие глаза. Вообще же, когда смотришь фильм, возникает ощущение, что он не только об Онегине и Татьяне, но и о Пушкине, о его судьбе.

Некогда Анна Ахматова писала: «И еще в одном мы виноваты перед Пушкиным: мы перестали слышать его живой голос в его божественных стихах». Сегодня можно с удивлением и благодарностью сказать, что англичане — создатели фильма «Онегин» — услышали живой голос русского поэта. «Чего же боле?»

P.S. Эта статья — не рецензия на фильм, мировая премьера которого состоялась в Петербурге и Москве в конце мая — начале июня 1999 года. И все же, вероятно, я должна назвать еще не названные мною имена его создателей: режиссер — Марта Файнс, продюсеры — Рэйф Файнс и Айлин Майзель, сценаристы — Питер Эттедгей и Майкл Игнатъев, оператор — Реми Адефаразин, художник-постановщик — Джим Клей, композитор — Магнус Файнс.



Эпилог и он

●

Олег Павлов. ЯБЛОЧКИ ОТ ТОЛСТОГО. Вольный рассказ. «Дружба народов», 1997, № 10; **Олег Павлов. ЭПИЛОГИЯ.** Вольный рассказ. «Октябрь», 1999, № 1.

●

Думаю, «вольные рассказы» Олега Павлова — лучшее из того, что он когда-либо написал. Вряд ли, впрочем, это суждение кому-нибудь понравится. Поклонники писателя наверняка выше ценят его большие романы, одушевленные национальной идеей и национальной традицией. Там думающий и страдающий герой, психология, тяжело ворочающиеся слова... Проза, как заметил один из его собратьев по перу, «густая, как каша». Для самого писателя, кажется, важнее всего его непримиримая борьба против всей разом современной литературной критики. Противники, которых Олег Павлов нашёл немало (чего стоит одна только уничижительная статья в «Знамени!»), тоже избирают для себя мишень покрупнее да поярче. Во всяком случае, спеша похвалить или поругать Павлова, мало кто обратил внимание и на его «Яблочки от Толстого», и на недавний, с тем же подзаголовком «вольный рассказ» со странноватым названием «Эпилогия».

В этих рассказах действительно вольное дыхание. Кажется, Павлов сбежал ненадолго в самоволку из проклятого своего степного казахстанского полка, из-под чужих белесых небес, из-под вечного своего сапога. Сбежал ненадолго, не насовсем, без оружия. То есть не дезертировал вовсе. Куда, однако же, сбежал? Присмотревшись, понимаешь: к самому себе, писателю Олегу Павлову. Чтобы по-домашнему разобраться со своими писательскими пожитками. Потому что оба рассказа по-разному написаны об одном. О самоосознании себя писателем. О собственном литературном не бытии — быте, о литературных — нет, не соратниках и товарищах по оружию или, наоборот, заклятых врагах — просто о соседях по профессии и поколению.

«Яблочки от Толстого» — добросове-

стное неспешное повествование о писательских встречах в Ясной Поляне, совсем не парадной их стороне. В финале рассказчик хрустит яснополянскими яблочками и охотно ими всех угощает, раздает знакомым. Но яблочки от Толстого — еще, конечно, и его, Толстого, наследники, писатели. Яблочко от яблони — далеко ли падает? Вы, нынешние, ну-тка?

Получается, яблочки падают довольно далеко. Как-то очень буднично живут, оказывается, инженеры человеческих душ, никакого величия — речи проносятся вяловатые, важностью момента явно не проникаются. Где они, Великие Писатели Земли Русской? Автор рассказывает о скучноватом ожидании бесхозного автобуса, о заключительном банкете и просто дежурных выпивках, как-то с ленцой описывает промежутки между литературными мероприятиями, дает мимолетные портреты братьев-писателей. Реальных — А. Битов, Д. Балашов, Р. Киреев, А. Уткин...

Здесь важны угол зрения и сама интонация рассказывания. Точка зрения повествователя — подчеркнуто нелитературная, повседневная. Как будто с какими-то даже помехами: то он не разглядит чего-то, то юбилейную речь не расслышит. Такой вот, сугубо бытовой, будничный взгляд на вещи и людей, неразличение большого и малого, великого и смешного, важного и проходного. Ни тебе литературных генералов, ни тебе романтических гениев. Андрей Битов, например, запомнился тем, что в его номере почему-то (в павловском повествовании все происходит *почему-то и вдруг* — кругозор рассказчика намеренно ограничен) не переводилась копченая колбаса. Добрый Битов кормил колбасой молодых гостей-писателей, забредших в его номер. И где он ее брал, кудесник? — такой вот только вопрос и остается у читателя к Мастеру.

Стилистически «Яблочки от Толстого» — бесхитростный и абсолютно беспартийный монолог простеца, основанный на вполне доброжелательной, но слегка отчужденной наблюдательности, — это и создает известный эффект остранения. Так, помним, смотрела на размалеванную сцену юная Наташа Ростова в театре. В таком взгляде есть, между прочим, какая-то беспощадность. Перед ним все равны и не слишком значи-

тельны. За этим простодушием угадывается ирония по отношению и к другим, и к себе тоже. Подобный взгляд, похоже, становится сегодня прямо-таки необходимостью. В новой повести «Тихие беззлые похороны» М. Кураева такая же писательская конференция видится глазами уже и не писателя даже, а наивного читателя — банщика Василия Максимова Беркутова.

То, что наши писатели стали вдруг наперебой писать о своих литературных тусовках, — не удивительно. Это следствие общего внимания литературы к себе самой, своей повседневности. И раздражение критиков по этому поводу совершенно напрасно. Литературный быт здесь выступает автоконцепцией литературы, которая сейчас как никогда (может быть, так было только в 30-е годы) стремится к самоописанию, а писатель — к самоидентификации. Свидетельство тому — нынешние «романы о писателе» («Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина, «Азарт, или Невозможность ненаписанного» А. Битова и многие другие), а также писательские мемуары о современности, очерки литературных нравов («Славный конец бесславных поколений», «Б.Б. и др.» А. Наймана, «Альбом для марок» А. Сергеева, «Трепанация черепа» С. Гандлевского и т. п.). Словом, жанры, дающие выход литературной саморефлексии. Теперь нам про них все объяснил Виктор Кривулин. Это охота на мамонта. Так и называется его книга (1998). Определение Кривулина емкое и выразительное: «“Охота на мамонта” — это прежде всего охота. Но не на косматого доисторического зверя, а на время, совсем недавнее время, которое возвышается за нашими спинами как некая неосмысленная, живая гора».

Охота на время идет сегодня нешуточная. Каждый охотник знает, где сидит его фазан, — каждый пишущий в широком спектре радуги безошибочно определяет свои цвета, ищет и находит близкие фигуры, опознает и очерчивает свое поколение, составляет свой литературный пантеон. Павловское литературное поколение тоже стремится к самоопределению: достаточно вспомнить программный двенадцатый номер «Октября» за 1997 год, где опубликованы «Антилохер» А. Варламова, «Хроника нулевого года» В. Березина и др. Эти «нечаянные страницы» (так обозначена рубрика), как и «вольные рассказы», вовлекают Павлова со товарищи в компанию охотников за временем.

Но если «Яблочки» — рассказ о литературной среде, литературном и около-

литературном быте, то «Эпилогия» — о собственно писательском труде. О том, как человек становится писателем, чем — буквально, непосредственно — он пишет, на что живет и чем зарабатывает.

Вообще-то «Эпилогия» — как будто бы автобиографический рассказ о наследстве. «Сюжетец изношенный, — признается автор, — а для меня жизнь». Дедушка, генерал госбезопасности, оставляет наследство, от которого внуку досталось триста рублей. Внук употребил их на первую свою пишущую машинку: «Раз хочу быть писателем, то мне нужна пишущая машинка». Машинка сразу же становится не простым рабочим инструментом. Тут начинающий писатель рожнится прямо-таки с Фаустом. «Покупка обставлялась и впрямь как сделка с нечистой силой, будто не машинку я купил, а продал душу». Преодолевая искушения (непреренно разобрать и посмотреть, что там внутри, например, или, пойдя по ложному пути познания, научиться машинописи вслепую), герой, он же автор, честным тяжким трудом, вплоть до трудовых мозолей, творит первые рассказы, их публикуют, он поступает с ними в институт, женится на сокурснице — а семью надо кормить.

Не могу не привести актуальный по нашим — снова, в который уже раз, тяжелым — временам рецепт выживания. Все как в сказке про лисичку со скалочкой: австралийского попугая, женино приданое, надо сменять на двух кролей (главное — отличать самца от самки, а то не станут плодиться, автору пришлось за два килограмма сахара прикупить настоящего самца), будет мясо. Если, конечно, по интеллигентской привычке не станешь кролей жалеть. У писателя-кроликоведа никто в семье кроличье мясо есть не смог. Пришлось заложить в ломбард обручальное кольцо — и так далее, по кольцу.

Когда в конце концов все возвращается на круги своя — к сохранившей некий мистический ореол пишущей машинке, становится окончательно ясно, что на самом деле это рассказ о литературе. Или, точнее, свернутый роман о писателе. Как «Дар», например. Герой обретает себя, находит любовь, пишет роман. Даже рецензии, как Годунов-Чердынцев, собирает — от «Нашей Москвы», «Нашего знамени», «Нашего нового мира» — и под вымышленными именами узнаваемо выводит литературных друзей и врагов.

Поскольку наш герой пишет толстый роман, потребовалось новое, современное воплощение пишущей машинки. Вместо нее является компьютер, за ним

другой — опять как у лисички со скалочкой. Однако компьютер сохраняет нехорошую ауру машинки-предшественницы. Покупка компьютера (подешевле — и потому с рук, у сомнительных людей) окутана не только флером тайны, но и леденящим холодком опасности: посредник «думал сэкономить мне денег, а мог отнять здоровье и даже жизнь». Компьютер обладает дьявольской силой, он сожрал главу романа, потом приятель Сальери засадил в него вирус. Далее уж и вовсе чудеса: «Однажды утром я обнаружил, что вместо директории ROMAN в компьютере возникла директория ANTIHIST». (Набирая эти строки, я опасно взираю на свой скрипучий старенький четырехста восемьдесят шестой.) Слава Богу, следующий компьютер герою подарили. Бесплатно. Что, впрочем, никак не избавило его от ощущения того, что любой компьютер — продолжение первой пишущей машинки, то есть дедовского наследства. Голос деда никак не отпускает героя: «...гнал меня писать только вещей страх, заполученный будто вместе с дедушкиным наследством».

Надо сказать, в этом незамысловатом повествовании о приключениях пишущей машинки брезжит канва старой, как мир, эдиповской истории. Если б, например, тому довелось быть писателем, а не царем.

В павловском рассказе дед — главный в семье и одновременно узурпатор права на слово. Потому что первый рассказ внука был не о чем-нибудь, а именно о дедовских подвигах — «как он гонял по Украине банды бендеровцев, пленял оуновских проводников и отыскивал в лесных чащах их тайные, полные награбленного золота бункеры». У деда же был про то собственный текст: «Дед любил делиться опытом с молодыми милиционерами и контрразведчиками, самолично диктовал бабке свои выступления-воспоминания, щедро приправляя их выученными когда-то наизусть цитатами из чекиста-классика, отчего казалось порой, будто Дзержинский навещает его что ни на день». Свой рассказ внук послал деду по почте, «будто в редакцию взаправдашнего литературного журнала», в ответ получив через бабушку совет «бросить это дело» хотя бы на время: «Вот помру, пусть тогда и брешет обо мне». Так внук-писатель вступил с дедом (а вдобавок и со стоящим за его спиной Дзержинским) в своего рода соревнование. Как будто в борьбу одновременно с Зевсом и Кроном. Победа в этом творческом соревновании значила бы подлинное взросление героя, его на-

стоящее Посвящение в писатели. Машинка, а потом и компьютер здесь не только орудие труда, но и оружие в борьбе с дедом. Герою одновременно надлежит и оправдать дедовское денежное вложение, и — символически — победить деда литературой. Умерший дед все время является внуку со своими упрёками: «Мысленно я все еще рассчитывался с ним за машинку, доживая до того дня, когда смогу не чувствовать страха и вины».

Борьба увенчивается победой внука. Победой символической и обставленной предельно литературно. Автор видит сон (известный литературный прием, разом придающий соответствующему фрагменту текста повышенную значимость) по дороге из Юртина (тоже литературная реальность), возвращаясь «с какой-то литературной конференции». Во сне родственники наконец «крепко-крепко обнялись», и дед «стал жаловаться как родному: сказал, что очень хочет, чтоб купили ему унитаз... — пластмассовый, превращающий все якобы в порошок... чудо техники, отчего я понял, что это должен быть биотуалет. И что-то детское, щемящее было в его желании иметь то, чего даже в глаза не видел... — как у ребенка, что мечтает об игрушке...». Внук прошел инициацию, стал-таки писателем, а побежденный дед вернулся в младенчество, к пеленкам и горшкам.

Теперь, выходит, повзрослевшему писателю пришло время подводить предварительные итоги. Но в каком смысле «Эпилогия» — действительно эпилог? Рановато вроде для итогов; Павлов — писатель хоть и известный, но молодой. Сам автор в рассказе обмолвился, что «эпилог — это начало нового смысла».

M. АБАШЕВА

Смертный Эдип

•

Владимир Гандельсман. ЭДИП.
С.—Петербург — Нью-Йорк, издательство «Абель», 1998.

•

Все помнят классический силлогизм:
«Кай — человек. Человек — смертен.

Значит, Кай смертен». Несчастный Кай вынужден согласиться.

Поэт не лучше и не хуже некоего Кая. Но для него смертность — гибель мира, который он рожден сказать, исчезновение зрения, которого прежде не было и потом не будет, — вечно новое событие, переживаемое в каждом стихе.

Сборник Владимира Гандельсмана «Эдип» начинается так:

Потому что я смертен. И в здравом уме.

Этим зачином обозначен источник напряжения, движущий стихи Гандельсмана, а в сущности, и всякую истинную поэзию. Невозможно в здравом уме вынести во всей полноте убеждение: «Я смертен». И тем не менее поэт каждым стихом решает эту задачу. Гандельсман доводит ощущение смертности всякого мгновения и события, преломленного в звенящей чистоте детского взгляда, до предела, за которым, как ни странно, обнаруживается бессмертие:

...это не время истлело, а крепдешин,
форточку-слух заливает погасшее лето
все достоверней, и если бессмертной души
что-то и есть, то вот это, вот это, вот это.

Более того, возникает догадка, что смертность — это иллюзия бытия, возникающая из-за того, что оно неточно названо, а на самом деле все приходит из бессмертия и уходит в бессмертие, но этому нет названия:

Есть Земля до названья Земли, вне названья,
где меня на меня извели, и меня на зиянье
изведут.

Такая немота высказанности подвластна только детскому взгляду, выдающему *впервые*:

Есть младенческий труд называнья впервые.

И потому — Эдип. Эдип обречен узнать, *что* он видит, потерять невинность детского взгляда. Это история взросления — лжи — умирания. Взрослый Эдип еще и метафора нашей обреченности смотреть и не видеть, неточно называть, принимать одно за другое. И даже прозрение истинного положения вещей не спасает — не зря Эдип ослепляет себя. Бессильное прозрение — та же слепота. Спасает только существование таким, как ты задуман, в том детском доразумно-пронзительном состоянии, которое и воссоздается в большинстве стихотворений сборника, вот как в финале стихотворения «Тихий из стены выходит Эдип...»:

Ты сюда явился запомнить взрыв
вещества, которым и образован сам,
в чистом виде равный своим слезам,
ни единой тайны стоишь не раскрыв.

В белом еще обнявшихся нет сестер-дочерей, и мать еще не жена,
и себя не уговаривает: «жива» —
жизнь, и дышит дышит дышит в упор.

А теперь подробнее проследим структуру сборника. О зачине я уже говорил. Он из Вступления, где заявлены все темы, нет, не темы, а ужас и счастье жизни, которые в полноте даны ребенку и проблемами — взрослому. Там и внешний мир, то пугающий: «Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя занавеску, пугая шуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя», то счастливо прирученный: «А бутылка вина — столкновенье светящихся влаг и вертящихся сфер, и подруга пьяна, и слегка этот ветер ей благ — для объятий твоих, например» с естественным выводом: «Вот почему ты рвешься за предмет...»; там и главные вопросы внутренней жизни, лексически поставленные так, как их ставят только в детстве: «Как мне видеть меня после смерти меня...», и младенчески мудрое удивление своему телу: «Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам, я смотрю на того, кто я сам: пальцы имеют длину, в основании пальцев — по валуну...», и обреченная попытка сознания поймать себя (обреченная в существовании, но не в слове): «И разум упорствует, противоборствуя тьме. Но тотчас, из хаоса выхвачен самосознанием, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянию, подобному небу, когда оно ближе к зиме».

После Вступления под блоковским эпиграфом «...коротенький отрывок рода» идут избранные стихи из двух частей книги «Шум Земли». И если в стихах первой части есть постижение *чужого своего*, остранный взгляд на родное, данный необычным лексическим поворотом:

Медлит буксир на реке
стройка и дым вдалеке
осень на волоске
сердце болит в мотыльке

дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитают родня
комнаты гул западня,

то во второй части столь же плодотворное изумление *чужому в чужом*, связанное с другой, не своей жизнью (но становящейся нашей — вот работа стиха!):

Как здесь люди живут? как?
(особенно после обеда)
пахнут щами? ложатся в песок?
как дается им эта полужизнь? —

это о жизни степного изжаждавшегося городка.

Из следующего раздела «Из стихотворений 1983—84 гг.» мне хочется привести типичные, на мой взгляд, для поэтики Гандельсмана строки, где смысл вырастает из звука и, слившись с ним, в него уходит, как дождь в ждущую землю:

Шум, шум, шум
дождя шум, шум,
спит земля-тугодум,
я в подушку стихи прочту
не про эту жизнь, а про ту,
где и сердце и ум.

Спит, спит, спит
земля спит, спит,
кто убил, тот и сыт,
я тобою лишь дорожу,
да еще двумя, кем дышу,
кто еще не убит.

.....

Книга переламывается точно в середине циклом «Спящий» из шести стихотворений, чья магия несомненна и необъяснима, эти стихи как бы не исчерпаны собой, открыты прошлому и будущему... Впрочем, судить предоставляю читателю на примере первого из них:

в сон погружаясь крушение
полуутоплен дыханье
теплится в пене
и привыкает не стать в океане

вверх этажерка
склянок оркестр слепой
ржавые раковин жерла
рыб глупоокий покой

по небу пальчик
синему постучит
с той стороны кто-то плачет
с этой никто-то молчит.

Внутренняя свобода и точная звукопись роднит эти стихи со стихами позднего Мандельштама, именно роднит, без всякого заимствования интонации или словаря.

Во второй половине книги перед нами поэт, не утративший пронзительной точности, но гораздо более зрелый. Возраст и утраты обострили жажду воскрешения. Той же лексикой, которой лепилось внутреннее состояние, теперь выстраивается внешний мир и тем точнее рикшетом попадает в нас:

Птица копится и цельно
вдруг летит собой полна
крыльями членораздельно
чертит в на небе она

облаков немые светни
поднимающийся зной
тело ясности соседней
пролетает надо мной

в нежном воздухе доверья
в голубом его цеху
в птицу слепленные перья
держат взгляд мой наверху.

Все более изобретательно работает Гандельсман с формой, добываясь воскрешения ушедших, казалось навсегда, состояний, на которых мы волей-неволей настояны. Такая стиховая психотерапия особенно успешна в цикле «Стихи из календаря 1955 года». Нерасторжимая связь детской души с окружающим и ее глубинная непричастность к нему завораживают с первого стихотворения «Январь. Приборка комнаты», где под гул штампов, льющихся из радиоточки, в залитой солнцем комнате ребенок подметает пол:

Ты слышишь эти звуки: «маленков»,
«взлелеяно», «орлиный взгляд», «вступила
в строй очередь Мингечаурской ГЭС»?
Мне прошлого Мордовии, где горе
и слезы унижения,— не жаль.

Все бормотание мира, вся суета социального тихо погружаются на дно души ребенка, и всплывает истинное:

Я спать хочу. Я сумерки люблю
И время возвращения со службы
родителей. А больше ничего.

Остраненная детским восприятием эпоха предстает в подлинном виде, гигантские в свое время слова: «Маленков», «Мингечаурская ГЭС», «Седов», сталкиваясь, как бильярдные шары, издают костяной звук полых черепов «бедных Йориков» исчезнувшей империи, и мы с облегчением узнаем вечную трагикомедию жизни, уложенную в точную форму. Маска, я тебя знаю.

Завершается сборник стихотворением «Воскрешение матери». Это имитация речи матери, ее словечек. Вот последняя строфа этого щемящего монолога:

Не простудись. Ночью выпал
снег. Я же вижу — ты выпил.
Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Ты
остаешься один. Поливай цветы.

Вы помните слова, которыми открывался сборник: «Потому что я смертен». Завершается он так: «Ты остаешься один. Поливай цветы». От осознания смертности в детстве до осознания одиночества в зрелости пролегает пространство человеческой жизни и сборника, в котором протест против этой очевидности не декларативен, а дышит в каждом стихе. И потому — «поливай цветы».

Валерий ЧЕРЕШНЯ

56-й том СС

●

В. И. Ленин. НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 1891—1922. М., РОССПЭН, 1999.

●

Нас привычно обманывали. Даже в пятом, так называемом «полном», собрании сочинений В. И. Ульянова-Ленина (55 томов) и в Ленинских сборниках (40 томов) опубликовано не все, что вышло из-под пера «вождя», а лишь то, что доказывало известную партийную установку: Ильич — «самый-самый». Самый гениальный теоретик. Самый умелый практик. Самый человечный человек. По данным «подготовителей» (так именуют себя одиннадцать историков, приложившие руку к составлению рецензируемого сборника), в тех почти ста томах архипартийных книжек увидели свет свыше двадцати четырех тысяч ленинских материалов. Однако в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ, бывший Центральный партийный архив ИМЛ) имеется еще почти четыре тысячи документов, написанных Лениным, и около трех тысяч партийных и государственных бумаг, подписанных им, которые никогда не публиковались. Это ныне «открытый», ранее строго секретный массив спецхрана.

В сборнике обнародована лишь малая толика «секретного фонда» — 422 документа (что составляет 6%), из них 322 — впервые. Они сгруппированы по хронологическому признаку в шесть блоков и снабжены достаточно объективным (правда, есть исключения) комментарием. Что же вобрали в себя эти 6%?

После 1985 года благодаря публицистам (А. Арутюнову, Д. Волгонову, А. Латышеву, В. Кожину, В. Солоухину, Л. Радзиховскому, Э. Розину, А. Ципко и др.), в коих, кстати сказать, «подготовители» видят не помощников историков, а не что иное, как беду, с менторской тенденциозностью упрекая их в «избыточной политизированности», «явно ненаучном комментировании документов» и в других грехах, нам открылся «иной Ленин»: теоретик и практик геноцида против собственного народа, апологет диктатуры пролетариата (читай: партии), авантюрист, мизантроп, садист, учредитель ГУЛАГа (на совести «вождя» 13

миллионов жертв), разрушитель России, основатель социалистического фашизма, грабитель, германский шпион, изменник родины, порушитель церкви, учредитель льгот, блата, телефонного права для бюрократической верхушки.

Можно было ожидать, что сборник неизвестных документов Ленина, который выпускается РОССПЭНом — издательством, своими книгами многократно доказывавшим приверженность идеалам свободного демократического общества (назовем хотя бы «Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг.» и «За фасадом “сталинского изобилия”» Е. Осокиной), будет в основном содержать новые документы «от иного Ленина». Однако в достаточном объеме сборнике (672 с.) таких документов — считанное количество, к тому же многие из них заинтересованному читателю уже известны по публикациям в СМИ, и книгу уместно рассматривать как еще один том (56-й) СС или (XLI) ЛС. Так, «подготовители» (их я подозреваю в тихой — не оголтелой, как у некоторых бывших функционеров КПСС,— апологии «вождя») не преминули напечатать, быть может, единственный в своем роде документ (выискали же!) с проблеском лояльности Ленина к ненавистным верующим, возникшим у нашего антихриста, который проповедовал, как известно: «Всякая религиозная идея — гнусная зараза», не иначе как в состоянии гипнотического транса,— записку члену комиссии Агитпропа ЦК партии по антирелигиозной пропаганде Красикову от 27.01.21 г. (д. 268): «Удобно ли, даже при особых условиях, превращать церковь в клуб? (В склад, видимо, удобно.— Г. Л.) Не лучше ли отменить и вернуть церковь» (речь шла о приходе Военно-медицинской академии в Петрограде).

Знакомясь с документами, видишь, как много среди них малозначащих, малоинтересных, маловразумительных, в общем-то вовсе не секретных материалов, публикацию коих составители СС и ЛС в свое время, вероятно, сочли пустой тратой бумаги. (Назову эти материалы для краткости «пустышками».) Вопиющие примеры: выписка из расписания поездов и пароходов линий Копенгаген — Гамбург, Копенгаген — Стокгольм, Або — Стокгольм (д. 28); расписка в получении от А. С. Шаповалова 50 франков на французском языке с русским переводом (д. 30); запись порядка приема лекарств от 29.04.21 г. (д. 287). Порой доходит до курьеза. Так, документ 368 представляет собой довольно пространное письмо Троцкого членам ПБ ЦК с

критикой проекта тезисов к XI съезду партии, подготовленного Зиновьевым. Что же в сем документе ленинского? Да всего-навсего пометка большого «вождя»: «В архив».

Создается впечатление: в ленинском архиве вопреки заверениям публицистов нет ничего сенсационного, «подготовители» отобрали для издания все самое типичское и не блефуют, говоря в предисловии: «В составе книги — наиболее содержательная часть из ранее не издававшихся документов Ленина». Но в таком случае мысль «подготовителей» о том, что «интересы отечественной исторической науки требуют разработки и осуществления комплексной программы издания остающейся неопубликованной части (а это еще не менее 15 «кирпичей». — Г. Л.) документального наследия Ленина, представляется по меньшей мере спорной. Зачем издавать «пустышки»?

Известны слова Ленина, сказанные Горькому: «Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана». Похоже, «подготовители», в силу своей профессии умеющие относиться к трагическим событиям прошлого философско-аналитически, воспринимают эту фразу как еще один завет Ильича. Мало того — они и нас призывают к этому. «Читатель, обогативший опытом современной жизни, приложит максимум умственных усилий — не для того, чтобы «осудить» или «оправдать», а для того, чтобы понять его [Ленина] и его время», — выражает надежду В. Логинов в послесловии к сборнику.

«Понять» означает «постараться простить». Простить «создателя земного Ада» (Волкогонов), простить время, когда все население СССР верные ученики вождя «...делили на заключенных, подследственных и подозреваемых» (Ежов) — для этого, пожалуй, никаких умственных усилий не хватит.

...В астрономии малым планетам присваивают только имена собственные — знаменитых людей. Но бытует строгое правило в тех двух обсерваториях (одна — российская), коим предоставлено это право: если планету называют именем политика, то тот должен быть покойным уже не менее ста лет. За такой срок, по мысли осторожных астрономов, становится ясно: этот политик принес планетянам добро (только такого человека «прописывают» на небе). Кандидатура В. И. Ульянова-Ленина будет принята планетологами к рассмотрению на сей предмет в 2024 году. Их вердикт можно точно предсказать уже сейчас: малой планеты «Ленин» во Вселенной не будет.

Генрих ЛЯТИЕВ

Буддизм по-русски

●
Олег Шишкин. БИТВА ЗА ГИМАЛАИ. НКВД: магия и шпионаж. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999.

●
 Читаешь эту документальную повесть и невольно задаешься вопросом: зачем надо было выдумывать писателям «Гиперболюид инженера Гарина» и «Чапаева и Пустоту» с романами об Остапе Бендере посередине? Ведь реальная действительность таит не менее увлекательные сюжеты, чем самые причудливые художественные вымыслы. Журналист О. Шишкин попытался, как смог, без всякой выдумки эту действительность изобразить.

Экспедиция во главе с заведующим Мурманским морским институтом краеведения, корреспондентом Ученой комиссии при Петроградском институте по изучению мозга и психической деятельности Александром Барченко в 1921 году на самом деле натолкнулась на Кольском полуострове на напоминающую гигантскую свечу бледно-желтую колонну, внушающую людям ужас и вызывающую эффект *мерячения* — направленного массового психоза. Документы свидетельствуют, что руководство ОГПУ — НКВД, увлеченное лекциями перенесшего свою деятельность в Москву Барченко, всерьез попыталось получить доступ к тайнам Шамбалы, а оттуда — к несравненно большим источникам психотропной энергии. Но теперь эти изыскания преследовали конкретную практическую задачу — устроить в Тибете посредством вмешательства во внутривластные противоречия один из эпицентров мировой социалистической революции с созданием социалистической буддийской федерации (отметим по ходу дела, что, получается, чекистская охота за тайнами Шамбалы началась на десятилетие раньше, чем были замечены связи духовных учителей Индии и Тибета с руководителями Третьего рейха). Николай Рерих, неожиданно оказавшийся после объявления независимости Финляндии в 1918 году эмигрантом, прибыл в США с целью обеспечить экономический и политический прорыв во взаимоотношениях между Советской Россией и США (основанная им корпорация «World Servis» занималась — средиз

прочего — поставкой в Америку *рогов и копыт* в обмен на зерно и... карандаши). И его последующие путешествия на Гималаи и в Тибет предстают как этапы грандиозной чекистской операции по приобщению к Востоку и пробуждению Востока играми с тибетской независимостью.

Лет пятнадцать назад мне пришлось присутствовать на глубокомысленной дискуссии в ЦДЛ, где обсуждалось, не пора ли нам создать, подобно американскому *вестерну*, альтернативный отечественный *остерн*. Стоит только засучить литераторам рукава, предварительно покопавшись в архивах, и живописание продвижения русских на Восток в XVI—XVIII вв. станет не менее увлекательным, чем завоевание американцами Дикого Запада. Однако, несмотря на все пост-«ермаковские» усилия, ударникам литературного (и кинематографического) труда вскоре стало не до нового социального заказа. А сама новая социальность пошла своим, непредсказуемым путем. Она, в частности, выбрала иной Восток, высшим пиком иллюзорного покорения которого (с переименованием пика социдательного Коммунизма в пик недеятельного Буддизма) пока что является наркотический Восток Виктора Пелевина.

Рерих Шишкина — это не известный художник и мыслитель, а Рерих-Индиана Джонс. Но теперь, в свете написанного им в 1926 году завещания, в котором все имущество и литературные права он передает ВКП, назначая распорядителями Чичерина и Сталина, в ином, чем ранее, ключе прочитываются и некоторые страницы его культовой «Общины», где излагаются принципы построения государства на основах коммунизма и «очищенного» буддизма. Вместе с гималайской землей на могилу Ленина Рерих возил с собой в Москву «Письма махатм», адресованные тем же лицам, что и его завещание. Махатмы солидаризировались с Центром в вопросах революционной стратегии и тактики: «Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, так же как мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу мощь, утверждая единение Азии!»

В еще большей степени, чем Рерих, на роль русского Индианы Джонса годится в исполнении Шишкина Яков Блюмкин. Среди деяний этого героя, всю жизнь чистившего себя под Троцким и Лоуренсом Аравийским, известного в основном убийством посла Германии Мирбаха в 1918 году, имеется и роль легко пересекающего все границы связного между

советскими спецслужбами и экспедициями Рериха.

Жизнеописание Блюмкина, годящееся для многосерийного боевика, впрочем, местами сбивается к комиксу. Ведь действительную сцену убийства Мирбаха вряд ли можно назвать героической. Вошедший по предъявлении служебного удостоверения в посольство Блюмкин нарочито резко, как это делали в немых фильмах той поры, выхватил револьвер и открыл пальбу по послу и всем присутствовавшим. Все выстрелы оказались мимо! Мирбах бросился в соседнюю комнату, и ему вслед из рук сопровождавшего Блюмкина Андреева полетела бомба, но не взорвалась. Детонатор сработал только после того, как Блюмкин бросил ту же бомбу вторично. Тогда Блюмкин схватил свой первый трофей — фуражку Мирбаха — и пустился бежать. Так ирокезы уносили с поля боя скальпы бледнолицых. На улице, перелезая через ограду, террорист зацепился штаниной, и, пока пытался освободиться, сотрудник посольства прострелил ему не что-нибудь, а ягодицу. Так что в подоспевшем автомобиле ему пришлось весь путь дальнейшего бегства стоять на коленях, зажимая ладонью кровоточащую рану, в надежде на самый справедливый, самый гуманный в мире советский суд. Так пробуждает из одного времени в другое героя «Чапаева и Пустоты» объявление в метро: «Следующая станция — „Динамо“!»

Как сообщил автор на презентации книги в издательстве «ОЛМА-ПРЕСС», поначалу его заинтересовала только личность Блюмкина. Он попытался получить документы в архиве ФСБ, но там ему сообщили, что они находятся в Международном центре Рерихов, а оттуда последовали упорные отказы. Именно противодействие в изыскательской работе на фоне относительной либерализации наших архивов шесть лет назад стало стимулом к ее расширению. В итоге несколько организаций, объединяющих поклонников творчества Рерихов, попытались обвинить Шишкина в фальсификации истории и нанесении «морального вреда» МЦР еще до выхода книги, что, естественно, стало для нее лучшей рекламой.

Так как читателей у этой претендующей на сенсационность книги может теперь оказаться даже больше, чем любителей «Агни-Йоги», автору, видимо, можно сделать упрек, как сейчас принято выражаться, в редукции, в *одностроннем* подходе к личности Рериха. Общее направление внутренней эволюции художника-философа, правда, отмече-

но. Во время второй Азиатской экспедиции, в 1935 году, Рерих, узнав о расстреле Блюмкина и понижении по службе позже расстрелянного руководителя Тибетско-Гималайской операции Глеба Бокия, отказался от идеи возвращения в СССР через Монголию. Решение Сталина об уничтожении русских храмов (тут Шишкин цитирует дневники Рериха, изданные МЦР) Рерих назвал «адским». Но в 1948 году скандальная публикация неизвестной переписки Рериха и вице-президента США в правительстве Франклина Рузвельта, создателя Прогрессивной партии, соперника Трумэна по президентским выборам Генри Уоллеса закрыла последнему дорогу в Белый дом.

В приложениях впервые опубликован без комментариев ряд документов касательно деятельности полуподпольного (с участием руководителей с Лубянки!) «Единого Трудового Братства» Барченко. Здесь выписки из его дневников, письма известному востоковеду Гонбожабу Цибикову, «Памятка для членов ЕТБ», протокол допроса по делу о «мазонской контрреволюционной организации "Единое Трудовое Братство"» — как будто бы исповедь нового идейного Раскольникова новому идеологическому Порфирию Петровичу. Может быть, это главное открытие книги. Возникает живой и противоречивый образ самобытного ученого, достойного стоять в одном ряду с Федоровым и Циолковским, человека неуживчивого и не лишнего авантюристических черт. Он

пытался на отечественной почве создать свои «Рога и копыта» с целью отделения при помощи «глаза Будды» («чистого идейного коммунизма») «козлов от козлиц» («жестоких, грубых и безграмотных большевиков» от «действительных личностей, живых и подлинных "БОЛЬШИХ БОЛЬШЕВИКОВ"»): «Главным побудителем участия в воздействии на мировые события должна быть цель нравственного усовершенствования отдельных общественных групп или всей совокупности их». В конце 20-х годов для секретной нейрологической лаборатории Барченко из Горно-Алтайского краеведческого музея были изъяты отдельные предметы шаманского ритуала по «Особому списку ОГПУ». Но все же в итоге реально действующим рогам и копытам все эти поиски оказались чужды, ученый, как и его патроны, был расстрелян в 1937 году.

Послужит ли книга Шишкина началом массового постпелевинского призыва в ряды *архивного остерна* не с лицом, так глазом Будды или просто с объективным глазом? Пока же автор, вероятно, еще не достаточно полно усвоил уроки иных героев своей книги: хорошо бы иметь не только чистые руки и горячее сердце, но и холодную голову. Тогда проведенный Шишкиным допрос, быть может, являл бы собой не столь фантазмагорическую картину.

Александр ЛЮСЫЙ



Павел БАСИНСКИЙ

Авгиевы конюшни

И снова о неприятном. О том, что по обязанности критика время от времени приходится разгребать. Как-то так получилось, что три главные должности в новой прозе после загадочной и, безусловно, криминальной приватизации книжного рынка были отданы писателям не то чтобы совсем бездарным, но как будто специально подобранным для того, чтобы дискредитировать само понятие «русская проза».

Этим тройным одеколоном — Ерофеев — Сорокин — Пелевин — пропахли не только вся критика, норвящая хотя бы отрицательным отзывом отметить на трех именах, но и все литературные разговоры. «Читали "Голубое сало"?» — «Ах! Ох! Фу!»

Как надоело!

Я придерживаюсь простой и скучной точки зрения, которую не один раз высказывал. Вопрос о Сорокине и Ерофееве — это, *во-первых*, вопрос уголовный и только *во-вторых* — культурный, литературный и проч. Видите ли, какая штука. Нравственность — вовсе не личное дело каждого. Это четкий механизм самозащиты общества от вырождения и разрушения. Доказывать Сорокину, что то, что он пишет, нехорошо, — все равно, что спорить с известным чеховским «злоумышленником» об опасности отвинчивания гаек от железнодорожного полотна. Спор, конечно, увлекательный и страшно русский, но надобно в конце концов и меры принимать! Если автор болен, пусть лечится. Если здоров, подать на подлеца в суд. Как минимум по трем статьям: порнография с элементами извращения, разжигание межнациональной розни, а также надругательство над конкретными историческими лицами, чьи дети и внуки, кстати, еще живы. А там мы со своей стороны обязательно подключим Пен-центр и прочие сердобольные организации, чтобы талантливый в общем-то писатель за свое несознательное хулиганство схлопотал не три, допустим, года, а один. Потому что — надо быть гуманистами.

О Пелевине этого не скажу. Пелевин читит уголовный кодекс. И, стало быть, пусть издается и переиздается и пребудет вечно зеленым литературным митрофанушкой, любимцем славистов, тинэйджеров, интернетчиков и глубокомысленных критиков с испорченным вкусом. Одно замечу: напрасно его пытаются раскрутить в *модные писатели*. Модный писатель — это тот, кто ненатурно создает *свой стиль* жизненного поведения: кепка задом наперед (Сэллинджер), эстетская в перерывах между репортажами поза (Хемингуэй) или пьянство с надрывцем (Есенин). Виктор Пелевин своего стиля пока не создал. Он современен, но не более того.

Все прочее — отсутствие глубины, искренности, литературной культуры (если не считать таковой подражание Стругацким) — уже не имеет серьезного значения. Потому что никто, даже коммерческий директор издательства «Вагриус», не знает, сколько реально стоит Пелевин. Это навроде акции «МММ». Зависит от места, времени и конъюнктуры...

Однажды на заре туманной критической юности в статье для одного уважаемого литературного журнала я высказался о необходимости возобновления цензуры, в том числе и в области художественной литературы. Мысль эта показалась редакции настолько несообразной их идеологической линии (как можно запрещать свободу слова?!), что абзац о цензуре из статьи (с моего малодушного согласия, впрочем) недрогнувшей рукой вырезали. Я еще подумал тогда: что же это за свобода слова такая, если мне запрещают высказаться *против* свободы слова? То есть *за* — можно, а *против* — нельзя. Невнятная такая свобода...

Примерно в это же время Александр Агеев в одной из статей доходчиво мне объяснял, что искусство, мол, — это зона риска, и неча соваться туда с требованием каких-то ограничений. И опять мне было невдомек: если искусство — это зона рис-

ка (я и не спорю), то именно из этого со всей очевидностью следует, что очень многое здесь должно попадать под запрет. В медицине (зоне риска) многое запрещено. В спорте — тоже. В странах, где разрешена проституция, проститутки обязывают использовать презервативы.

В искусстве, литературе, оказывается, можно все. Почему? Потому, объясняят мне, что очень сложно определить, что нужно и что не нужно запрещать. И где найти таких людей, которые смогут правильно осуществлять запрет? И т. д. и т. п.

Ну и что это доказывает? Только то, что мы культурно не доросли до искусства запрета. Нам проще обходиться без него, как варварам было проще жрать сырое мясо, жить полигамными семьями и не выговаривать слово «цивилизация». Потому что искусство запрета — это сложнейшее из искусств. Но хотя бы обучаться ему мы можем когда-то начать?

Ведь доросли мы, например, до того, что террористов надо уничтожать, к какому бы народу (малому, обиженному и проч.) они ни принадлежали. Что уничтожать их надо всеми доступными средствами. Но для этого нужно было пережить унижение чеченской войны, ужас московских взрывов, шок во властных структурах, окончательное (окончательное?) отрезвление либералов...

Когда-нибудь, надеюсь, общество культурно созреет и до того, чтобы навести в литературе нормальный полицейский порядок. Я подчеркиваю: *полицейский*. Потому что по высшим законам судить Сорокина и иже с ним — не наших соплей дело. По этим законам им в свое время и так мало не покажется. Наше дело куда более простое: как минимум пять-шесть общественных организаций подают на Сорокина и издательство «Ad marginem», его издающее и рекламирующее, в суд по месту прописки автора или издательства. Как минимум два-три десятка особо сознательных граждан поступают аналогично. Суд они, разумеется, выигрывают, получают хорошие деньги за моральный ущерб и пускают автора и издательство по миру. Сажают их в долговую яму, наконец. Или просто сажают, что не исключаю.

И это вовсе не мрачная картина. Это очень светлая картина. Куда мрачнее наблюдать «Голубое сало» на книжном привокзальном лотке рядом с левой водкой, липовой лотереей, порнокассетами, проститутками и наперсточниками. Я это видел.



Аркадий АВЕРЧЕНКО. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ. Том 1. М., «ТЕРРА — Книжный клуб»; «Республика», 1999. Тираж не указан.

Рассказы, написанные без малого сто лет назад, по-прежнему весело беспечальны. Об Аверченко принято говорить, что смех его сытый, и говорить с укором: мол, в России так смеяться не принято, в литературе здесь властвует сплошное «не» («Мы живем, под собою не чуя страны», «Только не сжата полоска одна», «Не жалею, не зову, не плачу»). Тут и фамилии сочинителей часто звучат, будто категорическое отрицание (Некрасов, Никитин, Безыменский, Уткин). Аверченко минует традицию, категорически не собирается жалеть страдающего брата, выдавливать язвы жизни и проливать слезы над тем, что листок оторвался от ветки родимой. Листку и положено в свой срок оставить ветку. И если русская литература пытается отрицать извечный порядок вещей, Аверченко его принимает и следует ему. А потому юмор Аверченко — юмор здорового и радующегося жизни человека. Впрочем, он ясно понимает: нормальный порядок вещей надо отстаивать. Оттого-то остры многие аверченковские рассказы. Остры из-за этого ясного понимания. Рассказ о мужиках, утопивших студента, когда студент нахально заявил, что Земля круглая и ходит вокруг Солнца, рассказ о выставке современного искусства, где картины состоят из разноцветных квадратиков. А вот отрывок, словно взятый из учебника, рекомендованного Министерством образования: «Однажды Суворов перед битвой с французами спросил встречного солдата: "Как думаешь — побьем басурманов?" "Так точно!" — отвечал бойкий солдатик. Великий полководец тут же дал ему серебряный рубль и сказал: "Ну, ступай"». Но и это отрывок из аверченковского рассказа.

ОТ ГОРОДА W. ДО ГОРОДА D. (Петер Альтенберг. Венские этюды; Джеймс Джойс. Дублинцы). М., «Рандеву-АМ», 1999. Тир. 3000 экз.

Дурной вкус, ряженный под респектабельность и высокий интеллектуализм, хуже просто дурного вкуса, ибо очень уж безвкусен. Немаловероятно, что, подыскивая название для сборника, составитель ориентировался на высокие образцы, какого-нибудь там Кафку с его персонажем, трагически поименованным вместо полного имени единственной буквой. Но приходит на память в первую очередь не австрийский писатель, а письменность именно безымянная, растворенная в пространствах культуры, скажем, частное письмо, написанное на берегу Черного моря, с неизменной последней строкой: «Привет из города Я.». О том, как в пространствах культуры ориентируются люди, выпустившие эту книгу, свидетельствует хотя бы такой факт — специально оговорено, что рассказы Джойса публикуются по знаменитому довоенному сборнику. То ли издатели не ведают, что сборник переиздавался лет десять назад с указанием переводчиков, то ли посчитали, что в довоенном сборнике переводы анонимные, а потому их можно использовать, так сказать, «gratis». Все очень смутно, как смутен сам принцип подбора книг и авторов для этой странной серии.

Дино БУЦЧАТИ. ТАТАРСКАЯ ПУСТЫНЯ. СПб., «Амфора», 1999. Тир. 10 000 экз.

Мысль простая, однако достойная — издать на русском языке серию книг, любимых Х.-Л. Борхесом, книг, снабженных его кратким предисловием и под общим названием «Личная библиотека Борхеса». Забавно другое. Забавно, как маргиналии разрастаются до размеров текста и подменяют его в конце концов.

Виктор ГОЛЯВКИН. БОЛТУНЫ. [Б. М.], «Стрекоза», 1999. Тир. 10 000 экз.

Книг Виктора Голявкина не издавали давно, ни взрослых, ни детских. И тут причина, почему он почти не писал. Литератору нужны читатели. То, что можно писать в стол, в тумбочку, в ящик — гадкий и бесполезный миф. Писать можно только в печку, когда уничтожают использованные черновики. Много ли вытаскивали из столов в нынешние свободные времена? Ничего. Ведь там ничего не было. Правда, некоторые умудрились вытаскать «отложенные до лучших дней» произведения из пустого стола. Но это подтвердило не миф о писании в стол, а то, что эти сочинители — скорее не сочинители, а фокусники, вытаскивающие из пустоты кроликов, голубей и де-

тей с Арбата. Виктор Голявкин — иного склада. Он слишком ценит свой талант, чтобы кричать в подушку. Так же не записывал приходившие к нему стихи Игорь Северянин, зная, что печатать стихи негде. И он слишком ценил свой талант. Талант, который, когда востребован, отдает вдесятеро.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 4. М., Научное издательство «Большая российская энциклопедия», Научно-внедренческое предприятие «ФИАНИТ», 1999. Тир. 50 000 экз.

Появление очередного тома этого биографического словаря более чем неожиданность. Казалось, свобода уничтожила подобного рода издания, отвергла академичность ради сплошной свободы. И все же есть место сомнению: цифра заявленного тиража свидетельствует, что свобода, коли и не отменила академические издания, то определенным образом отразилась и на строгих умах издателей серьезных книг, в мыслях их появилась необыкновенная легкость.

Г. А. ЛЕССКИС. ТРИПТИХ М. БУЛГАКОВА О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»; «ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА»; «МАСТЕР И МАРГАРИТА». М., ОГИ, 1999. Тир. 3000 экз.

Подобные компендиумы необходимы. Вряд ли составитель откроет какие-либо новые горизонты, выскажет мало-мальски интересные догадки о хорошо теперь известном тексте. Тем не менее известный текст не значит хорошо знакомый. И потому любые комментарии нужны, тем более комментарии пространные.

Глеб ГОРБОВСКИЙ. ОКАЯННАЯ ГОЛОВУШКА. СПб., «Историческая иллюстрация», 1999. Тир. 1000 экз.

Принято противопоставлять «раннего» Горбовского и Горбовского «позднего». На самом деле противопоставление такое абсурдно. Уже в его ранних стихах легко разглядеть то, что более полно выразится через десятилетия. Жаль, что сам Горбовский почему-то отрицает органичность и единство своего пути. Отказываться от замечательных строк, которые все знают наизусть, не надо, какими бы высокими принципами ни продиктован такой отказ.

Я сажу за оконной рамой,
Мне не хочется шевелиться.
Родила меня просто мама,
А могла бы родить птица,—

это тоже стихи о родине, о душе, о радости мира.

Наум СИНДАЛОВСКИЙ. ПЕТЕРБУРГ В ФОЛЬКЛОРЕ. СПб., «Журнал "Нева"», ИТД «Летний сад», 1999. Тир. 7000 экз.

Хотя новая книга автора превосходных книг «История Санкт-Петербурга», «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» и «Петербургский фольклор» кажется слабее прежних, и она интересна. Пусть иногда приковывает внимание немудрящий анекдот. «Новый русский в Эрмитаже: "Беденько. Беденько, но чисто"». А может быть, читать книги и стоит лишь из-за подобных мелочей.

И. И. СИКОРСКИЙ. ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ. М., «Русский путь», «УМСА-Press», 1998. Тир. 2000 экз.

Человек шагнул в небо — начало новейшей истории. Русский человек в небесах — особый раздел ее. Книга русского авиаконструктора и написана ради того, чтобы объяснить, почему русский человек рвется в небо.

Б. ФИЛЕВСКИЙ



Читайте в следующем номере

РОМАН ПАВЛА КРУСАНОВА

«УКУС АНГЕЛА»

«Есть люди, взыскующие славы. Есть люди, взыскующие славы и власти. Есть люди, взыскующие власти и не охочие до славы. Славе они предпочитают менее кабальный вариант — признание. И есть все прочие, но о них не будем. Если первые просто хотят стоять под софитами, вторые там блистают и правят, то третьи властвуют в тени, как бы суфлируя тем, кто на сцене, и случись так, что на них все же падает свет, что нежелательно, то падает он со спины. Петр Легкоступов был из третьих. И вовсе не потому, что стремился соответствовать образу, измышленному лягушатником Фуко: дескать, власть выносима только в том случае, если она маскирует существенную часть своего естества, и успех ее пропорционален способности скрывать свой собственный механизм,— отнюдь нет. Он просто имел чувство стиля. Он имел вкус, а жизнь, как известно, есть не что иное, как вечный спор о вкусе и о том, что же на самом деле лакомо.

Фея Ван Цзыдэн, разумеется, хотела стоять под софитами».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 2000 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Новый роман.**

Светлана ВАСИЛЬЕВА. **Песнь странствий.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Борис ЕВСЕЕВ. **Полет сокола.** Повесть.

Владимир КАЧАН. **Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Близнец.** Роман.

Павел КРУСАНОВ. **Укус ангела.** Роман.

Афанасий МАМЕДОВ. **Люби и ошибайся.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **Письма к жене.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Новочеркасские рассказы.**

Олег ПАВЛОВ. **Новый роман.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Князь.** Книга об Иване Бунине, русском писателе.

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Лариса СЫСОЕВА. **Берлинские эпохалки.** Предисловие Евгения Попова.

Борис ХАЗАНОВ. **Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Западный экспресс.** Продолжение книги.

Олег ЮРЬЕВ. **Полуостров Жидятин.** Роман.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Леонида ФИЛАНОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Подписка принимается во всех отделениях связи по каталогу «Роспечати». Индекс подписки для Российской Федерации: на полугодие — 73293, на год — 72375, для стран СНГ — 79209.

В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.